

ПОКРОВА

Ежегодное приложение к литературному
альманаху «OCEANUS SARMATICUS»

Бог — художник; и суд Его, думается, будет судом художника, и Его осудительный взор — взглядом мастера, обманутого в своих ожиданиях ленивым или недаровитым учеником. Кто скажет, что наши добро и зло — критерии божественной критики Художника? И не хочет ли от нас Он только того, что мы назвали бы талантом? И всякий талант — не воспоминание ли о едином Мастере и Его искусстве?

Вяч. Иванов. СПОРАДЫ. О художнике.

Руководитель проекта – *Эяна Суодене*

Главный редактор – *Альберт Снегирёв*

Ответственный секретарь – *Анна Снегирёва*

Компьютерная верстка – *Екатерина Холявицкая*

ISBN 978-9934-8848-3-2

e-mail: snegiri77@rambler.ru

e-mail: sarmaticus@inbox.lv

e-mail: e.suodiene@gmail.com

e-mail: anna.snegirjova@gmail.com

© Центр культуры им. Л. П. Карсавина

© Альберт Снегирёв

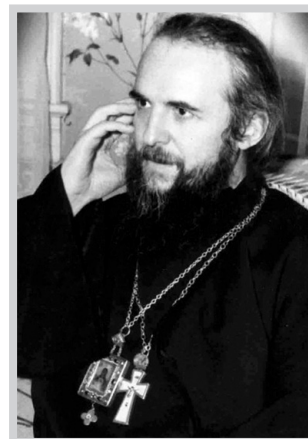
© Авторы, переводчики

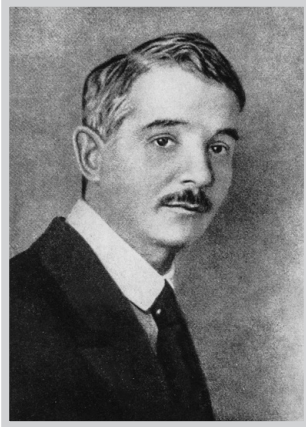


* * *

Господи, Боже мой!
Удостои меня быть орудием мира Твоего.
Чтобы я вносил любовь туда где ненависть.
Чтобы я прощал – где обижают.
Чтобы я соединял – где есть ссора.
Чтобы я говорил правду – где господствует заблуждение.
Чтобы я воздвигал веру – где давит сомнение.
Чтобы я возбуждал надежду – где мучает отчаяние.
Чтобы я вносил свет во тьму.
Чтобы я возбуждал радость – где горе живет.
Господи, Боже мой, удостои, не чтобы меня утешали,
но чтобы я утешал.
Не чтобы меня понимали, но чтобы я других понимал.
Не чтобы меня любили, но чтобы я других любил.
Ибо кто даёт – тот получает.
Кто забывает себя – тот обретает.
Кто прощает – тому простится.
Кто умирает – тот просыпается в Вечной Жизни.
Аминь.

*Текст древней молитвы в интерпретации отца
Иоанна (Шаховского) – епископа Православной
церкви в Америке, архиепископа Сан-Францисского
и Западно-Американского, проповедника, писате-
ля, поэта, автора многочисленных религиозных
трудов. В миру – князь Дмитрий Алексеевич
Шаховской (1902, Москва – 1989,
Санта-Барбара, Калифорния, США).*





Саша Черный
(Александр Михайлович Гликберг)
(1880–1932)

Русский поэт Серебряного века.

Русская книжная полка

В какое эмигрантское жильё не придёшь – прежде всего, ищешь глазами: а есть ли здесь книжная полка? И нередко, увы, вместо книжной полки со стопкой русских книг увидишь глупую куклу маркизу в углу диванчика, граммофонные пластинки с негритянскими завываниями, пачку билетов со скидкой в ближайшее кино («Скрежет страсти», «Объять мулатки») и замусоленную колоду карт на столе.

«Помилуйте, – говорят иные, – какие там книги! Жизнь птичья, эмигрантская, где там ещё на перелёте книжной полкой обзаводиться...»

Так ли?

Живём подолгу, многие десяток лет кряду сидят в своих «иноземных» углах, кое-кто и мебелью обзавелся, и даже книжный шкаф купил по случаю подержанный... Но книг так и не завёл.

Дорого!

Но ведь весь Пушкин стоит не дороже глупой куклы маркизы, нескольких пластинок с фокстротами, нескольких билетов в угловое кино, не дороже двух бутылок с вишневкой.

Скажем просто:

Только тот причастен к русской культуре и в меру сил хранит её и передаёт своим детям, кто у себя дома, в своём гнезде, не может обойтись без русской книжной полки.

Ибо если и от русской книги отвернёмся, выбросим её из обихода, – не превратится ли ежегодный праздник «Дня русской культуры» в торжественный холодный парад, в официальные поминки по гениям русской мысли?

1930. Париж



Проф. Арсений Гулыга (1921–1996)

Россия

Доктор философских наук. Автор вступительных статей и редактор издания сочинений Г. Ф. В. Гегеля, И. Г. Гердера, И. В. Гёте, Г. Э. Лессинга, Ф. В. Й. Шеллинга, И. Канта, Н. А. Бердяева, В. В. Болотова, Н. М. Карамзина, В. В. Розанова, В. С. Соловьёва, Н. Ф. Фёдорова, П. А. Флоренского. Один из инициаторов создания книжной серии «Философское наследие».



Религия в нашей жизни *Позиция неверующего*

Слово, сказанное на Международной научной церковной конференции, посвященной 400-летию установления Патриаршества в Русской Православной Церкви, Москва, 5–8 сентября 1989.

Смешанное чувство беды и вины, тревоги и надежды охватывает душу, когда размышляешь о судьбах русской православной Церкви в XX веке. Я говорю от имени тех русских людей, которые, будучи воспитаны в неверии, все же питают чувства глубокого уважения и благоговения к религии, всегда служившей стержнем, опорой, питательной средой русской культуры. Когда-то «русский» и «православный» были синонимами. И сегодня судьбы России и православия нерасторжимы. Полагаю, что так будет и впредь.

Православная Церковь – единственный социальный институт России, оставшийся неизменным на протяжении десяти веков. Иные утверждают, что это было тысячелетнее рабство. Ложь! Отвратительная ложь! Надо быть элементарно незнакомым с православием или умышленным обманщиком, чтобы утверждать, что христианство – религия рабов. Возникновение христианства связано с развитием народного самосознания и даже революционного движения. Раб Божий – это свободный человек. Все дело в том, как понимать свободу. Иные путают ее с произволом: хочу – так, а захочу – иначе, и не препятствуй моему «ндраву». Между тем, подлинная свобода – свободный выбор пути, угодного Богу, т. е. нравственное поведение. Об этом поведал митрополит Иларион в «Слове о Законе и Благодати»

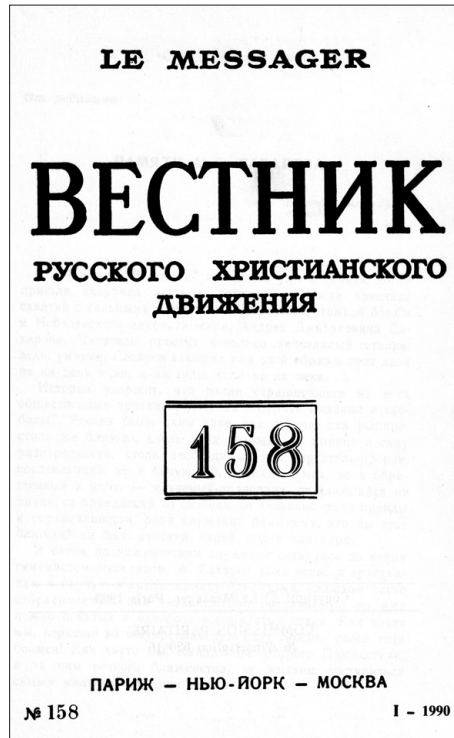


– первом значительном произведении русской словесности.

К проблеме морали я еще вернусь, а пока о роли православия как духовной скрепы нации. Христианство принесло нам письменность. Мощная Киевская держава – прямой результат принятия Русью христианства. Освобождение от татарского ига и возвышение Москвы, собравшей вокруг себя русские земли, связано с именем Сергия Радонежского. Пересвет и Ослябя – герои Куликова поля, святовитязи, монахи и одновременно воины, сражавшиеся в рясах поверх доспехов. Не только русская воинская доблесть, не только повседневный труд и быт, но и русское просвещение носило религиозные черты. Даже в эпоху Просвещения Ломоносов, Державин, Болотов – глубоко религиозные люди. Русскую классику XIX в. понять вне православной религии невозможно. Откуда патриотический пафос «Истории государства Российского»? Откуда нравственный подвиг Татьяны Лариной? Куда устремлены были помыслы Гоголя? Как понять героев Достоевского и Толстого? Философские идеи Владимира Соловьева? А русский религиозно-философский ренессанс, выступивший достойным продолжением художественной классики и выдвинувший русскую мировоззренческую мысль на мировой уровень. Что питало его? Где искать побудительные причины всего того, что составляет духовную гордость земли русской? Повторяю: русская культура и православие в основе нерасторжимы, тождественны.

Озабоченный тем, что пережил мой народ в недавнем прошлом, и тем, что ждет его в будущем, я думаю о судьбах его веры. Сегодня мы осознали, наконец, глубину нашего падения и помыслы о национальном возрождении связываем с деятельностью Церкви.

Приятно сознавать, что это не единичное, личное мнение, а общественное движение, поддерживаемое нашим государственным руководством. Наиболее зримый признак философской перестройки – возрождение интереса к русской религиозной философии. Философские тексты, создан-





ные несколько десятков лет назад, появляются на страницах периодики, не только журналов, но и газет с многомиллионными тиражами. Поистине мы переживаем новый религиозно-философский ренессанс!

Я вижу причины этого ренессанса не только в росте русского национального самосознания, но в еще одном тесно связанном с ним обстоятельстве – понимании, что религия является единственным надежным средством массового воспитания морали. Мы смешиваем подчас нравственность и мораль. Первая может быть и в бандитской шайке: это принципы жизни, нравы группового поведения безотносительно к тому, хороши они или дурны. Мораль – безусловное служение добру. Этические принципы, провозглашенные в Новом Завете, являются альфой и омегой, первой и единственной системой морали. Для воспитания морали необходимо представление об идеале, об абсолютном благе, с которым человек обязан соотносить свое поведение. Образы христианской религии, ее категорический императив любви к ближнему – наиболее общедоступное и действенное средство морального воспитания, которое нам необходимо сегодня прежде всего. Долгие годы нам внушали, что добро – это нечто вроде выгоды: для пользы дела можно лгать и убивать, граница между злом и добром относительна. Отец Павел Флоренский ядовито назвал такой взгляд «этическим монизмом» и отверг его.

«Этическому монизму» (т. е. взгляду, что добро и зло – едины суть) официальной философии и ее «метафизическому дуализму» (т. е. резкому противопоставлению духа и материи, пустопорожней болтовне о том, что первично, а что вторично) Флоренский противопоставил «этический дуализм» и «метафизический монизм», т. е. резкое противопоставление добра и зла при признании принципа универсального всеединства, неразрывной связи двух искусственно противопоставляемых субстанций. Первично добро, и этот принцип русской религиозной философии должен быть принят нами как символ веры.

Учиться добру нельзя в одиночку. Кант считал важнейшим условием морального воспитания включенность индивида в этическую общину. Таковой является Церковь. Русская религиозная философия выработала особую категорию для обозначения гармонического слияния общего и единичного – соборность. Вне собора, вне Церкви воспитать соборность невозможно. Вот почему религия в нашей жизни должна занять надлежащее ей место.

Кроме национальной и моральной ипостаси есть у религии не менее важная, тесно связанная с ними третья сторона – ценностная. «Не хлебом единым жив человек», – сказано в Писании и повторено миллионы раз.



Нужна человеку духовная пища, нужна не только его душе, но и физическому организму, материальным его органам.

«Вы ходите в церковь? – спросил меня мой кардиолог. – Если нет, занимайтесь автотренировкой, самовнушением. Человек – не просто биологическая структура, биология зависит от психологии, от жизни души; даже если не считать ее бессмертной, душа есть. Американская статистика отмечает у верующих более легкое течение сердечно-сосудистых заболеваний, чем у неверующих».

Аутотренинг успокаивает; повторяя сакраментальную формулу «Я спокоен, я совершенно спокоен», можно усыпить себя. Человеку однако нужна не только пассивная, но и активная гигиена души, не только усыпление, успокоение, но побуждение к доброму делу, просветление чувств, возвышающих, облагораживающих, – катарсис; это дает религия.

Но как быть тому, кто воспитан в неверии? Комплекс неполноценности, чувство ущербности здесь недопустимы. Как недопустима и игра в религиозность – соблюдение внешней, обрядовой стороны при внутренней пустоте. Воспитывайте чувство благоговения, ценностное переживание иными средствами. Есть светские святыни. Почитайте их. Ищите в них катарсис.

Сродни религиозному чувству переживание красоты. Речь идет не о зрелищах, подчас оглуляющих, унижающих и оскорбляющих человека, а о высоком искусстве. «Красота спасет мир», – уверял Достоевский...

«Если у народа нет Бога, у него должен быть Пушкин» (я цитирую фразу, услышанную в музее Поэта).

Человек, у которого нет святынь, – животное. Так пусть же живет и здравствует та область духовной деятельности, которая включает человека в национальное целое, учит добру, одаряет его очищающей верой в святыни на благо Родине и Человечеству.

4 августа 1989 г.

Вестник Русского Христианского Движения. № 158. 1990 г.
Париж – Нью-Йорк – Москва. Стр. 143–146.

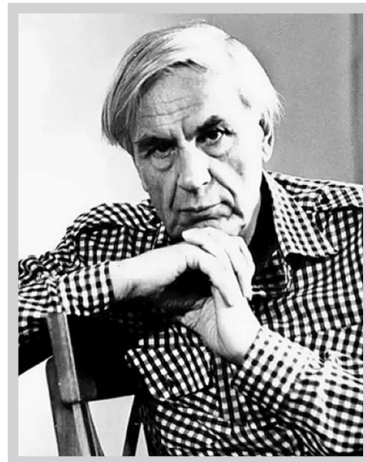


Игорь Шафаревич

[1923–2017]

Россия, Москва

Советский и российский математик, д-р физико-математических наук, профессор, академик РАН. Основные труды посвящены алгебре, теории чисел и алгебраической геометрии. Лауреат Ленинской премии. Известный диссидент, публицист, общественный деятель.



О некоторых тенденциях развития математики

*(Лекция по случаю официального вручения
Хейнемановской премии Геттингенской Академии Наук)*

Всякое существо склонно воспринимать среду своего обитания как нечто безусловное, что и не может быть другим и что поэтому не порождает никаких вопросов. Так относится и математик к своей науке, – и только изредка, когда представляется повод взглянуть на нее со стороны, он вдруг замечает, с каким странным, в сущности неправдоподобным явлением имел дело всю жизнь. Для меня таким поводом было лестное предложение сказать здесь несколько слов о математике моим коллегам, работающим в далеких от нее областях науки.

При поверхностном наблюдении математика представляется плодом трудов многих тысяч мало связанных индивидуальностей, разбросанных по континентам, векам и тысячелетиям. Но внутренняя логика ее развития гораздо больше напоминает работу одного интеллекта, непрерывно и систематически развивающего свою мысль, лишь использующего как средство многообразие человеческих личностей. Как бы в оркестре, исполняющем кем-то написанную симфонию, тема переходит от одного инструмента к другому, а когда один исполнитель вынужден прервать свою партию, ее точно как по нотам, продолжает другой.

Поверьте, это не риторическая фигура! История математики знает очень много примеров того, что открытие, сделанное одним ученым,



остаётся неизвестным, а позже с поразительной точностью воспроизводится другим. В письме, написанном ночью перед дуэлью, окончившейся его гибелью, Галуа высказал несколько утверждений исключительной важности об интегралах алгебраических функций. Более чем двадцать лет спустя Риман, который, безусловно, не знал о письме Галуа, вновь нашел и доказал в точности те же утверждения. Или: после того как Лобачевский и Болиаи независимо друг от друга положили начало неевклидовой геометрии, выяснилось, что два человека – Гаусс и Швейкарт более чем за десять лет до этого тоже независимо друг от друга пришли к тем же результатам. Странное чувство испытываешь, видя одни и те же чертежи, как будто начертанные одной рукой в трудах четырех ученых, работавших совершенно независимо друг от друга, причем в разное время, в разных странах.

Невольно приходишь к мысли, что такая поразительная, загадочная деятельность человечества, длящаяся несколько тысячелетий, не может быть случайной, должна иметь какую-то цель. А признав это, мы с необходимостью приходим к вопросу: в чем состоит эта цель?

Как может целая наука – не один только ее раздел и не в один лишь период ее развития – иметь единую цель? Попробуем усмотреть это на примере физики, которая всегда была так тесно связана с математикой. Ко времени Ньютона перед физикой вырисовалась захватывающая цель: построить теорию (или, как тогда говорили, систему) мира, то есть заключить всю вселенную в несколько простых законов, из которых многообразие физического мира может быть выведено чисто логически. Долгое время казалось, что Ньютон эту задачу в принципе решил, а на долю его последователей осталась лишь проверка того, что все известные явления описываются его системой. Только на тогдашней периферии физики теория электричества не хотела укладываться в эту схему. Но в XIX веке именно явления электромагнетизма стали центром физики, и хотя этим была поколеблена ньютоновская концепция, зато возникла надежда, что ньютоновская механика, дополненная максвелловской теорией электромагнитного поля, позволит создать полную и окончательную систему мира. Однако и этим ожиданиям не было суждено сбыться, – квантовая механика и теория относительности вскоре разбили все старые концепции. Одно время физиков подогревало стремление извлечь из единой теории поля или из релятивистской квантовой механики полную теорию элементарных частиц и новую систему мира. Этого до сих пор не произошло, и вряд ли многие физики сейчас считают такие надежды реальными. Во всяком случае, если некоторое единство в физической картине мира



когда-нибудь и восстановится, трудно будет после стольких перестроек верить в окончательность этой системы.

Возвращаясь к математике, мы должны будем признать, что та глобальная цель, которую в своей амбиции физика себе несколько раз, хотя и без успеха, ставила, в нашей науке вообще не созрела.

Как же это отражается на ее развитии?

Математика растет стремительно и непрерывно, не зная типичных для физики перестроек и кризисов, обогащая нас все новыми идеями и конкретными фактами. Я глубоко убежден, что достижения современной математики не менее совершенны, чем творения классиков XIX, XVIII и XVII вв., что они могут даже выдержать сравнение с плодами эллинского гения. Ведь и прекраснейшие из современных достижений ни в чем принципиально не превосходят классические! Какова же ценность неограниченного накопления идей, в принципе одинаково глубоких? Не превращается ли математика в поразительно красивый вариант «дурной бесконечности» Гегеля?

Любая деятельность, лишенная цели, тем самым теряет и смысл. И если сравнить человечество с живым организмом, то математика окажется непохожей на осмысленную, целенаправленную деятельность. Скорее она аналогична инстинктивным действиям, которые могут стереотипно повторяться, пока работает некий внешний или внутренний возбудитель. Не имея цели, математика не может выработать и представления о своей форме, ей остается в качестве идеала ничем не регулируемый рост, а вернее, расширение по всем направлениям. Используя другое сравнение, можно сказать, что развитие математики не похоже на рост живого организма, который сохраняет свою форму, сам определяя свои границы. Оно больше напоминает рост кристалла или диффузию газа, которые будут распространяться неограниченно, пока не встретятся с внешним препятствием.

Очевидно, что такое развитие науки противоречит ощущению осмысленности и красоты, которое непреодолимо возникает при соприкосновении с математикой, – подобно тому, как невозможна бесконечно продолжающаяся прекрасная симфония.

Но только ли в нашей науке встает эта проблема? Я не думаю, что математика радикально отличается от других форм культурной деятельности. Однако ее объекты более абстрактны, в ней происходит отвлечение от большего числа случайных свойств. Как говорил Платон, в ней больше от познания чистого бытия и меньше – от мнений о предметах видимого мира, в ней «как бы грезят о сущем». Поэтому в математике ясно различимы закономерности, хотя и универсальные, но лишь смутно видимые



в других областях. В частности, то отсутствие целей и формы, о котором мы говорили выше, относится, как мне кажется, почти ко всей жизни современного человечества. Так, наряду с математикой, развивающейся без цели, мы видели пример физики, в погоне за непосильной, видимо, ей целью теряющей представление о какой-либо цели вообще.

Бесформенная, лишённая иной цели и смысла, кроме неограниченного расширения, лихорадочная деятельность уже несколько веков как захватила человечество. Она получила название «прогресса» и на некоторое время стала чем-то вроде суррогата религии. Её последним порождением является современное индустриальное общество. Уже много раз указывалось на то, что эта гонка содержит в себе внутреннее противоречие, приводит к катастрофическим материальным последствиям: всё возрастающему, непосильному для человека темпу изменений жизни, перенаселённости, уничтожению окружающей среды. На примере математики я хочу обратить внимание на не менее разрушительные духовные последствия: человеческая деятельность лишается глобальной цели, становится бессмысленной.

Опасность здесь не только отрицательная, она заключается не только в том, что напряженные усилия человечества, жизнь его наиболее талантливых представителей не освещаются пониманием их смысла. Она не исчерпывается и тем, что, не понимая цели своих действий, мы не можем предвидеть и их результатов. Духовная конституция человечества не позволяет ему долго мириться с деятельностью, цель и смысл которой ему не даны. И здесь, как и во многих других явлениях, вступает в силу механизм замещения – не найдя того, что им необходимо, люди не успокаиваются на этом, но прибегают к суррогатам. Пример этого нам всем хорошо известен – порвав связь с Богом милосердия и любви, люди тотчас создали себе других богов, требующих миллионов человеческих жертв. Согласно тому же закону, когда культурная деятельность человечества лишена ясно-го понимания своих целей, она пытается заимствовать себе осмысление из других источников. В частности, математик ищет смысл своей работы в выполнении заказа государства, которому он готов рассчитать траекторию ракеты или подслушивающий аппарат, а если это учёный крупного масштаба, – то спланировать и целое общество, состоящее из гибридов людей и компьютеров. Такая установка уродует не одни только души учёных, – появляются области математики, лишённые той божественной красоты, которая зачаровывает всех, знакомых с нашей наукой.

Более чем двухтысячелетняя история убеждает нас в том, что математика, по-видимому, не способна сама сформулировать ту конечную цель,



которой может направляться ее развитие. Она должна, следовательно, заимствовать ее извне. Разумеется, я далек от того, чтобы пытаться указать решение этой глубокой, не только внутриматематической, но и общечеловеческой проблемы. Я хочу лишь указать на основные направления, в которых возможен поиск решения.

По-видимому, таких направлений есть два. Во-первых, можно пытаться извлечь цель математики из ее практических приложений. Но трудно поверить, что более высокая – духовная деятельность найдет свое оправдание в более низкой – материальной. Если мы посмотрим на решающий в развитии математики момент, когда она сделала свой первый и самый значительный для человечества шаг и возникла та основа, на которой она зиждется, – логическое доказательство, то увидим, что произошло это на материале, который просто исключал возможность практических приложений. Первые теоремы Фалеса Милетского устанавливали истины, очевидные для каждого здравомыслящего человека – вроде того, что диаметр делит круг на две равные части. Гениальность нужна была не для того, чтобы увериться в справедливости этих положений, а для того, чтобы понять, что они нуждаются в доказательстве. Очевидно, что практическая ценность таких открытий – нулевая.

И в наше время, как ни разнообразны и глубоки приложения математики, отнюдь не под их влиянием возникли ее самые прекрасные достижения. Как же можно тогда ожидать, что приложения математики дадут ей эту цель, которую она не смогла найти своими внутренними силами?

Если мы, таким образом, отбросим этот путь, то останется, как мне кажется, только одна возможность: цель математике может дать не низшая сравнительно с ней, а высшая сфера человеческой деятельности – религия.

Конечно, сейчас очень трудно представить себе, как это может произойти. Но еще труднее вообразить, как математика сможет вечно развиваться, не зная, ни что, ни зачем она изучает. Да уже в следующем поколении она, погибнет, захлестнутая потоком публикаций. А ведь это еще самая элементарная, внешняя причина.

С другой стороны, в принципе такое решение возможно – это доказано историей. Обратившись опять к той эпохе, когда математика только возникла, мы увидим, что тогда она знала свою цель и получила она ее именно на этом пути. Математика сложилась как наука в VI веке до Рождества Христова в религиозном союзе пифагорейцев и была частью их религии. Она имела ясную цель – это был путь слияния с божеством через постижение гармонии мира, выраженной в гармонии чисел. Именно



эта высокая цель дала тогда силы, необходимые для научного подвига, которому принципиально не может быть равного: не открытия прекрасной теоремы, не создания нового раздела математики, но создания самой математики.

Тогда, почти в самый момент ее рождения, уже обнаружались те свойства математики, благодаря которым в ней яснее, чем где-либо, проявляются общечеловеческие тенденции. Именно поэтому тогда математика послужила моделью, на которой были выработаны основные принципы дедуктивной науки.

Я хочу выразить надежду, что по той же причине она теперь может послужить моделью для решения основной проблемы нашей эпохи:

ОБРЕСТИ ВЫСШУЮ РЕЛИГИОЗНУЮ ЦЕЛЬ И СМЫСЛ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Впервые опубликовано в журнале «Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Gettingen», Gettingen, 1973.

Воспроизводится по публикации в журнале «Москва» (№ 12, 1990, стр. 3-5) с нижеприведенным Обращением к читателям, с коим редколлегия альманаха «Oceanus Sarmaticus» всецело солидарна:

ОТ РЕДАКЦИИ:

Оставляя авторское название лекции, считаем должным сказать, что здесь вовсе не узко научная проблема, здесь важнейшие вопросы духа и бытия, смысла и, наконец, цели нашего существования. Есть же, должны же они быть – цель и смысл жизни, коль скоро мы непрерывно мучаемся над их решением.

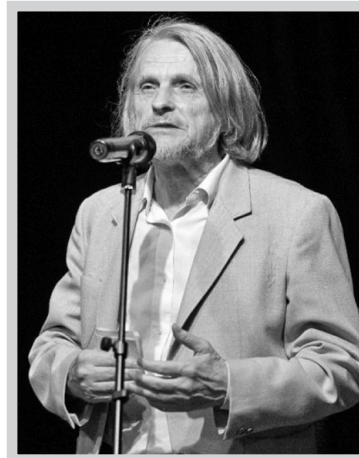
Слово ученого подвигает нас к ответу. Ибо, не ответив на главный вопрос: зачем мы пришли в мир, – мы можем бесплодно, растительно проводить свои дни, чего-то добиваться, мучиться и страдать и считать, что это-то и есть жизнь. Но без освящения жизни высшим смыслом мы можем оказаться (и оказываемся!) у разбитого корыта.



Вячеслав Улитин

Россия, г. Владимир

Член Союза российских писателей. Автор книги стихов и прозы «Сны о Рублёве» (2008). Член редколлегии журнала «Духовно-нравственное воспитание». Лауреат премий Фонда им. Вл. Солоухина и Всероссийского конкурса им. В. М. Шукшина «Светлые души».



СНЫ О РУБЛЁВЕ

«Неужели и музыка исчезнет?» – надрывно спрашивал Гоголь. И в это смутное время особенно начинаешь понимать его неземную тоску по сферам небесным, по музыке...

Мне снятся сны о Рублёве. Всю жизнь. Вот последний – сияющий человек расписывает какой-то небесный храм. Запомнился сюжет: ангел-хранитель, лучезарный, очень явственный, твой. Тот самый, в которого так верим в нашем вечном Детстве. И – тут вдруг начинается сенокос...

Это уже врывается реальность. Вспоминаю Андроников монастырь. Служители храмов-музеев обкашивают траву у собора. Знойный июльский денёк. Мы тайком прикладываемся к иконам в пустынных прохладных залах. У моего друга сказочно, на виду у всех, голубеют, расцветают глаза. Так и ассоциируется мой Рублёв с сенокосом, со смиренным запахом сена...

А значит, и с деревней. В том далёком Благовещенском на Оке серо-изумрудно сияют в избе окна. Так и кажется – сквозь сны: горят на стёклах три ледяных деревца. После смерти сына жили мы в зимней этой деревне. Я повесил на стену репродукцию с «Троицей» Рублёва. Бабушкина лампада горела, отражаясь в зимнем окне, как вечный снегирь. Так и ходил я по деревне в дедушкином тулупе – с Рублёвым в сердце, утопая в рублёвских, таких русских сугробах...

Конечно, Рублёв – это наши недосыгаемые сны. Иной раз думаешь написать что-то пронзительно-светлое, гармоничное, но мы уже не можем так умиленно думать, умиленно-смирненно глядеть на вещи. Мы сдавлены



спрутом этого телемира, вечной газетоманией. И только во снах обретёшь гармонию, живёшь в стихотворении Пушкина, как в снежно-хрустальном храме; вдруг обретаешь свой Род...

А в деревне твой ангел-хранитель – опять за плечом, да вот же и его следы. Весной они огромные, заполненные талой водой... А зимой я люблю слушать скрипучие половицы, смотреть на морозные окна, следить, как узорный их свет ложится на книгу. Особенно манят и щекочут сердце по вечерам закатные зайчики. Они живут в голубых древних зеркалах, застывают на портретах предков – так же, как и лет сто назад – сверкая и пугая вечностью.

Когда я вхожу в Успенский собор и вижу фрески «Страшного суда», у меня ощущение великого Праздника. И охватывает, словно во сне, благоговейная, благодарная радость. Боже! И это в мире, в своеобразной злосфере, где так катастрофически не хватает любви, есть Рублёв.

Да мы просто не замечаем, как преподобный Андрей нас умягчает. Само воспоминание о нём укрощает, благословляет каждый шаг к истине, помогает преодолеть внутренний каннибализм. Помните картину Сальвадора Дали, эту антигроицу? Люди здесь пожирают друг друга. Может быть, это выражение конца цивилизации?..

А сколько сотворено Рублёвым «праведных жён»... Вот и сейчас они стоят рядом с фреской. То ли птицы, то ли женщины, в платочках – изумление перед Богом, чистота во всей утренней голубизне их глаз. Они прикладываются ко кресту. Посмотрите внимательно – они словно вторят фреске...

...Иногда, когда я «весь в валенках», по выражению жены, входил в избу, пропахший метелью, Дом глядел на меня словно человек. Предки всецело жили здесь, а я – только странник, случайно зашедший сюда погреться у печки. Чувствуя свою отторженность, я уходил в свой закуток за занавеской «в ягодку». На стекле сияли, трепетали три ледяных деревца, и печной огонь медленно обводил их своей золотой кистью...

Разговор зашёл о Марине Цветаевой, кончившей жизнь самоубийством.

- Какой великий грех...
- Страшно то, что нет ей прощения...
- А мне кажется – Бог простит...

И вдруг – поджатые губы и почти крик:

– Всем, так всем не прощать!

Не люблю я поджатые губы. Когда вхожу в Успенский собор...

...Шёл дождь, и всех прибило в храм. Говорили о белых грибах («Пошли белые-то») – это так вязалось с Рублёвым... Дождь всех обратил в святых,



сияли даже плащи на экскурсантах, и как-то умиленно раскатывался гром, шёл дождь под дирижёрскую кисть Мастера...

Это в нашей теперешней действительности, когдаходишь в обшарпанное помещение суда, сразу ясно – засудят... А у Господа весы золотые, какой-то необычайной точности, уж, конечно, далёкой от принятой в человеческом суде...

И опять ловлю взгляд в троллейбусе, вижу, особенно в школе, эти поджатые губы. И – как удар по меди:

– Позвольте мне вас распять!..

Когда же мы все придём к Рублёву? Он-то нам давно показал, что Господь ищет каждую малую соломинку для нашего спасения.

В необъятной милости Божией – после встречи с Рублёвым – я уже никогда не сомневался.

...Иногда я выходил из избы – настолько Дом, от духоты впечатлений, казался мне живущим сам по себе. Желание описать жизнь Дома выталкивало меня, и я выходил под взглядами наших стариков. Поражало, как Дом сливался с одиночеством вечера. На улицах без света фонарей оживала нереальная картина: Дом словно падал под горку, и этот лиловый дым над избой сиял жутко-ослепительно, как некий свет.

Мы уже дожили до этого странного мгновения нашей вечной жизни, когда предлагают продать «Троицу» Рублёва. Когда хотят продать эту вечно спасающую красоту...

– Рублёв – это Церковь, – сказала мне одна верующая женщина. Она не разделяла моего вечного удивления перед ним. Она была права. Это Церковь нас преобразует навсегда, вечно животворит, даёт благодать, помогает сберечь в мороз нынешнего страшного бытия цветы Веры, Надежды, Любви...

Внутрицерковность художника – это и есть его глубина.

Жаль только, что этого не понимают современные иконописцы. Я уверен, что у многих из них нет того необходимого изумления перед открытием Божиим, так глубинно сияющим в иконах XIV, XV веков... Я бы назвал это изумление космическим, покаянно-благодарным...

И ещё этот современный синедрион. Всюду творящийся человеческий суд: в школах, училищах, троллейбусах... Человек судит другого безапелляционно, без всякой жалости. Не этот ли суд человеческий приближает суд Божий? Я не встречаю в последнее время ни одного человека, который бы начинал фразу со слов:

«Я, конечно, виноват...»



Это «праведничество» распяло Христа, оно распинает и до сих пор, не ведая о том, что Милосердие – более высокая нравственная категория, чем правда или пресловутая справедливость. Мы вообще живы благодаря только милости Божией. И как такой простой истины не поймут фарисеи, живущие в каждом из нас?

Не эту ли нашу фарисейскую слепоту изобразил Иероним Босх в картине «Несение креста»? Гордыня праведнического умиления на звериных лицах людей, гонящих Бога...

«Троица» Рублёва – доказательство бытия Божьего», – писал отец Павел Флоренский. Но нужно ли доказательство Источнику жизни?

Какую-то особенность, автономность я вижу в пути России: это у нас – Рублёв, у нас «Троица». Особенная, светлая, несказанная красота. Тихо окликающий голос с небес...

Иногда просыпаешься и уже не можешь заснуть до утра. Лампадный свет странно укрупняет репродукцию «Троицы». Огромные тени ходят по избе, кажется, что там, за морозным окном, они вытянуты до самой Оки. В самое сердце врезалась встреча в деревне. Бабы собрались у избы, выпевают-выплакивают, обнимая мою супругу:

– Дай мы на тебя наглядимся... Так похожа на покойного батюшку...

Какая рублёвская тоска по ближнему... В городской троллейбусной близости мы вообще забыли о ближнем.

Рублёв евхаристичен. Все его святые устремлены к Святой Чаше. Наша теперешняя судьба в том же устремлении. Без подлинного покаяния и принятия святых даров мы – никто. Русский человек вне церкви, как мечущийся осенний лист. Уже герои Достоевского живут каким-то трансцендентным сумбуром, потеряв церковное русло бытия. В деревенских жестах осталась ещё эта глубина. Я слушаю бесконечные женские разговоры. Они всегда – рыдание и дождь. Какой-то особенно просветлённый. В них живёт золотая тоска по Раю...

В линии Рублёва, в его стремлении к гармоничному кругу – ощущение (не только символ) света, светил, какой-то удивительной меры бытия. Может быть, это наследственно-завещанный ген, архетип для всей нашей жизни – национальной, русской?

Лично я дохожу до родословных параллелей – мне так близки эти суздальские лики апостолов в «Страшном суде». Я встречаю и ныне подобные на автобусном вокзале, но в их чертах уже проступают признаки пародии, несмотря на ту же высоту лбов...

«У нас есть Рублёв». Эта мысль – вечно утренняя, с нею я просыпаюсь, она согревает мне сердце. Значит, мы живы ещё, будем жить.



Я выхожу в заснеженный сад. Боже! Как бы мы жили – таинственно-мистично и сокровенно, озарённые печным, таким человеческим, теплом (угольки в печке издают райский звук!), – если бы не зло мира, суета и работа вражия.

Но, наверное, так и надо жить, вопреки всему. Быть светлым в нашем мире, всепрощающим – уже подвиг.

Вот прилетел дятел и стал стучать по стволу яблони. Какой алый нимб у него на голове! Как прекрасна природа, как православен снег, как милостив дым из трубы и как женственна линия Оки, уходящая вдаль...

Дионисий и бабочка

Моему содумнику А. Ф.

В глубине России, в Белозерье, стоит храм, просвеченный насквозь. В нём гениальной кистью Дионисия и его сыновей запечатлено реальное чудо – преобразование твари... Мне видится в этом некий вектор, стрела указующая. Свидетельство незримой благодатной полноты нашего Отечества, о котором мы всё меньше знаем. Как жаль, что у нас почти нет возможности передвигаться по пространствам России, что не каждый может увидеть эти глаза земли – озёра Вологодчины и удивительные белые храмы и монастыри. Нам с тобой повезло, мы возвратились «полные пространства и времени»...

Она, незримая эта бабочка, влетела прямо в храм перед нами...

И мы поднялись высоко над Землёй, небесная нежность красок объяла нас. Священнодействие Радости так захватило, что ты сказал, повторив Апостола: «Добро нам здесь быти...»

Церковнославянский язык здесь прозвучал, как гимн давно утерянной целостной Любви – печально и нежно...

...Едва увидев из авто белый параллелепипед монастыря, мы в один голос воскликнули: «Нам хочется здесь жить!» Мы реально – до основания сердца – поняли: вот Гений места. И всюду есть свой Фавор. И конечно – Преображение.

И когда водитель наш Иван (здесь звучало Иоанн) взмолился: «ему надо лечить зубы», мы с велией радостью его отпустили, выпустили из рук, как ту незримую бабочку, при этом вспомнив пушкинское:



...На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

И это был действительно Праздник. Праздник на века (в 2002 году отмечалось 500-летие росписей нетленного Дионисия в Ферапонтовом монастыре). Почему нетленного? Это я объясню потом...

А пока мы чувствовали поистине весеннюю свежесть Бога – веяло Раем. Ещё этот лучезарный денёк бабьего лета, два изумрудных озера – посредине монастырь. В самом храме на нас обрушилась буквально светопись. Дождь светлых и нежных красок – розовых, белых, фиолетовых, фисташково-изумрудных, пурпурных (царских!) оттенков охристого и господствующего цвета Вседержителя – синего. Впрочем, заглавной буквицей и Вседержителем был и белый (ощущение, что до этого момента я белого цвета даже и не видел, он был первоначально-белый).

И все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт...

Нет, конечно, источник Света здесь, в этом храме, был. Центр и магнит. Сама Царица Небесная, Божия Мать, рождению которой и посвящён храм. Не просто рождению – чуду Рождества. Как хорошо об этом пишет культуролог В. Бычков: «Плавно разворачивающиеся в пространстве храма, перетекающие одна в другую и перекликающиеся друг с другом сцены с повторённой (причём многократно!) фигурой Марии ассоциируется у зрителя с вечно длящимся торжеством богослужения в честь Богоматери – «зари таинственного дня», по образному выражению Акафиста».

Может быть, она тогда и влетела – эта бабочка – в храм. И был такой же удивительный день божьего лета, с прозолотями на берёзах. Лёгкая, незримая, села она на плечо самому Дионисию, потом перелетела на белокурую голову младшего сына. Отец умилённо глядел на этот апофеоз невесомости. Сын благоговейно поймал божью тварь, и она трепетно и щекотно забила крылышками в его измазанных краской ладонях...

Кто она? Бабочка Рая? Отраженье – только лёгкий блик – Духа Святого?..

Однако после этого кисти заходили живее, осмысленнее. Появилась мелодия. Дионисий призадумался на миг о кресте художника...

Если и крест, то летящий. Летящий крест Творца, самолёт Экзюпери. Летящий крест лётчика-философа, богослова, поэта...



А юный вседержитель все держал и держал в руках невесомую гостью небес...

Конечно, в наше время надо, прежде всего, освободить само слово «чудо» от телевизионной рекламной вседоступности. Надо вспомнить, что это божественное и мужественное слово. Чудо – это сфера, прерогатива самого Бога. Но мы-то с тобой словно забыли обо всём этом и сидим у самого чудо-озера под названием Паское (просвечивает сквозь его изумруд радостное, выдохнутое слово «Пасха»). Глядим на чёрного кота (словно он в чёрном монашеском подряснике), и ты назвал его Ферапонтом. Думаю, святой подвижник, основавший этот монастырь, не обиделся бы. Нам бы у таких поучиться отношению к божией твари!

Наши чувства усилены ярким днём божьего лета. Он на Севере, в тёмно-дремучей «Северной Фиваиде» – как высвеченный топаз, как явленный Рай. Сердце бьётся от ощущения (мы приехали буквально в канун праздника Рождества Божией Матери), что Дионисий только сейчас устал опустить кисть.

Нетленная чистота и сохранность красок – вот что выстукивает сердце. Откуда? Как? Почему? Дионисиев цвет чист, как слеза Бога. Словно ангел поцеловал эту нетленную живопись...

Ты вспомнил вдруг Пастернака: «и творчество и чудотворство...» Ты прав – Дионисий пишет не просто фрески – чудо Божьего Творения. Пастернаковское «и творчество и чудотворство» пятьсот лет назад слилось в соборном творчестве мастеров.

Поразительно, что никто не отмечает в их «невесомой свободе творчества» отцовства и сыновства. Как это важно – отец, сыновья (богословие рода!). И органично для них писание самого чуда! Они так и живут внутри чуда самого церковного календаря, чуда Природы... Ведь сказал Бог о своём творении, «что это хорошо» (а переводится сердцем: и сказал Бог, что это чудо!)

Здесь, у Ферапонтова монастыря, рябина краснее красного, небо синее синего (бирюзовее), листья золотее золотого, озеро изумруднее изумрудного. И ясно становится, куда Дионисий окунал свои кисти...

Ты споришь с искусствоведами. И я мысленно с ними спорю. Как не понять душу внутрицерковного художника? Ведь он бывал на службе, слушал Апостола. Все ложилось на его изумлённое высоким богословием сердце...

Бабье лето – настоящий рай Богородицы. На службе, посвящённой Рождеству Царицы Небесной, читается послание апостола Павла к галатам, пронизанное темой рождения новой твари, «ибо во Христе Иисусе ничто не значит, ни обрезание, ни необрезание, а новая Тварь».



Тема новой Твари и во втором послании апостола Павла к коринфянам (6, 15-17). «И тот, кто во Христе, тот новая Тварь, древнее прошло, теперь все новое...» Так вот откуда эта светоносность – день Рождества Божией Матери «возвести радость всей Вселенной» – здесь мы с тобой снова начинаем ощущать мироздание «царским чертогом» (св. Григорий Богослов), все движется, все живёт в этом храме, трепещет каждая клеточка Рождественского собора.

– Гляди, как все соприродно...

И ты:

– Словно смиренные ивы под ветром...

Все изгибается: свитки, люди, цветы райские, проходят таинственным (словно планеты) шествием. Здесь нам явлены не только живой Бог и богословие Встречи с Ним, но мы чувствуем и живой, ощущаемый космос.

– Бог и геометрия сидят на одном троне, – торжественно произносишь ты, повторяя Платона.

И, действительно, сегменты, полукружия, вся каменная архитектура враз одухотворяются, оживают и тремолируют. Так передали Дионисий и его сыновья апофеоз новой Твари. Мы вновь чувствуем и индивидуальное торжество личности (здесь Дионисий – и философ, и богослов), и собранность, и непрерывность воскресшего вещества.

...Телесное покрывало, разрушенное смертью, снова будет соткано из того же вещества, но не в грубом составе, а так, что его нить будет состоять из чего-то лёгкого и воздушного, почему он и восстановится в лучшей и самой желанной красоте (преп. Григорий Нисский).

– А они говорят о каком-то этикетном маньеризме и не видят эту лёгкость и воздушность новой твари в Дионисиевых фресках...

Ты прав, вдохновительница всего – Она, Божия Матерь, в которой свершилось формирование «воплотившегося Слова Божия». Хочешь, я процитирую тебе святого Григория Паламу? «Царица Небесная землю онебесила и род людской обожила». Он сравнивает Богоматерь с солнцем и небом, и, наконец, представляет её средоточием и совокупностью всех красот мира.

– Это ты о Вечной Женственности?..

– Нет, я о том, что выше и глубже.

Спорить на этом месте невозможно. Мы просто продолжаем один другого – так в палитре Дионисия цвета соборно обнимаются: синий с зелёным, золото-охристый с изумрудным. Сретенье красок – любовь совершенная. Рай художника...



Но и красоту в её антиномиях не боится передать дерзостный Дионисий. Как, например, хаотично, на первый взгляд, он размещает сюжеты фресок. Художник стремится передать многообразие Божие, весь его огромный мир сквозь удлинённые слёзы святых. Подобно Павлу Флоренскому художник ощущает почти хрустальную ясность Евангелия и вместе с тем притчевую «темноту», словно оно за семью печатями.

Эту антиномическую бездонность трудно понять, взглянув, необходимо глубокое созерцание. Есть некий ключ в сюжете Сретения Марии и Елизаветы. Ведь он обозначает не только Встречу Нового и Ветхого Завета, но и Встречу с Богом. Это какая-то сокровенная, подспудная, затаённая от нас личная тема Дионисия. Может быть, потому этот сюжет мой любимый.

Теперь уже никто не встречается, не припадает так тепло друг к другу. Впрочем, нет, в вологодских краях я видел на автовокзале такую умиляющую Встречу.

Дионисий же изобразил двух «голубиц», притекающих друг к дружке (душа к душе). Парящая невесомость фигур раскрывает ещё одну сторону поэтики Дионисия: душевность, умилённость. Мы часто любим рассуждать о суровой духовности, но нельзя забывать и об этой стороне православной жизни. Может быть, потому и померкла сейчас, в наши дни, радость в среде христиан, что мы забыли о многогранности благодати Божией. В своё время Ницше справедливо упрекал христиан в угрюмстве, говоря об исчезновении Радости.

Итак, договорились: Дионисий – ты прав, глубоко прав – возвращая нам священнодействие радости! Люди русские, поезжайте в Феррапонтово, к Дионисию, за Радостью!

И не только потому, что единый лейтмотив Акафиста – Радуйся... Просто это внутри мировоззрения художника. Во фреске «Исцеление расслабленного» Дионисий отмечает внутреннюю связь (Встречу), образовавшуюся между Христом и расслабленным, передав это одинаковой трактовкой их одежды – цветовой и фактурной.

Дионисий спасает, спасает и сейчас встречей с Богом живым!

Помнишь, мы с тобой разговорились с отцом Дионисием, игуменом, настоятелем Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря о сроках написания фресок. Есть разные предположения. Молодой игумен (сам живописец!) убеждён: фрески написаны за полтора-два месяца, к празднику Рождества Божией Матери. И мы согласились с ним. Почему? Да потому, что фрески буквально пропеты, выпеты, как Херувимская песнь.



Наверное, нельзя было оторваться от них. И ты прав, цвет Дионисия спасает, лечит. Он, как купель, очищает нас, одевая в белые одежды света. Цвет обретает литургические, таинственные свойства...

Вот почему, выйдя из храма, мы подпали под власть Дионисия. Снова увидели мир в предвечной красоте Творенья. «Вот отчего все русские озера так изумлённо смотрят в небо» – сказал поэт. Чудо – как ожог: на все начинаешь смотреть по-другому. Отсюда цвет берёз – празднично-белый, а синий, изумрудный цвет озера – бирюзовый, как некий ангел вод...

Таинство Радости, исчезнувшее в современном сознании, вновь возвратилось к нам с тобой. Было даже страшно! Будто нам открыли доступ к другому зрению. Чудотворная стилистика Дионисия преобразила нас, как белая молния. Действительно, «землю онебесил» – мы шли и видели небо синее синего, рябину краснее красного и первозданные изумруды двух озёр: Бородаевского и Паского, между которыми стоит как белый рафинад Ферапонтов монастырь.

А может быть, мы с тобой прозрели то, что прозрел русский поэт:

...И ангел вторил: Буди! Буди!
Благослови родной овсень!
Его, как розаны в сосуде,
Блюдет Христос на Оный День!

То есть, чудо восьмого дня – в обычном бабьем лете на вологодской земле. Кто знает...

Мы уходим, а невидимая бабочка там, в оставшемся храме, окрыляла плащи волхвов, помогала кружиться светоносной земле, ставшей от света Вифлеемской звезды звездообразной. Всюду разносилась Благая Весть о рождении новой Твари. Весь храм трепетал, как божественный свиток, под торжественным ветром подлинной Радости (радость – серьёзное дело на небесах, – как говорил один старец). А мы все удивлялись себе своей удивлённой Радостью – мы попали сюда в то самое время, когда Дионисий писал это Чудо, и «краски ещё не высохли». И мы радостно боялись – вот-вот он выйдет из храма...

Осталось только сказать об ангелах Дионисия – нет, не о тех, что сияют в храме. О людях, которые помогли нам увидеть это чудо. Спаси Господи отца Дионисия, благословившего нам это паломничество, послушницу Людмилу, которая поила нас чаем в Кирилло-Белозёрском монастыре. Отогрела руки и, конечно, душу. И шофёра Иоанна с его синеглазым сынишкой (два озера трепетали на его лице...). Нам было трогательно и



страшно-радостно смотреть ещё на одно это чудо. И все это Вологодская земля – таинственная, огромная. Зря Шпенглер искал возрождение всего мира в Сибири. Не здесь ли оно?..

Окно в Россию

Любимому брату Евгению

Заходят в храм. Осторожным, опасливым шагом обходят его праздничные нефы. Иногда в руках только что купленные свечи; все здесь чужое, непонятное – тихий маленький сад службы, возгласы священников, пение хора...

Иногда – пальцем – указывают на фрески преп. Андрея Рублёва. Вероятно, они и есть цель прихода в Успенский собор.

Долго ещё слышу вкрадчивые шаги иностранцев в храме и почти не молюсь, грешный. Мне их жаль – зачем они едут? Большинство из них уже пожилые люди, одетые в какие-то инфантильные одежды тинейджеров. И как в интерьере собора среди освящённых молитвой прихожан мертвенно сухи, неуместны их лица.

Мне все время хочется поделиться с этими людьми пасхальной православной Радостью. Но они удаляются как раз в тот момент, когда в соборе начинается главное. «Все причащаются, играют и поют...» Горит Чаша в руках священника, сияют лица идущих к ней, светлая пасха на душе у причастников. На глазах исчезает последняя грань между земной жизнью и Царствием Небесным.

Именно в эти минуты и надо глядеть на фрески Рублёва. Они начинают просвечивать чистыми небесными красками: алою, зелёно-изумрудною, розовою.

Как-то директор школы подозвал меня к себе в коридоре и сказал:

– Приехал миссионер из Канады. Протестант. Собирается просвещать...

Он перешёл на шёпот:

– Ты его как-то поделикатнее выставь. Я бы мог и сам, да боюсь, нажалуется...

Миссионер предстал моему взору в кабинете директора. Он сидел в кресле и больше был похож на хозяина, чем на гостя. Его свитер перерезала надпись на английском языке «Иисус любит Вас».

– Дэвид, – отрекомендовался он...



Гость из «страны кленовых листьев» долго меня убеждал в необходимости просвещения нашего, «погрязшего в невежестве», народа. А начинать – по его мнению – надо с детей, потому и была выбрана школа.

Я слушал его и едва сдерживал свои чувства, изо всех сил стараясь быть братолюбивым. К тому же я давно осознал всю тщетность и безнадежность нашего диалога. Мы говорили на разных языках. Он рисовал все преимущества западной цивилизации, разумности её устройства и, главное, удобства. А я тщетно пытался дотолкаться до его сознания и объяснить, что слишком тесное общение с Западом бесполезно русскому человеку. Если для них их дом – крепость, то для нас он пуст, если в красном углу не стоит икона и не теплится перед ней лампадка. И как ему было объяснить иррациональное в нас, наше самоотвержение. То, что наши правители, светлые князья, спали на соломе, положив полено под голову (В. Ключевский), а все ценности отдавали на возведение златоверхих храмов, стены которых лучшие русские иконописцы украшали бессмертными фресками и иконами...

Неожиданно Дэвид согласился со мной:

– Да-да. Ваши соборы – это феномен, феномен... У нас же под церкви отдают самые плохие здания, в которых уже никто не хочет ни жить, ни работать....

Однако в первый раз Дэвид ушёл от меня – как мне показалось – в недоумении. Обещал прийти завтра. А я почти не готовился к урокам, сидел в своём морозильнике-«вытрезвителе», как называл мой неотопливаемый кабинет наш завхоз, предаваясь раздумьям. Под кабинет была приспособлена бывшая кладовка – комната без окон. Вместо них я развесил повсюду репродукции, а на самую высокую полку поставил икону св. равноапостольных Кирилла и Мефодия...

«Что такое цивилизация без источника жизни – Бога? – размышлял я. – она в конечном счёте обречена на омертвление. Ведь даже Рождество там, на Западе, празднуется без Христа. Этот праздник не ощущается уже как великое спасительное для всего человечества событие».

Готовясь к дискуссии с Дэвидом, снимаю с полки книгу о. Александра Шмемана, известного у нас и на Западе богослова, к тому же и служившего там. И вот читаю: «В мире, воспринимаемом как самоцель, все приобретает самодовлеющую ценность (все в угоду земной жизни!). Мир же наполняется смыслом только тогда, когда он становится таинством Божественного присутствия. Естественный мир, оторванный от Источника жизни, это мир умирающий, и вкушая этой тленной пищи («человек то,



что он ест»), он на деле причащается смерти. Да и сама наша жизнь мертва и её приходится хранить в холодильнике...»

По словам отца Александра, он (т. е. Запад) живёт так, как будто Христос никогда и не приходил...

Как кстати мне попался Шмеман, мой любимый Шмеман! Теперь-то я знал, что сказать Дэвиду. Враг нашему Отечеству тот, кто хочет до конца обескровить, духовно выхолостить нашу жизнь. И уже появились желающие строить жизнь по Западу, изо всех сил стремясь вырваться из русла собственного российского менталитета. И опять мне на память пришли слова мудрого пастыря-богослова, написавшего в своей книге: «Мир – это Божественная любовь, он был задуман, как мистерия одной всеобъемлющей евхаристии, а человек – как священник, совершающий это космическое таинство...» А. И. Солженицын говорит о России и её предназначении совершенно конкретно: или она должна стать нравственной (а это возможно лишь при духовной составляющей), или никакой... Вне этого её существование бессмысленно. Это определение в полной мере относится и ко всему остальному миру.

Но, как я и предполагал, мои понятия о России и Западе мне не удалось донести до Дэвида. Зато я не пожалел времени, чтобы сходить с ним в Успенский собор, съездить к храму Покрова на Нерли. Туманно-белая посреди зимы церковка произвела на Дэвида особое впечатление. Он даже что-то пытался кричать в избытке чувств, и весь, как ребёнок, вывалялся в снегу. Поистине, по слову о. Павла Флоренского, русская культура (её храмы, её святыни) прежде всего, *показательство* Бытия Божьего, а не доказательство. Или, вернее, и есть подлинное доказательство!

По дороге Дэвид уже более охотно слушал мои рассказы (русским языком он владел великолепно) об отце Павле Флоренском, его богословских трудах и мученичестве. Русский Леонардо да Винчи – как часто называют этого богослова и учёного – кажется, перевернул Дэвидово протестантское мировоззрение. Показывал я ему и альбом с фресками Дионисия, которыми он неподдельно восхищался.

До сих пор я не удосужился сказать, что Дэвид был ещё и музыкантом-флейтистом, т. е. художником по своей сути. Ему мои доказательства правоты православия не понадобились. Русская культура брала своей красотой. Одно дело умозрительно определить, «подсчитать» Бытие Божие, другое – любить Бога, верить в Него, и в промыслительную Любовь Его к нам, ощущая жизнь как благодатное преображение (обожение). Не всуе сказано: не испытуй, но веруй.



Я, православный, и он, протестант, обрели единопутье, всматриваясь в симфонию красок Дионисия. Он (даже в альбоме) был увиден нами как сияние новой твари. Мне посчастливилось побывать в Ферапонтовом монастыре, и свежесть моего восприятия я постарался передать своему собеседнику.

– После Ферапонтова я боюсь к чему-нибудь прикасаться грубо, небрежно. К человеку, камню, дереву. Все после Дионисия сияет и горит. Слово Бога-Творца только что отложила кисть. А само творенье не успело остыть от райских красок...

Земля, к чему шутить со мною,
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть, звездою,
Огнем пронизанной насквозь, –

декламировал я Дэвиду, а он повторял: «Земля – звезда, земля – звезда».

Его игрушечное лицо преобразилось. Он взял свой тщательно оберегаемый серый футлярчик и вытащил флейту.

– Вячеслав, можно я вам сыграю?

И полилась мелодия, ликующая мелодия Вивальди, звуки которой в чём-то сродни краскам Дионисия. Мой кабинетик без окошек впервые слышал такие божественные звуки. В этот момент я и назвал канадца-проповедника (про себя, конечно) царём Давидом.

– Ну что, царь Давид, – хотелось спросить его, – каков наш Дионисий, а?

И здесь я, не сомневаясь, что он все поймёт, разразился непрерываемым монологом:

– Царство Небесное, – говорил я, – уже сошло на землю. Теперь все новое – Дионисий возвращает нам небесную (самую подлинную) память. Память просто должна, обязана быть духовной, иначе жизнь, как у вас, на Западе, превратится в сплошной цивилизованный холодильник, мёртвый мир без всякого Рая. А Рай надо возвращать, творить его каждый божий день. Надо понять, наконец, что потеря Божественной памяти обескровливает суть жизни... Связь человека с Творцом, с Царствием Божиим более глубинная, чем мы думаем. Только стоит забыть о Рае, и ты уже не человек.

И тут западная протестантская душа Дэвида возмутилась. Он тщательно упаковал свою флейту, а потом начал нервно возражать, говорить о преимуществах прогресса и почему-то о мобильной связи. Но меня уже было не остановить (во мне заговорил наш сокровенно спрятанный менталитет):



– Человечество, по сути, те самые девять неблагодарных прокажённых из Евангелия. Стёрлась их память о Боге (а значит и суть!), о Рае, и они уже по-настоящему больны духовной проказой...

Он (Дэвид) вдруг перебил меня, внезапно заговорив о Босхе (я потом уже подивился этому наитию – Дионисий и Босх жили в одном веке). Вероятно, слишком высокопарными показались ему мои рассуждения. Слишком уж оторванными от земли.

– Босх тоже чудо, он прозрел наш мёртвый, как вы говорите, Вячеслав, холодильник... Не только координаты Рая, но и координаты ада нельзя сбрасывать со счетов...

– Да-да, – горячо отвечал я. – Это и есть ваш бог, бог холодный, рассудочный, бог учёных... Вы пошли по пути схоластики, а мы по пути святости. Святой – вот настоящее имя Божие. Бога разумом не вычислить, Он – живой, Бог веры...

Дэвид даже зажмурился, он изо всех сил защищался. Босха он знал наизусть, видимо, это был его конёк.

– Босх увидел человека во всей его адской сущности. Разве грех – не самое главное в нас, а современный терроризм не есть ли Босх в наглядном изображении?.. Он вычислил нашу душу...

– Да, не спорю, Босх – ваш бог. Но разве таким должен быть всегда благой Господь?..

Дэвид вставал, брал футляр с флейтой, но вновь садился и слушал. А потом снова вступал в спор.

– Не скрою, Дионисий меня удивил, но это всё-таки икона, а не реальность... Вот Босх – это то, что есть на самом деле!

На этом месте я внутренне содрогнулся:

– Икона – наивысшая реальность и есть. А Дионисий и есть самый реальный живописец. Это взгляд Веры, Любви, Надежды. Босх же твой даже в Раю ухитрился увидеть ад. Помнишь «Сад земных наслаждений»? У него зло уже существует в момент сотворения Евы. Вспомни эту картину – кошка душит мышь, лев набрасывается на лань...

– Да, я помню, – отвечает Дэвид, – а в самом сердце картины, на котором изображён фонтан жизни, Босх поместил сову, в средневековой традиции символизирующую ложную мудрость.

– Значит, ты со мной согласен?

– Нет, просто это, действительно, феномен нашего сознания. Как есть архетип Дионисия, так есть и архетип Босха...

– Босх – архетип вашей культуры, все подвергающей сомнению. Даже высшую прерогативу Бога «быть», его дар нам всем, она, как Гамлет, про-



свечивает через умственный рентген. И больше того, именно ваш западный рационализм полностью уничтожил веру... Превозношение человеческого разума, эти бесчисленные поговорки, пословицы житейские, так любимые Босхом, превратившие его картинки в сплошную науку об аде жизни, – все это напрочь стирает цель нашего бытия... Пойми, цель-то всё-таки – Царствие Небесное. Помнишь, как сказано в «Откровении...»: «Се творю все новое... Аз есмь Альфа и Омега. Начало и Конец» (21, 5-6)... Знаешь, Дэвид, жизнь без освящения молитвой, благословения Божьего, литургии – и есть самый настоящий ад. В этом Босх прав...

Я вдруг остановился... Как якорь спасения, Дэвид берёт в руки книгу с репродукциями Дионисия:

– Знаешь, у нас уже так любовно книг не издают. У нас издают справочники – о том, что людям важнее всего, по социальным вопросам, по здоровью...

Вдохновлённый его отступлением, продолжаю:

– Горько, но у вас всюду прагматизм... У нас книга – это наше все, как Евангелие, которое выносят из алтаря. Оно словно драгоценный ларец: медленно открывают, потом произносятся прокимны, хор вторит им светоносным пением. Затем начинается торжественное чтение – Слово Истины восходит, горит, как солнце...

– Как ты хорошо говоришь, тебе бы в проповедники, – соглашается Дэвид. – Я сам видел этот момент в Успенском соборе. Впечатляет...

– Эта картина запечатлевается в сердце и остаётся там. Солнце Правды утверждается в сердце. Сама Благодать Духа Святого...

За разговором мы забыли о времени. А между тем школа жила своей жизнью – слышны были отдалённые свистки из спортзала, удары мяча, звон посуды из столовой...

В наступившей паузе все было отчётливо слышно. Осторожные шаги по коридору. Тихие, благоговейно-осторожные. Шаги вдруг замирают у нашей двери. Стук... Тихий, но отчётливый. В проёме двери показывается забавная мордашка с косичками:

– Вячеслав Михайлович, а у нас будет завтра «Священная история»?

Узнаю, это Даша – моя любимица из 2-го «а».

– Будет-будет.

Получив мой утвердительный кивок, она радостно убегает. Теперь слышен негромкий топот её ножек...

Дэвид тоже узнаёт Дашу. Это она его удивила на вчерашнем моем уроке, задав вопрос:

– Из чего сделан Рай?



Другой мой ученик принёс рисунок с Ноевым Ковчегом, где он рядом с отцом и матерью поместил кота.

– Ваши дети – феномен, – говорит Дэвид.

– У меня сюрприз для тебя, Вячеслав, – говорит Дэвид.

Он бережно вынимает из футляра с голубоватым ворсом внутри свою гамлетовскую флейту и подносит к губам. Звучит что-то чистое, печальное, молитвенное... Чайковский?.. Бах?.. И вдруг меня озаряет: да это же наша русская, про ворона: «Чёрный ворон, друг залётный, залетает далеко». Уловив мелодию, начинаю подпевать:

– Под ракитю зелёной
Русский раненый лежал,
Он к груди, штыком пронзённой,
Крест свой медный прижимал.

– Эту песню, Дэвид, мне пел мой тесть Дмитрий Андреевич. В селе Благовещенском, под Окой... И пел он её проникновенно, душевно, как у нас говорят... Потому что с ней прошёл войну, на которой потерял и отца, и братьев...

– Фе-но-мен! – закончив играть, говорит Дэвид.

И в нашем «холодильнике» на самой середине стены явственно высвечивается, загорается золотое окно.



Мария Теплякова

Интервью с Вячеславом Улитиным, удивительным Владимирским поэтом

Вячеслав Михайлович – собеседник и ученик Арсения Тарковского, скромный учитель русского, литературы и культурологии в средней школе, поэт, влюбленный в Андрея Рублева – из скромности он отказался сниматься в «Рублеве» у Тарковского-младшего, – среди его бывших учеников много священников: видимо, сделали свое дело пятерки с ангельскими крылышками...

14 октября звоню ему – поздравить с праздником: поехали к храму Покрова на Нерли? – Поехали! – почти кричит в трубку. – А Валюшу возьмем? (Валентина Дмитриевна – жена и боевой товарищ, в следующем году – золотая свадьба). – Конечно, возьмем!

И вот мы едем на машине к Покрове на Нерли. День ясный и по-летнему теплый. Валентина Дмитриевна: «Если бы ты знала, Маша, какой ты мне сделала подарок! Ведь у меня сегодня день рождения...»

Идем к храму по полю... – такие трогательные мои старички, светлые, почти невесомые, несомые ветром, до слез – детские, ясноглазые, смущаются, и празднуют жизнь...

Говорим обо всём – о любви, о внуках и, конечно, о поэзии...

* * *

М. Т.: Кто такой сегодня – поэт? Набросайте, пожалуйста, его портрет...
Интереснее всего даже – образ молодого поэта...

В. У.: Это – очень сложный вопрос... Почему сложный: иногда кажется, что поэзия вообще исчезает... Уже можно говорить о постпоэзии, наверное. Как есть выражение – постчеловек, постхристианин, так же можно говорить и о постпоэзии. Постскрипtum, ощущение чего-то такого... Последнего. У Аполлинера есть рассказ «Смерть поэта», там он пишет, что поэзия уже исчезает. То есть – уже в начале XX века Аполлинер думал, что поэзия исчезает! И каждый раз ощущение такое, что поэт – это что-то последнее, исчезающее. А с другой стороны, сколько я ни вижу современных молодых поэтов, они меня просто удивляют: красивые такие – квинтэссенция свободы, какой у нашего поколения не было. Я дружил с



Венедиктом Ерофеевым, он вдохнул в меня свободу... Мы крепко дружили. Это был совершенно необыкновенный человек...

А вообще про современного поэта многое можно порассказать... Есть в фотографии такое понятие «селфи», и есть поэты-селфи – они видят только себя, и поэзия их крайне индивидуальная... Тут трудно говорить о Поэзии.

Я люблю поэтов традиционного склада, больших поэтов. Бахтин говорил о диалоге, о полифонии голосов... Тарковский очень любил Державина. Без Державина Тарковского нельзя представить, потому что в творчестве каждого поэта должен быть диалог с каким-нибудь пра-поэтом... Поэзия – сложная штука...

М. Т.: Что в современной поэзии принципиально нового по сравнению с предыдущим поколением?

В. У.: Современный поэт – это поэт эклектический, эклектизм ему присущ, как, скажем, Аполлинеру. Впрочем, там был другой эклектизм, а сейчас эклектизм XXI века, построенный на глобалистическом ощущении мира. Глобализм задает тон, и поэт невольно это впитывает, даже если не хочет. Многие поэты думают, что они на пустом месте родились, а на самом деле поэзия не может быть без предшественников, без их опыта.

М. Т.: Современные поэты продолжают традиции или делают что-то принципиально новое?

В. У.: Молодым поэтам, которых я знаю, кажется, что они свеженькие, новые, незамутненные, не впитавшие ничего, и – сами по себе. А на самом деле они очень много впитывают. И Рильке, и Марина Цветаева, и Блок, и Тарковский – полный эклектизм. Но он существует помимо поэта – поэт и не подозревает, что он эклектик. На самом же деле он всё синтезирует в себе. Всё! Есть поэты читающие, книжные, а есть живущие интернетно, эти поэты отвергают полностью опыт – и тут уже какая-то новая просодия получается, совершенно новая мелодия, новая музыка. Есть стремление к новой мелодии, ко всему новому. Но я плохо таких поэтов знаю. Сам по себе я – поэт традиционный, воспитан на Тарковском, поскольку я с ним переписывался. Он меня убедил, что культура – главная составляющая поэта. Он мне рассказал по-настоящему о Бахтине, в письмах мне писал о том, что надо обязательно изучать ритм, размер... Рифма для него была – и этическое начало, и этическая составляющая. Поэтому мне сложно говорить о новаторстве в современной поэзии.

М. Т.: А можно ли – в связи с этим – говорить о деградации культуры в целом, и поэзии – в частности?

В. У.: С одной стороны, думаю, что да: деградация в глобалистическом аспекте. Глобализм вгоняет культуру в свою систему измерения.



Она становится необъятной, безразмерной. И поэтому она не утончается, не становится ангельской поэзией, как у Блока, а, к сожалению, деградирует. А с другой стороны, глядя на современных поэтов, я вижу, что они полны сил, они надеются, что поэзия таки не станет постпоэзией, поэзия останется, они же лишь что-то новое привнесут...

М. Т.: А что такое поэзия вообще?

В. У.: Поэзия – это всегда Орфей, всегда – человек, который спускается в ад, где он должен спасти Эвридику... Поэзия – это Спасующее Начало. Ведь Орфей – не всего лишь певец, который поет и играет, это – Человек Спасующий. Поэт – тот же Человек Спасующий. Конечно, не Христос, но, по крайней мере, – Человек. Человек, который своей гармонией, своими словами пытается спасти мир.

М. Т.: Чего поэту нельзя делать никогда?

В. У.: Наверное, нельзя быть пошлым. Где пошлость – в Чеховском, в Блоковском понимании и толковании. Нельзя не быть поэтом. Если он поэт, то всё у него взято, как Цветаева говорила, всё отнято, кроме поэзии, кроме лиры. Поэтическая жизнь – это жизнь внутри поэзии, музыки, внутри стихии, внутри спасения. Поэт должен ощущать свою миссию спасающего человека.

М. Т.: Могут ли быть составляющими таланта поэта пошлость и мат? Высказывания на политические темы?

В. У.: Как человек православный, я считаю, что мат – это рудименты язычества в человеке, и их надо вытравливать из себя. Выдавливает всё наносное и ненужное. Мат отношения к поэзии никакого не имеет. А пошлость... В свое время мы в студенческие годы писали капустники, рифмовали все подряд, но не считали это поэзией. Поэзия – это вещь высокая, на уровне Орфея, так или иначе – элемент спасения... Человек должен уметь побороть в себе зверя, демонические начала. Поэзия – это, прежде всего, высшая гармония... Этому меня Арсений Александрович Тарковский научил.... В его время немало было и советской пошлости, а он писал в стол, и при жизни выпустил одну книжечку. Представляете? При жизни – одну книжечку, которую я и купил в Коврове... Тогда я и написал ему письмо, положившее начало нашей переписке... И всё это – вопреки всей советской пошлости. Там была своя пошлость, но она у каждого времени – своя, а Арсений – он был настолько высок, орфеически преображал мир, делал его гармоническим.

М. Т.: То есть – Поэт создает время и в нем живет?

В. У.: Конечно! Тарковский тому пример. Он настолько жил вне советского времени, даже поражаюсь – откуда он взялся-то? Ведь были хорошие поэты, неплохие... Вот, например, – Твардовский. Но читаешь его



– наполовину советский, вроде бы утверждал своё время, а в то же время – был далек от вечности. Вечность и время тут не совпадают, потому что одно дело, когда пишет человек для вечности, другое дело, когда для современности. Тарковский совершенно спокойно жил одинокой жизнью и писал для вечности, это очень важно понять.

М. Т.: Выходит, понятие «современный поэт» – это не комплимент, а – порицание?

В. У.: Конечно. Что такое современность? Это – мимо проходящее время... Оно быстро пройдет, а вечность – она всегда, это – четвертое измерение, что-то более высокое, прекрасное.

М. Т.: Есть ли у поэта особенный счет перед Богом? Или это – пафос?

В. У.: Тут можно впасть в рафинированность, в эстетизм. Конечно, с одной стороны, поэт просто живет во времени, он, как Пушкин говорил, – бренное существо, самое, может быть, простое существо, бедное, как его бедный Евгений, а с другой стороны, поэт – это, конечно, пророк. Если он не пророк, то зачем вообще писать стихи? Если нет пророчества в стихах, мне непонятно, зачем поэт жил. Хотя, конечно, есть прекрасные просто лирики, скажем – Рубцов, Есенин...

М. Т.: Кто из поэтов будет «отвечать» за XXI век?

В. У.: (*смеется*) Мария Теплякова! А, если серьезно, – сейчас нет отсчета, нет анналов каких-то, критических литературных журналов нет, мы сейчас не можем вычислить, кто – настоящий поэт, кто – не настоящий. Это раньше, во времена «Нового мира» мы могли узнать, кто есть кто...

М. Т.: Потомки разберутся? А нужна им будет поэзия?

В. У.: У меня есть ощущение не востребованности. Вот вы много выступаете, у вас своя аудитория есть, может быть, кто-то слушает,, Но я вот во Владимире чувствую полную не востребованность, никому поэзия, по сути, не нужна. Не знаю, как поведут себя будущие поколения – могут просто ее вытравить, поэзию, и она будет не нужна человеку. Поэты ходят, выступают, но они по сути сами перед собой выступают. Молодые поэты – два-три человека сидят, друг перед другом читают свои стихи – выступил, ушел в зрительный зал, сидит, слушает... Вот и вся аудитория... В Москве, Петербурге, наверное, другая картина. Но во Владимире поэзии нет. Даже думаю – о чем писать? Зачем писать?.. Но поэзия сама вырывается из меня, она имеет свойство, как пламень, высекается из непонятных, из каких-то таинственных субстанций. Поэзия – это таинственное явление, необузданное, как мустанг. Но во Владимире диалога не происходит, к сожалению. В Питер меня приглашали года два назад, в библиотеку имени Лермонтова, – так встретили, словно великого поэта, даже исполняли для меня музыку –



настолько всё это было высоко на творческом уровне, что подумал – значит, есть ещё поэзия, существует. Но у нас во Владимире, увы, – угасает...

М. Т.: ...вдохновение или мастерство?

В. У.: И – вдохновение, и – мастерство! Одно другое поддерживает. Без вдохновения не напишешь ничего, без мастерства не будет настоящей поэзии. Антиномия...

М. Т.: Что вы пожелаете современным поэтам?

В. У.: Я по-прежнему предлагаю им осваивать культуру, без культуры поэзия не будет настоящей.

М. Т.: Три поэта, которых необходимо читать каждому молодому поэту – это...

В. У.: Блок – непременно! Еще я очень люблю австрийского поэта Рильке, переводил его немножечко... И третий... забыл... ты мне подарила... да, – Вениамин Блаженный. Очень интересная поэзия в том смысле, что она именно – блаженная, юродивая, и вместе с тем помогает как-то по настоящему устоять... В ней – и юродство, и пророчество, и философская нота...

* * *

Долгая дорога...

Идём – и звучат стихи Вячеслава Улитина:

Слово

Звёздный смысл подарен всей природе,
 Благодать бессмертная горит,
 Молчаливый Бог к тому приходит,
 Кто святое Слово сохранит.
 Сохранит мерцание и трепет,
 Обострит и зрение, и слух,
 Кто его в душе своей затеплит,
 Как лампаду в праздничном углу.
 Светоносное, как детский лепет,
 И магическое, как магнит,
 Слово, Слово, кто его не треплет,
 Кто не топчет Слова, не казнит.
 Всё разрушит катастрофы ветер,
 И летит вселенская зола,
 А оно сияет в Вышних, светит,
 На попятанье мирового зла.



Я люблю

Малютка жизнь...

А. Тарковский

Я люблю, когда молчат светила
И горят, как Божия слеза.
Бог молчит, чтоб совесть говорила,
Совесть говорит – ликуют небеса.
Я люблю, когда Зима повсюду
Белизной цветёт, как райский крин.
Бог замыслил Землю словно чудо,
Лучшей изо всех своих картин.
Осиянна даже наша тварность,
Что к Творцу направила полёт.
Я люблю, когда лишь благодарность
С покаянием во мне живёт.
Я люблю... но время трезво точит
Смертные внезапные ножи.
Господи! Бери, когда захочешь,
Душу, сердце и малютку жизнь...

Поэту

Писать только вечные вещи
И только о главном писать,
Смиренно и сладко, и веще
Небесную книгу листать.
Пусть ангел к тебе устремится,
Ты должен бороться хитро –
Смиренно ему подчиниться,
Но вырвать хотя бы перо.

* * *

Листьев багряный смог –
Осень красна от ран,
Каждый листок – Ван Гог,
Каждый листок – Рембрандт.
Вслушайся в звонкий лист,



Тонкий звук его пей,
Каждый листок – артист,
Каждый листок – Орфей.
Вместе с простой листвой
Нас обнимает Бог –
Каждый листок – святой,
Мученик и пророк.

* * *

Памяти Георгия Свиридова

Свете тихий святых славы,
Свете тихий дивного слова,
Свете тихий музыки плавной,
Свете тихий Божьего зова.

Свете тихий слезы безмолвной,
Свете тихий радости русской,
Свете тихий лесов сосновых,
Свете тихий полей и пустынь.

Откровенье души поэта,
Откровенье испитой чаши,
Свете тихий райского света,
Свете тихий Родины нашей.

Свете тихий зимнего неба,
Рождества золотое диво,
Теплота золотого хлеба,
Миг серебряно-молчаливый.

Свете тихий детского взгляда,
Откровенье вечного чуда,
И бессмертья почти не надо,
Потому что оно повсюду.



Лесная элегия

Однажды осенью
Вошёл я в смутный лес
С корзиной,
На дне её лежали, словно листья,
Все дни моей печальной жизни.
И вспомнил я, как мы с тобой брели
По осень, золото и свет,
Гадая на стихах китайского поэта.
А солнечные зайчики плясали
По прутьям, по рукам и по лицу,
И мы с тобой пытались разобрать,
Где свет земной, где неземной.
И вот уж – в золотой одежде –
Мы к сердцу леса выходили...
И это было как преображенье
Простой и невесомой жизни
В прелюдию и фугу для органа.

Любимый поэт

– За нашего грустного бога
Просите у Бога,
За Блока молитесь, за Блока, –
Сказали Вы строго.
И ясный Ваш лик
Обрёл византийскую смуглость –
За грешную юность молись,
За страшную юность.

Шестоднев

Я знал давно, что ты, Земля, поражена,
Как солнцем, предвечным чудом удивленья,
Но только лишь сегодня я увидел
Холмов твоих изогнутые брови.
Ты первая, Земля, увидела Творца.



Открытым взором ты созерцала чудо,
И не было ни плата у тебя, ни крыл,
Чтобы сокрыть свой взор от Света.
Вот отчего все русские озера
Так изумлённо смотрят в небо.

Вот отчего...

Снегирь

Ты думаешь, только заря
Горит золотою отрадой –
Прозрачная тень снегиря
Алеет лампадой.

А сам он, недвижим и нем,
В глуши затаился холодной.
Зачем он, зачем он, зачем? –
Прекрасный, горящий, свободный.

Отечество

Проржавлено ведро –
Грибы и сруб осклизлый,
Утоплено добро
На дне моей Отчизны.
Колодцы, как кресты
Потерянного рая,
Целую лик воды
И слёзы утираю.
Россия, дух, душа,
Нежнее нет – железней –
Студёный лёд круша,
Бадья стремится в бездну.

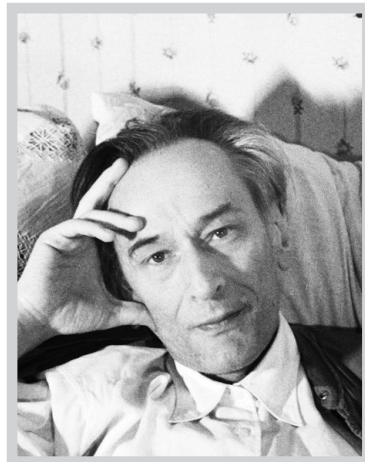


Даниил Андреев

(1906—1959)

Россия

*Русский поэт, прозаик. Сын писателя
Леонида Андреева.*



Приснодеве-Матери

Пренепорочная. Присноблаженная.
Горней любви благодатное пламя,
Кров мирам и оплот!
Непостигаемая! Неизреченная!
Властно предчувствуемая сердцами
Там, в синеве высот!
Ты, Чья премудрость лучится и кроется
В волнах галактик, в рожденьи вселенных,
Ближних и дальних звезд!
Лик, ипостась мирозидущей Троицы,
Вечная Женственность! Цель совершенных,
К Отчему царству мост!
Ты, на восходе культур пронизавшая
Тысячецветные окна религий,
Древних богинь имена!
Нимбами огненными осенявшая
Юное зодчество, мудрые книги,
Музыку и письмена!
Ты снисходила до сердца юного,
Ты для него сквозь синь фимиама
Нежной плыла звездой, –
Не отвергай зазвучавших струн его,
Дальних амвонов грядущего храма



Гимн его удстой.
Сумрачный дух жестокого мужества
Правил народами – в роды и роды
И бичевал их бичом.
Ты лишь Одна оевала содружества,
Пестовала на коленях природы,
Не спросив ни о чем.
Ты нам светила любовью возлюбленных,
Ты зажигала огни материнства
По родным очагам...
Пристань гонимых! бессмертье погубленных!
Благословенные узы единства
И прощенья врагам!
Тихо сорадующаяся! Ласковая!
Легок с Тобою путь многотрудный
К наивысочайшей мечте!
Мир многопенный, песни и краски его
Только Тобою прекрасны и чудны
В радости и красоте.
Раньше Ты брезжила в сказках язычества,
Над христианским храмом лампадным,
В ласках живой земли;
Но истекает эра владычества
Яростных, мужественных, беспощадных,
И на заре, вдали –
Как розовеющими архипелагами
Облачного слоистого моря,
Как лепестками миров
Близишься Ты – светоносной влагою
Душу планеты, омыв от горя,
В белый облечь покров.
Меры заменишь новою мерою,
Сбросишь с весов суровые гири
В страшном этом краю...
Верую, Дивная! верую! верую
В Братство, еще небывалое в мире,
В Церковь Твою.

1950–1955



Сорадовательнице мира

Во всем, что ласково,
что благосклонно –
Твой, пронизающий Землю, свет,
И если шепчем, молясь 'Мадонна' –
Сквозь лик Марии
Тебе привет.
Дыханье ль ветра из вешних далей
Лица коснется нежней струи –
В игре блаженствующих
стихиалей
Твоя улыбка,
уста Твои!
Как ясно духу Твое веселье,
Когда на теплом краю морском
Ребятчи ножки промчатся мелью
И золотятся
сырым песком!
Лучатся ль звезды в верховной славе,
В глубинах моря ль цветут цветы –
В их мимолетной, как миг, оправе
Ты, Безначальная,
только Ты!
Как одевает безгрешный иней
Земли тоскующей персть и прах,
Так всепрощающей благостыней
Ложится плат Твой
во всех мирах.
И если сердце полно любовью,
Самоотдачей любви полно –
К Твоих ласкающих рек верховью
Оно восхИщено
и устремлено.
Ты засмеешься – журчат капли,
Поют фонтаны, ручьи во льдах,
И отсвет зыблется
на колыбелях,



Прекрасных зданьях,
стихах,
садах.
Так пронцаешь Ты мир вседневный,
Так отражаешься
вновь и вновь
Во всем, что радостно,
что безгневно,
Что окрыленно,
что есть Любовь.
1955

Василий Блаженный

Во имя зодчих – Бармы и Постника
На заре защебетали ли
По лужайкам росным птицы?
Засмеявшись ли, причалили
К солнцу алых туч стада?..
Есть улыбка в этом зодчестве,
В этой пестрой небылице,
В этом каменном пророчестве
О прозрачно-детском 'да'.
То ль – игра в цветущей заводи?
То ль – веселая икона?..
От канонов жестких Запада
Созерцанье отрешит:
Этому цветку – отечество
Только в кущах небосклона,
Ибо он – само младенчество
Богоизбранной души.
Испещренный, разукрашенный,
Каждый столп – как вайи древа;
И превыше пиков башенных
Рдеют, плавают, цветут
Девять кринов, девять маковок,
Будто девять нот напева,
Будто город чудных раковин,



Великановых причуд.
И, как отблеск вечно юного,
Золотого утра мира,
Видишь крылья Гамаюновы,
Чуешь трель свирели, – чью?
Слышишь пенье Алконостово
И смеющиеся клиры
В рощах праведного острова,
У Отца светил, в раю.
А внутри, где радость начисто
Блекнет в сумраке притворов,
Где от медленных акафистов
И псалмов не отойти –
Вся печаль, вся горечь ладана,
Покаяний, схим, затворов,
Словно зодчими угадана
Тьма народного пути;
Будто, чуя слухом гения
Дальний гул веков грядущих,
Гром великого падения
И попанье всех святынь,
Дух постиг, что возвращение
В эти ангельские кущи –
Лишь в пустынях искупления,
В катакомбах мук. Аминь.

1950

* * *

...Золотом луговых убранств
Рай я в мечтах цвечу.
Холодом мировых пространств
Гасит мне Бог свечу.
Гасит мне Бог свечу
Сказок и детских вер;
Если же возлечу
К пристани вышних сфер –
Как глубоко внизу
Райский увижу брег,



Радужную синеву
Радостных его рек!
Да, – над Олирной все
Праздничные миры
Зыблются как в росе,
Искрятся как костры;
Но, выше всех пространств,
Чуждые дольних сходств,
Смен или постоянств,
Блещут миры Господств,
Тронов, Властей и Сил –
Миродержавных братств,
Действеннейших светил,
Истиннейших богатств.
Образов не обретет
Бард или трубадур
Вышним мирам, чей лёт –
В небе метакультур.
Льется в подобный слой
С дальних созвездий ветр;
Там – шестимерный строй,
Двадцатицветный спектр.
Даль мировых пространств
Там для очей не та:
Дух, а не блеск убранств!
Дух, а не пустота!
Эти миры – цепь вех
Ввысь, сквозь эдем – эдем,
Долженствованье всех,
Благословенье всем!
Космос перед тобой
Настежь. Так выбирай:
Где же, который слой
Именовать нам Рай?

Печатается по изданию:

Даниил Андреев. Собрание сочинений в трех томах. 1993. Том 1.
Русские Боги.

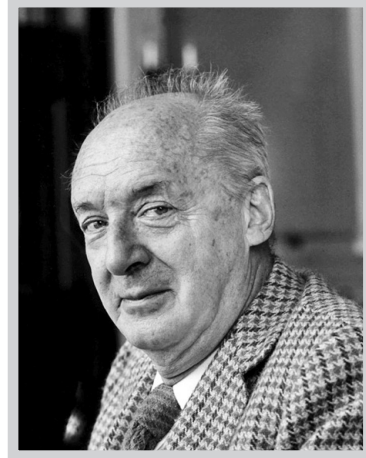


Владимир Набоков

(1899–1977)

США

Русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог.



Молитва

Пыланье свеч то выявит морщины,
то по белку блестящему скользнет.
В звездах шумят древесные вершины,
и замирает крестный ход.
Со мною ждет ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибающая,
пасхальный вопль опять растет.

Пылай, свеча, и трепетные пальцы
жемчужинами воска ороси.
О милых мертвых думают скитальцы,
о дальней молятся Руси.
А я молюсь о нашем дивьем диве,
о русской речи, плавной, как по ниве
движенье ветра... Воскреси!

О, воскреси душистую, родную,
косноязычный сон ее гнетет.
Искажена, искромсана, но чую
ее невидимый полет.
И ждет со мной ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибающая,
пасхальный вопль опять растет.



Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волнение нивы.
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь.

* * *

Нас мало – юных, окрыленных,
не задохнувшихся в пыли,
еще простых, еще влюбленных
в улыбку детскую земли.
Мы только шорох в старых парках,
мы только птицы, мы живем
в очарованья пятен ярких,
в чередованьи звуковом.
Мы только мутный цвет миндальный,
мы только первопутный снег,
отенок тонкий, отзвук дальний, –
но мы пришли в зловещий век.
Навис он, грубый и огромный,
но что нам гром его тревог?
Мы целомудренно бездомны,
и с нами звезды, ветер, Бог.

Жизнь

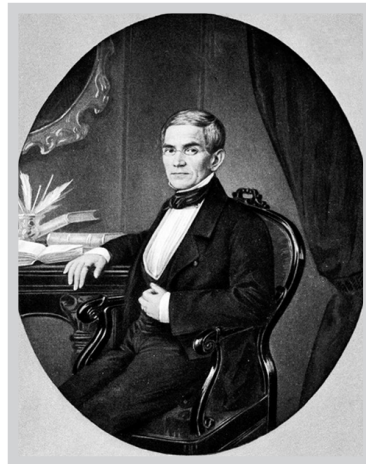
Шла мимо Жизнь, но ни лохмотий,
ни ран ее, ни пыльных ног
не видел я... Как бы в дремоте,
как бы сквозь душу звездной ночи, –
одно я только видеть мог:
её ликующие очи
и губы, шепчущие: Бог!



Дмитрий Ознобишин (1804–1877)

Россия

Поэт, прозаик, переводчик. Владел десятью языками. Был одним из переводчиков-первооткрывателей великих поэтов Востока – Низами, Саади, Хафиза, Нахшаби, Ибн-Руми, Абу Новаса.



Утренняя молитва

Когда с высот небес сбегает ночи тень
И горы окаймит среброгорящий день,
От ложа мирного восставши в час урочный,
Мольбой приветствую я светлый край Восточный;

Всевышний! пред Тобой я тление и прах!
Но Ты, Творец миров, источник вечных благ!
Тебе всеведомы и ум и помышленья.
Прости мне праздность слов и мыслей прегрешенье;
Избавь неведенья, забвенья, и в тиши
Согрей любовью преступный хлад души.
Даруй мне твердость сил свершать Твои уставы,
Из сердца отжени все помыслы лукавы.
Да не отринется смиренная мольба:
Из Книги Бытия не исключи раба!
Я доброго ни раз не сделал пред Тобою;
Но Ты покрой меня десницею святою,
И дивною росой всещедрости Твоей
На сердце низойди и свет в него пролей;
Да кознь лукавого в нем не пробудит страсти;
Не отвергай меня и не введи в напасти;
Но целомудрием, терпеньем осени,
И в Царствии Твоем меня воспомяни!



Дозволь любить Тебя душой и помышленьем,
Дай волю следовать во всем Твоим веленьям,
Дай послушанье мне, всели в мой разум страх!
Ты многомилостив, благословен в веках!

Январь 1840

Вечерняя молитва

Когда угаснет день и ночи мрак победной
Лазурь небесную оденет мантией звездной,
Усталый от трудов и от заботы дня,
Молюсь, во прах главу смиренную склоня:
«Владыко! этот одр уже ль мне гробом будет,
И утро вновь меня для жизни не возбудит!
Страшуся Твоего правдивого суда,
А зла не перестаю творить, как всегда.
Достоин казнь приять и муки бесконечны...
Но милосерден Ты, Творец миров предвечный!
Хочу иль не хочу, спаси, избавь меня
От смертного греха и вечного огня!
Хранишь Ты праведных и чистого душою;
Но жизнь их — светлая заслуга пред Тобою.
Нет, милосердие на падшем мне яви
И сердце грешное любовью удиви!
Да видя то, всяк власть Твою уразумеет,
Да злобный враг сетей мне ставить не посмеет;
И, благостью Твоей невидимо храним,
Все козни предо мной рассеются, как дым».

Январь 1840



Молитва Господня

Отец наш, в небе чья обитель,
Чье имя свято чтим в устах,
Правь и царствуй, Вседержитель!
Да на земле, как в небесах.
Твоя лишь воля будь, взываем!
Даруй здесь хлеб насущный нам;
Прости нам долг наш, как прощаем
И мы всем нашим должникам!
О, не введи нас в искушенье;
Дай от лукавых избавленье!

Твои здесь: царство, сила, слава!
Ты есть, Ты будешь, вечно был!
Вселенная Твоя держава,
Звучит весь сонм безплотных сил.

Из сборника:

Д. П. Ознобишин. Стихотворения. Проза. В двух книгах. Москва.
«Наука», РАН, Серия «Литературные памятники». Книга первая. Стр. 433,
436, 522.



Константин Случевский

(1837–1904)

Россия

Русский поэт, писатель, драматург, переводчик. Гофмейстер Императорского Двора, Тайный советник.

Две молитвы

Молитва Ариев древней других! Она,
Тончайшей плотью слов облечена,
Дошла до нас. В ней просит человек,
Чтоб солнце в засуху не выпивало рек,
Чтоб умножались приплодами стада,
Чтоб червь не подточил созревшего плода,
Чтобы огонь не пожирал жилищ,
Чтоб не был человек болезнен, слаб и нищ!

Какая детская в молитве простота!
Когда сравнишь её с молитвою Христа,
Поймёшь: как много зла на жизненном пути
По человечеству должно было возрасти,
Чтобы оно могло понять и оценить –
Божественную мысль, мысль новую... простить!

В сборнике: Константин Случевский. Сочинения в стихах. – ИТД «Летний Сад», М.– СПб, 2001, 519–520.



Федор Коровин
(1935–2011)
Латвия, Рига



Старший инженер Вычислительного центра Латвийского Госуниверситета. В 1974 г. за распространение самиздата был арестован и приговорен Верховным судом Лат. ССР – по ст.65 ч.1 УК Латвийской ССР – к двум годам заключения в исправительно-трудовой колонии и двум годам ссылки. Срок отбывал в Дубравлаге.

Письмо сыну

Мой мальчик! Мне скоро 50. У меня всё позади. Я устал и скоро уйду. Ты будешь жить, будешь совершать ошибки, у тебя будут радости и печали. Это будут твои ошибки, твои радости и печали.

Но моя жизнь, так или иначе, является и твоим прошлым, далёким прошлым, может, ты из неё извлечёшь для себя что-то полезное или хотя бы интересное.

Я начну издалека, с первого дня, который очень хорошо помню и который, мне кажется, сыграл в формировании моей души важную роль.

Жарко...

Дорога бежит вдоль берега речки, над ней висит знойное марево и тишина, изредка нарушаемая ленивым всплеском крупной рыбы, скрывающейся в тихих прибрежных заводях. Ни ветерка, ни облачка, лишь – стрекот кузнечиков. Лошадь, отмахиваясь хвостом от назойливых оводов, слабой трусцой тянет телегу по просёлочной дороге, заросшей настолько, что колёса катятся как бы по зелёному травяному ковру, не оставляя следов. Слышно только позвякивание сбруи да скрип колёс. Невдалеке поднимаются холмы, заросшие смешанным лесом.

На телеге сидят мужчина и женщина. Они молоды, им чуть-чуть за двадцать, они беспечны и, наверное, счастливы, как бывают счастливы люди, у кого впереди беспечная, как им кажется, жизнь.

Это – мои мать и отец.

То ли от шальной прихоти, то ли в шутку им захотелось развлечься, и они решили оставить меня на дороге. Мне было около трёх лет. Они



высадили меня, хлестнули лошадь и исчезли за очередным поворотом, скрытым прибрежными кустами.

На мне короткая рубашонка, едва прикрывающая колени. Я бегу, ноги заплетаются в траве, пот заливает глаза, грудь разрывает крик: – «Мама!». Я падаю, встаю и, путаясь в траве, пытаюсь бежать, но вновь падаю. Наконец, – просто сажусь посреди дороги и, размазывая слёзы по чумазому лицу, твержу единственное слово – «мама»... Я один. Эти слёзы, эта обида, этот страх одиночества были первыми вешками памяти, оставшимися на всю мою жизнь.

Потом, когда меня спрашивали о первой детской обиде, я с болью вспоминал залитую зноем прибрежную низину, дорогу, заросшую травой, скрывающуюся за кустами телегу и себя, сидящего в траве посреди дороги, своё первое осознанное горе и одиночество, когда весь мир зашёлся в одном слове – «ОДИН».

Жизнь преподнесёт мне немало печалей, и не один раз я буду ощущать одиночество, но навсегда в моей памяти сохранится тот жаркий июльский день и речка, и телега, и трава, и слёзы...

Мама вдруг спохватилась, спрыгнула с телеги и побежала назад ко мне. Она взяла меня на руки, плачущего, прижала к себе и понесла к остановившейся телеге.

Я ещё долго всхлипывал, обхватив руками шею матери, которая, тоже плача, успокаивала меня, ласково называя дурачком, обещая больше никогда и нигде меня не бросать.

Наконец, я успокоился, телега катилась дальше. Вот её колёса уже шумят по прибрежной гальке, дорога идёт по самому берегу речки. Слева поднимается крутой глинистый обрыв. Здесь когда-то стояла мельница. Теперь её не было. Только остатки каких-то свай торчали из воды.

На самом верху глинистого красного обрыва (его называли яром, от этого и пошло название деревни, лежащей под горой – «Красный Яр») разрослись могучие ели, между ними были разбросаны могилы сельского кладбища.

Дорога поднялась на пригорок. Внизу лежала деревня, где мои родители снимали комнату у одинокой вдовы и работали в колхозе – отец трактористом, а мать разнорабочей.

Ехали они тогда от деда. Дед жил на хуторе. По нелепой случайности, вопреки разуму коллективизации, деда не раскулачили, не выслали, не убили.

Наверное, это произошло потому, что у него в период коллективизации была огромная семья: бабка народила 13 дочерей и одного сына – моего отца.



Дешевле было оставить эту полунищую семью умирать на убогом клочке земли, затерянном меж горами, чем везти куда-то в Сибирь.

Семья и так постепенно вымирала. К 1939-му году большинство дочерей деда умерли, а немногие оставшиеся в живых разъехались по разным углам страны.

Когда-то добротное хуторское дедово хозяйство пришло в запустение.

На хуторе жили только дед и бабушка. Дед чувствовал – если не приближение смерти, то надвигающееся переселение в деревню.

Он интуитивно понимал, что в какой-то момент ретивое районное начальство увидит, что рядом с колхозом, затаилось единоличное хуторское хозяйство, которое, как бельмо на глазу, портит статистику района, и хутор, в конце концов, сравняют с землей...

Так и случилось.

В преддверии сороковых годов деда выгнали с хутора, срыли его двор и отвели в деревне место для постройки нового дома. Разобранный хуторской дом был перевезён на это новое место, но собрать его так и не смогли.

Дед плюнул на всё и устроился работать пасечником в колхозе, мотаясь со своей бабкой по частным квартирам.

Он был очень удивительным стариком, выходцем из тех старообрядцев, которые триста лет тому назад, не желая отправлять богослужение согласно никоновской реформе, предпочли переселиться в ту пору глухие приуральские леса и жить там своими хуторами.

В доме деда свято хранили обычаи и обряды раскольников. В своей семье, состоящей сплошь из женщин, он был как бы настоятелем женского монастыря.

Деда боялись, но почитали.

Каждое его слово было законом для домочадцев.

Истово исповедуя веру старообрядцев-беспоповцев, дед сам крестил своих детей и детей из близлежащих деревень. Он же венчал, он же отпевал и хоронил умерших...

Он ненавидел ложь, лицемерие, не терпел слабости, даже детской, и сурово наказывал провинившихся, иногда не гнушаясь и рукоприкладством.

Его боялись, но, как ни странно, любили по-настоящему, ибо в его облике было нечто «не от мира сего», вызывающее уважение.

Высокого роста, с прекрасной лепкой головы, с волосами, постриженными «под горшок», с мощной рыжей бородой, с непокрытой головой в любое время года, дед был живым порывистым стариком.



После изгнания с хутора в углу каждой наёмной квартиры (наверное, не было в деревне двора, где бы они с бабкой ни жили) дед в «красном углу» избы устанавливал иконостас из прекраснейших, потемневших от времени, икон. Спустя тридцать лет я понял и оценил красоту этих ликов, но было поздно: их уже нельзя было собрать, ибо дед, уезжая из деревни к одной из оставшихся в живых дочерей, раздарил все иконы по деревенским дворам. Теперь эти иконы или пущены по течению реки (согласно древнему поверью: когда умирает человек, его любимая икона пускается по воде) или, по желанию атеистов-внуков, брошены на чердаки.

В тот жаркий июльский день дед жил ещё на хуторе, а мы ехали в деревню, уже «домой», мы жили тогда у толстущей тётки Матрёны. У неё давно уже умер муж, но по каким-то, тогда ещё мне неизвестным законам, она продолжала рожать детей, которые почему-то долго не заживались на этом свете.

В эту пору у неё был только один мальчик, мой сверстник. Мы (у меня был брат, годом младше меня) играли с этим мальчиком во дворе и почему-то часто дрались. Казалось бы, что нам было делить? Вероятно, понятия «хозяин» и «квартирант» уже в самой своей основе предусматривают какой-то исконный антагонизм.

Так, после очередной потасовки, сын тётки Матрёны, побитый нами (братом и мной), удрал в дом, откуда, спустя минуту, выбежала дородная наша хозяйка и отодрала нас за уши, почему-то называя нас «нехристями», хотя в то время в нашем сознании Бог занимал если и не первое место, но уже, во всяком случае, второе – после матери и отца.

Работоспособность тётки Матрёны была удивительной: она с утра до вечера копошилась во дворе или на огороде и только поздно вечером входила в дом, опускалась на «лавку» (так называлась большая скамья, тянувшаяся вдоль стены от одного угла избы до другого) и сидела, тяжело опустив руки.

В те ранние мои годы меня, естественно, не интересовал вопрос о том, откуда на свет появляются дети. Но именно случай с тёткой Матрёной в какой-то мере толкнул моё детское миропонимание на эту сторону жизни.

Помню, мы играли во дворе. Тётка Матрёна с огромным животом пошла в избу, предупредив нас «не лазить с улицы». Через какие-то полчаса мне захотелось есть. Я вбежал в избу, чтобы отломить кусок хлеба, и вдруг откуда-то с печи я услышал слабый детский писк.

Это было так неожиданно, что я застыл на месте. Крик новорождённых я слышал раньше, когда мой дед на хуторе крестил крошечных младенцев. Но здесь, посреди душной избы, я не видел купели с водой, не видел свеч,



не видел бабушки с полотенцем, готовой принять младенца, вынутого из купели, я никак не мог понять, откуда же и почему слышится этот крик? И вдруг на стенке печи показались толстые ноги тётки Матрёны. Она спустилась, встала передо мной и сказала: «Ну, что ты, дурачок стоишь? Бери хлеб и беги на улицу! У моего Ванятки родился братик».

Я, ничего не понимая, отломил от каравая кусок хлеба и выбежал во двор, крича: «У Ванятки родился братик!» Ванятка, тоже ничего не понимая, тупо посмотрел на меня, отломил половину от моего куска и побежал на огород за очередным огурцом (он страшно любил огурцы, хотя, как помню, часто маялся животом).

На крыльцо вышла тётка Матрёна, поглядела на нас, что-то сказала и пошла к колодцу. Она вытянула из колодца тяжёлую бадью, налила воду в рядом стоящее ведро и понесла его в дом.

Какая же должна была быть физическая сила у этой женщины, чтобы вот так просто войти в дом, влезть на печь, родить ребёнка (совершенно одна!), освободиться от «места», сойти вниз и пойти за водой.

Примерно через год деда выгнали с хутора. Поначалу он приехал в деревню и, вместе с нами, снял комнату у одиноких стариков.

Половина, одна большая комната и кухня, занята была хозяевами, а другая половина – семьёй деда.

Дед сразу же в красном углу повесил иконы, установил какое-то подобие пюпитра с лежащими на нём рукописными книгами в толстых кожаных переплётках с замками, развесил расписание, полотенца, расставил свечи.

Когда началась «финская», выяснилось, что мой отец тяжело болен – его забрала медкомиссия, ибо, как тогда говорили, у него был «порик» сердца. Он остался дома, к великой радости домочадцев, которых почему-то мало волновало его здоровье – главное было то, что его оставили дома и не послали воевать с какими-то «агрессорами».

Меня четырёхлетку тоже только радовало, что «папка рядом, папка со мной».

Папка же, плюнув на редкие недомогания, продолжал пить, играть в карты с так же забракованными сверстниками, приходил домой под утро, когда уставшая от ожидания мама тихо всхлипывала, укрывшись с головой одеялом. Иногда он кричал на неё, если «не добрая», – тяжело ворочая языком, вываливал особо тяжёлые изыски русского мата.

А иногда, даже если был сильно пьян, тихо ложился рядом с ней и просил прощения, давал обещание больше не пить и не играть в карты.

Разумеется, на завтра же эти обещания забывались и всё повторялось.



Дед любил своего единственного сына больше всего на свете, прощал ему всё и во всех семейных неурядицах винил мою мать, вымещая злобу не только на ней, но и на своих внуках. Нам, бесштанным малолеткам, когда дед бывал особенно зол, попадало, как говорят, ни за что. То мы сели за стол, не сотворя «отче наш», то наперёд деда влезли ложками в общую миску. В таких случаях дед, ни слова не говоря, больно бил нас по лбу своей увесистой деревянной ложкой так, что у нас искры сыпались из глаз и хотелось зареветь, чего делать не следовало, чтобы не получить ещё более внушительную «добавку» всё этой же ложкой.

Мы глотали слёзы, пополам со щами, спешили вылезть из-за стола и убежать во двор, куда, немного погодя, выходил дед, садился на «брёвна» (накатанная куча их всегда лежала у дома), подзывал нас, усаживал к себе на колени, виновато хмурился и, захватив огромными пятернями наши вихрастые головы, тихо гладил их, задумчиво глядя на покрытые лесом горы.

Я до сих пор помню эту жестковатую изъеденную морщинами ладонь, постоянно пахнувшую мёдом. Дед всю жизнь прожил рядом с пчёлами. Он понимал и любил их. Казалось, они отвечали ему тем же, ибо он никогда не пользовался «дымокурором»; когда ему надо было вынуть раму с мёдом, облепленную пчёлами, он просто подходил к улью, снимал с него крышку и вынимал раму, ловко сгребая в улей всех пчёл, сидящих на раме. Я не помню случая, чтобы хоть одна пчела ужалила его. Всё это особенно удивляло потому, что я всегда ходил с распухшей от укусов пчёл рожей, будь то у себя во дворе или у деда на колхозной пасеке, куда мы частенько, перевалившись через ручей за огородом, пробирались к деду в те дни, когда он «гонял мёд».

Трусливо пригибаясь, мы пробирались в маленький домик пасечника. Разъярённые пчёлы зигзагами носились внутри небольшой избы, натыкались на деда, отскакивали от него, как от стенки, натыкались на нас и больно жалили лицо или руки – так, что, когда мы кончали доедать маленькими деревянными ложечками налитый в деревянную же миску свежий пахучий мёд, наши глаза заплывали, а руки вспухали так, что мы могли лишь еле-еле пошевелить пальцами.

Дед же, хитро улыбаясь, сидел в сторонке и пятернёй вычёсывал из своей кудлатой бороды запутавшихся в ней пчёл.

Пчёлы ползали у него за ушами, по лбу и под глазами, по рукам залезали в рукава, но ни одна из них его не жалила. Мы же вспухшие, но сытые и довольные потихоньку выбирались домой.

Позднее, уже будучи школьниками, мы часто убегали в горы, в лес и там иногда видели висящий на дереве откуда-то улетевший рой пчёл, –



тогда мы бежали к деду на пасеку, звали его. Он шёл за нами с берестяным лукошком, влезал на дерево, если это было возможно, голой рукой сгребал рой в лукошко и нёс на пасеку. Там он поселял его в отдельный улей, где пчёлы быстро и начинали свой неутомимый облёт окрестностей в поисках живительного нектара.

Как-то я спросил у деда: «Дедуль, а почему тебя не жалят пчёлы?» Он улыбнулся, сощурил свои, цвета всё того же мёда, глаза и сказал: «Тварь Божья знает своего хозяина и вреда ему не принесёт».

Тогда я ничего не понял. И только позднее, когда деда уже не стало, я осознал, насколько его душа была слита с душой природы, насколько он был в ней. Их нельзя было разорвать, нельзя было отделить друг от друга.

Дед, у которого было отобрано всё, находил единственное утешение в общении с пчёлами.

Позднее, в году 44-ом, дед хотел перевезти свои ульи, они стояли в хозяйском огороде, но как-то задержался, и однажды рано утром мы, ещё не успев вылезть из-под тёплого тулупа, под которым спали, услышали какое-то всхлипывание у порога. В углу на скамейке, похожий на нахохлившую птицу, сидел дед, плечи его вздрагивали, по бороде катились слёзы.

Оказалось: ночью кто-то из односельчан перевернул все ульи на уже подмёрзшую землю, пчёлы сразу погибли, а соты с мёдом любители сладкого унесли с собой.

Никто, конечно, не вызвался помочь деду искать грабителей, и с этого дня он затосковал, притих и как-то сразу состарился и сгорбился.

Он целыми днями молчал, ссутулившись сидел на скамейке и внимательно рассматривал свои пожелтевшие ладони, подносил их к лицу, нюхал... Глаза его влажнели, он брал Евангелие и тупо глядел в него.

В такие минуты мы все уходили или на кухню, или, если было тепло, на улицу.

Но всё это было потом.

А пока, в преддверии следующей войны, мы по-прежнему бесились во дворе, бегали на колхозную пасеку к деду лакомиться мёдом.

Отец в зимний период работал при МТС, которая находилась в большом селе Б. Гондырь, население села было наполовину – русское, наполовину – татарское, и это обстоятельство заметно откладывалась на быте всего населения – один двор растил свиней и ел их, другой же – не терпел свинины и к сабантую выращивал статных жеребят. На зиму мы перебирались в это село, где жила сестра моей матери, у которой мы и поселились.



Иногда отец оставался работать комбайнёром в этом же селе, тогда мы жили там и летом.

Помню лето 1941 года.

Мне было шесть лет. Мы, увязавшись за подростками, играли около железной дороги в полукилометре от села и домой вернулись к вечеру.

В доме было тихо. Тётка плакала, мать уговаривала тётку, просила её не плакать, на что та зло бросала: «Тебе что? Твоего не возьмут, а мой загремит!»

Дядя работал шофёром при МТС, тётя была уверена, что его сразу же мобилизуют. Она оказалась права. В ту же ночь через наше село потянулась вереница тракторов и грузовиков. Шли они к ближайшей станции.

Дядя в ту же ночь, едва успев забежать домой, обнять кричавшую тётку, захватил смену белья и кое-что из еды, вместе со своим грузовиком в общей веренице машин пропал из дома.

Мы всю ночь просидели на скамейке у ворот и смотрели на вереницу тархтящих тракторов и машин.

К утру село наполовину опустело. Все, кто работал «на колёсах», в эту ночь ушли из дома.

Тех, кто остался, утром вызвали в сельсовет, затем в райцентр – в военкомат.

Уехал и мой отец.

Но к вечеру он вернулся, молча лёг на кровать, накрылся подушкой и так пролежал до утра.

Его снова забраковали, сказав, что с его сердцем надо сидеть дома и не думать ни о какой работе. Мать плакала, мы испуганно жались к ней.

Несколько мужиков тоже были забракованы и вернулись в тот же вечер домой. Жёны тех, кто не вернулся, прихватив взрослых детей, утром другого дня двинулись в район, откуда с воем и причитаниями вернулись к вечеру.

Они ехали на телегах. Русские женщины сидели рядом с татарками и оплакивали общее горе. Русское «Боже» мешалось с татарским «Алла».

На другое утро отец встал и ушёл на работу. Нас надо было кормить и «сидеть дома» он не мог.

Для нас, мальчишек, жизнь постепенно вернулась в свою колею. Мы по-прежнему пропадали на железной дороге или на речке.

Только иногда наш двоюродный брат, на три года старше меня, сын пропавшего дяди, как-то останавливался и странно глядел себе под ноги, потом вдруг, сорвавшись с места с плачем и криком «папка!», бежал домой, где падал на кровать и долго плакал.



Всякое веселье пропадало, игра теряла интерес, и мы, молча, плелись домой.

Отец целыми днями пропадал на работе, возвращался поздно, наспех ел и валялся на постель.

Мать и тётка тоже работали на колхозных полях. Мы, полузаброшенные, слегка одичали, обросли, опаршивели, но нас это мало волновало.

На втором этаже нашего дома жил директор МТС, дородный, тяжёлый мужчина. Видимо, он был тяжёл не только по виду, но и по характеру.

Мы часто по вечерам слышали крики наверху, что-то падало, кто-то плакал. Постепенно мы уяснили, что кричал «дядя директор», а плакала его не менее дородная жена и дочка лет шестнадцати.

Что они там делили, в чём не сходились – нам было неведомо.

Семья директора не общалась с нашей, – наверное, по принципу «каждый горшок, знай свой шесток». А разгадка была проста. Когда в 44-м году директор вдруг умер, поползли слухи, что он оказался трусом и перед каждой призывной комиссией настаивал водку на самосаде и пил это зелье с тем, чтобы, как говорили, «посадить своё сердце». Вот и посадил!

«Тётя директора» вместе с дочкой сразу же уехали куда-то, а наверху поселился новый, присланный из района.

Они, как ни странно, с нашими семьями тоже не общались. Так уж, наверное, их натаскивали в районном центре, – чтобы они держались подальше от «гегемона», что они и делали.

Но это касалось лишь взрослых. Мы же, дети, прекрасно ладили с директорским сыном, моим погодком, он запросто забегал к нам, но к себе никогда не приглашал, да мы и не напрашивались, интуитивно чувствуя, что нас там не ждут.

В сущности, в то время мы жили более или менее сносно. Отец и мать работали, и мы не голодали, в отличие от некоторых семей, у которых ушли на фронт все мужчины. Ели свинину пополам с кониной, забыв, что конина – не пища для русского, а татарские семьи ели свинину, забыв, что это – не их еда.

В 43-м я пошёл в первый класс, и в первый же день сбежал из школы после первого урока: я не мог усидеть столько времени на одном месте, я вертелся, искал знакомых среди пацанов, сидящих рядом, сзади, спереди, за что получил замечание, что и вызвало моё бегство из класса...

...За что вечером отец меня отодрал...

На следующий день, под угрозой возможной повторной порки, я выси-дел все уроки и постепенно врос в школьный быт настолько, что не мыслил себя вне школы, вне своего класса.



Но самым лучшим временем были каникулы. Зимой – катание на лыжах с гор. Летом – речка и железная дорога.

Некоторые наши шалости иногда бывали просто опасны, так как мы, в основном, играли с оружием, которого у нас к концу войны появилось великое множество.

Появление его в наших детских руках объяснялось довольно просто.

В те времена патроны, автоматы, пулемёты грузились прямо на открытые платформы и лишь прикрывались брезентом.

Платформы цеплялись, иногда их было более чем по сто, к двум паровозам, которые тянули эту длинную взрывоопасную металлическую змею по извилистому железнодорожному полотну так, что с паровоза не было видно последней платформы, где одиноко маячил часовой.

Мы находили место, где середина состава не была видна ни с паровиков, ни солдату, забирались на платформу (состав шёл очень медленно, иногда даже останавливался), сдирали (не без помощи ножа) край брезента и сбрасывали на землю всё, что нам приглянулось, затем спрыгивали сами. Поезд уходил, мы собирали наши «трофеи» и волокли их в заброшенный сарай недалеко от будки путевого обходчика-инвалида, сын коего принимал активное участие в наших набегах на поезд.

Мы клали на рельсы в ряд несколько сот капсул для винтовочных патронов, укрывались глубоко в лес и оглашали его автоматными очередями, и с интересом следили за треском под колёсами проходящего состава, сопровождая иногда пистолетной стрельбой.

В селе бабы испуганно крестились, прислушиваясь к стрельбе, относя её к «охоте на дезертиров», которых, как говорили, развелось в лесу великое множество, хотя мы, пропадая в лесу, ни разу не встретили этих таинственных «несчастных», как их называли всё те же женщины.

Если же нам не хотелось тащить тяжёлый автомат, мы насыпали себе за рубаху винтовочных патронов столько, сколько могли унести, шли в лес, ссыпали все патроны в общую кучу, сверху накидывали хворост, поджигали его и разбегались за деревья. Костёр разгорался, и начиналась великая стрельба. Мы, стоя за деревьями, слушали хлопки лопающихся патронов и свист пуль и воображали себя на фронте.

Наши «военные» игры кончились ранней весной 44-го года, когда мы, совсем обнаглев, устроили пистолетную стрельбу в железные двери заброшенного гаража при МТС.

Страшный гул больших железных ворот привлёк внимание рабочих мастерских, в том числе и моего отца (он к тому времени мог выполнять



только мелкие слесарные работы), нас обнаружили, разоружили, тут же основательно выпороли. Мы выдали наш «арсенал», его погрузили на грузовик и отвезли в районное отделение милиции.

Родителей наших вызвали в школу, после чего нас опять выпороли так сильно, что у меня до сих пор, при виде любого оружия, начинает покалывать зад.

Наверное, именно эта порка послужила началом моей ненависти ко всякому оружию и ко всему, что в какой-то мере с ним связано.

В сорок пятом году война, наконец, закончилась.

Начали возвращаться оставшиеся в живых наши односельчане.

Многие, гордо подняв головы, позвякивая медалями, катили целые повозки «трофейного» барахла.

И только некоторые проходили по селу, как бы стесняясь своих куцых мешочков, скромно болтавшихся у них за плечами.

Об этих говорили: «Непутёвый! Ничего не привёз».

Отсутствие награбленного барахла как бы омрачало радость встречи с таким «не хватким» отцом семейства. Казалось, мерилом мужества солдата стали не его многочисленные ордена и медали, а количество чемоданов и узлов, которые удалось отнять у врага.

Жёны героев в домашних халатах, в ночных рубашках, надетые на старинные русские сарафаны, щеголяли по селу. Наши одноклассники, сыновья добытчиков, нацепили на руки немецкие штампованные часы и на нас, бестрофейных, смотрели с нескрываемым презрением.

...Я пошёл в 3-й класс местной семилетки.

К этому времени наша семья уже состояла из пяти человек. В 42-м году у меня родился ещё один брат.

И вот теперь мы все (вместе с дедом и бабушкой) ютились в небольшой комнате, половину которой занимала большая русская печь, – у очередных хозяев, сдавших деду «угол».

Я очень трудно привыкал к новой школе и новым одноклассникам, но постепенно всё это образовалось, и я по-прежнему весело носился по школьным коридорам, получал двойки, дергал за косы новых одноклассниц, стрелял из рогатки, играл в снежки, катался на лыжах.

А на нашем пороге уже обустроивалась настоящая бедность.

Отец не работал, дед жил на подаяния односельчан за крестины, венчанья, похороны.



Бабушка и моя мать надрывались в колхозе и получали гроши, вернее не гроши, а то, что полагалось на «трудодень» – а что полагалось на него в конце войны и первые послевоенные годы, многим известно.

Мы глотали слёзы и уходили домой, где, случалось, бывали биты только за то, что просили есть.

Жить становилось всё трудней и трудней. Именно эти, послевоенные годы стали суцим адом для многих предуральских сельских семей, лишённых настоящих работников – мужчин.

В 46-м году отец ещё мог ходить в лес и обдирать кору с молодых липок (это называлось «драть лыко») с тем, чтобы потом, дома, из этой коры плести лапти, которыми он снабжал всю деревню, принося хоть какую-то пользу семье.

Иногда мы с ним уходили на целый день, оставляя дома моих двух братьев – одному в то время было десять лет, другому – четыре.

Однажды, вернувшись, мы не нашли их во дворе, где они обычно играли. Но минут через 10 младший прибежал откуда-то с улицы и, как ни в чём не бывало, принялся возиться в придорожной пыли у ворот.

Отец, войдя в дом, случайно взглянул в угол, где постоянно стояла «берданка» деда. Она стояла как-то не так, поэтому отец позвал младшего в дом и спросил: «Вовка, кто брал ружьё?». На это мальчик радостно завопил: «Ой, папка, папка, Сенька меня чуть не убил!». И принялся путано и длинно, сообразно мышлению четырёхлетки, объяснять что произошло.

Оказывается, средний, давно уже с вожделением смотревший на стоявшее в углу ружьё, решил его испробовать.

Он поставил младшего на скамейку под образа и сказал: «Вовка, стань в угол, я тебя буду убивать!»

Маленький, не знавший, что значит «убивать», с радостью стал под иконы.

Из противоположного окна солнце било ему прямо в глаза, поэтому он правой рукой прикрыл их.

Средний, едва подняв тяжёлое ружьё, прицелился и нажал на курок. Осечка. Ещё осечка. И только на третий раз ружьё гроыхнуло. Больно ударило в плечо, опрокинуло на пол.

Ослеплённый и оглушённый младший лежал на широкой скамье.

Средний, придя в себя, бросился к братику и стал тормошить его. Вскоре тот пришёл в себя и громко заревел. Только чудо спасло его. Средний стрелял почти в упор, тяжёлое ружьё в руках десятилетнего мальчишки не позволяло точно прицелиться, поэтому заряд ушёл слегка вправо, под поднятую руку младшего, ни единой дробинкой не задев его.



У них было достаточно времени, чтобы поставить ружьё в угол и убежать из дома.

Скрываясь где-то в соседних дворах, они дождались нашего возвращения, и тогда средний отослал домой малого, предварительно наказав, ничего не говорить, а сам побежал на огород, на другой конец деревни, где был дедов участок, на котором так и не был построен дом.

К вечеру все собрались дома. Мать и бабушка пошли на огород, где и нашли моего брата, утолявшего голод огурцами и молодой морковкой.

Он плакал и не хотел идти, боясь наказания отца. С трудом его уговорили и привели домой.

Отец уже взялся было за ремень, но дед остановил его сказав: «Не надо. Мы сами виноваты».

Этот случай мы, мальчишки, запомнили на всю жизнь и во всех подробностях вспоминали спустя почти сорок лет.

А жизнь катилась своим чередом...

Я пошел в пятый класс...

У нас не было ни ручек, ни карандашей, ни школьных тетрадей. Писали чем угодно и на чём угодно. На свою беду я тогда начал заниматься сочинением стихов. Боже, о чём я только не писал!

Я писал о маме, о здоровом отце, о деде, добром и ласковом, но больше всего я писал о войне (ребятишкам хотелось под танки), о партизанах, о Сталине, которого я тогда уже приревновал к Христу.

А Христос для меня в то время был всем. Ведь ему я истово молился, прося у него всего того, чего не было в нашем доме.

К тому же дед именно в тот год принялся обучать меня старославянскому с тем, чтобы я свободно мог читать «Евангелие» и «Святцы». Процесс обучения для меня был наказанием. Я с трудом постигал «ижицы», сидя за столом, в то время, как все мои сверстники весело катались на лыжах с гор, которые были видны из нашего окна.

Естественно, ни о каком протесте не могло быть и речи.

Дед больно шлепал меня по спине; если же я начинал плакать, он совал мне в руку тряпку и велел лезть на чердак стирать пыль со стоявших там икон.

Полумрак чердака, тёмные лики святых нагоняли на меня такой страх, что я, лишь полузакрыв глаза, раздвигал тяжёлые «чёрные доски».

Через 30 лет, приехав в свою деревню, я, бродя по дворам своих многочисленных тёток, в «красном» углу их домов с удивлением узнавал как раз те иконы, которых я так боялся, стирая с них пыль.



В слезах, с размазанной по мокрому лицу пылью, я спускался с чердака и безропотно снова садился за Евангелие.

К началу 47-го года я уже довольно бегло читал старославянскую рукописную вязь. Все книги деда были рукописными, – в тяжёлых кожаных переплётках с замками и хранились в большом кованом сундуке, на котором обычно спала бабушка.

Сундук этот, кстати, куда-то пропал со всем своим содержимым, и позднее я его так и не смог отыскать.

«Кириллицы» своего стихоплётства я даже при малом свободном времени не бросил. Вся проблема упиралась в бумагу. Но тут случай меня избавил от этой проблемы.

Тогдашний наш директор школы, большой любитель выпить, каким-то чутьём, может быть по моим глазам, горевшим при виде любого чистого листика бумаги, уловил эту мою всегдашнюю потребность и решил её использовать в своих интересах.

Дело в том, что у деда всегда «гудел» небольшой бочонок с «медовухой». Гудение это было постоянным, так как дед периодически, по мере опорожнения бочонка, добавлял в него мёд. Процедура эта была довольно интересна: дед наливал в ведро горячей воды, опускал в него целую раму («соту») с мёдом и выжимал руками весь мёд в эту воду. Из оставшегося воска дед долго и старательно выкатывал на столе огромные восковые свечи, горевшие потом перед иконостасом и наполнявшие дом замечательным запахом расплавленного воска.

Наш директор школы знал об этом бочонке – может быть, от моего отца, с которым они когда-то вместе пили и играли в карты. Поэтому Николай Петрович – так звали директора – и решил приобщиться к нему, используя мою потребность в бумаге.

Как-то он, вызвал меня в учительскую, когда там никого не было, попросил втайне от деда нацедить ему чайник дедовской «медовухи» и принести его в школу, пообещав мне за это «тетради».

Улучив момент, когда в доме никого не было, я наполнил двухлитровый чайник из дедовского бочонка и опрометью, задворками, бросился к школе.

Оставив чайник за сараем в снегу, я зашёл в учительскую и с заговорщицким видом позвал Николая Петровича на улицу. Он сразу всё понял и, ни слова не говоря, последовал за мной за сарай, где я с торжественным видом вручил ему пресловутый чайник, который Николаем Петровичем тут же был опустошен. После чего мы вернулись в учительскую, где мне было вручено целых 25 школьных тетрадей и великое множество карандашей.



Так же – задворками, пряча под полу чайник и мою писчебумажную добычу, я вернулся домой.

Теперь у меня была бумага, и я мог крапать свои вирши.

Операция «чайник» повторялась несколько раз – до тех пор, пока я однажды не был застигнут дедом на месте преступления – я цедил «бражку» из бочонка – и не был основательно «выдран» дедом, после чего я уже не смел заниматься товарообменом «бражка-тетради».

Но к тому времени у меня было уже столько бумаги, что её хватило бы на ближайшие два года даже при самой максимальной моей плодовитости по части рифмоплётства. К тому же потребность к бумаге вскоре отпала: жизнь творила своё злое дело и стало не до стихов.

Отец с каждым днём слабел, не мог даже ходить и, как говорили в деревне, жил «на уколах». Деревенская фельдшерица приходила к нам каждый день.

15 февраля 1947 года, рано утром, отец отказался от укола и попросил у деда причастия.

Дед, казалось, не удивился, он просто выдворил всех нас из комнаты и остался с сыном один на один.

Я не знаю, о чём исповедовался отец деду. Я не знаю, какие грехи он переложил со своих плеч на плечи своего отца. Думаю, что нет ничего страшнее причащать собственного сына, которому едва исполнилось 33 года, и который, несмотря на то, что вырос в глубоко верующей семье, абсолютно не верил в Бога, всегда беспощадно насмеялся над ним.

Наверное, страх перед той неведомой потусторонней вечностью, куда отцу надлежало перейти, заставил его вспомнить Господа, которому молились все его предки и которого он, поддавшись пропаганде 30-х годов, начисто выкинул из своего сознания. И лишь на пороге смерти понял он, что никакие «коминтерновские святыни» не смогли заменить того Бога, который постоянно жил где-то в укромном уголке его болью измученной души.

Когда нам разрешили войти в комнату, отец лежал на своей постели – на большой русской печи, а дед стоял на коленях перед иконами и что-то шептал. По его лицу катились слёзы. Мы испуганно сбились в угол и не смели произнести ни слова.

Уже к вечеру мать, постоянно бывшая рядом с отцом, позвала нас, мальчиков, «проститься с отцом». Мы испуганно влезли на печь и подползли к нему, уже смертельно бледному. Говорить он не мог... Мы сидели рядом и смотрели на него, на его тяжело вздымавшуюся грудь, его сухие глаза, уже не видевшие нас...



Вдруг в его груди будто что-то оторвалось, он хрипло выдохнул и затих. Мать зарыдала. Мы тоже хором заревели и, гонимые каким-то мистическим страхом, скатились с печи и бросились на кухню где, уткнувшись в подол сарафана, громко плакала бабушка.

Так у нас не стало отца.

Ночью, когда мы, укрытые одним большим дедовским тулупом, спали, дед с бабушкой обрядили отца и положили его на скамейку под образа.

Утром, проснувшись, мы увидели отца уже укрытым саваном.

Плакала мама, плакала бабушка. Во дворе, под навесом, дед сколачивал гроб.

К вечеру отца уложили в гроб на золотистые стружки. Дед с бабушкой встали перед иконами и начали творить молитвы за упокоевание. Уже засыпая, мы слышали какой-то удивительный мягкий баритон деда, в него вкраплялись причитания и всхлипы бабушки.

Отец и мать оплакивали единственного сына.

А мы, их внуки, прижимались к собственной матери, которая не могла, да и не умела молиться, а только всхлипывала и всё старалась укрыть нас потеплее, так как в комнате было довольно холодно, на дворе было где-то под 40° мороза.

На следующий день из ближайших деревень съехались родственники. Мужчины ушли на гору, «на яр», – рыть могилу.

Жестокие холода, бывшие в ту зиму, глубоко проморозили землю, и могилу приходилось вырубать топорами почти на всю её глубину.

В доме пахло сторовшим вереском, его жгли, чтобы заглушить запах тления.

Я плохо помню вынос гроба, дорогу на кладбище, куда мы ехали в санях, держась за гроб.

Моего младшего брата, из-за мороза, оставили дома. Я сидел в санях со вторым братом, младшим меня на два года.

Послевоенная всегда голодная кляча едва втянула сани на гору. За санями, утопая в снегу, шла толпа родственников и односельчан.

На кладбище, у развёрстой пасти могилы, куда уже был спущен гроб и куда нам с братом было велено бросить по горстке земли, я впервые в жизни услышал слово «сирота». Значение его я понял позднее. Тогда же мне было холодно и хотелось домой, на тёплую печь.

Могилу быстро забросали мёрзлыми комьями земли пополам со снегом, и мы, на тех же санях, поехали домой.

Дома я, забравшись на печь, быстро заснул и не слышал последующего поминального застолья, где слёзы уже мешаются с хмельными заунывными уральскими песнями.



После смерти отца в доме стало невыносимо тоскливо.

Дед молчал или истово молился, простаивая ночи напролёт перед святыми ликами.

Бабушка совсем сторбилась, ночами ложилась спать на печь, где к ней, как она говорила, приходит её Яша, – так дома звали моего отца.

Зима тянулась бесконечно долго. Стояли страшные морозы. Дров, заготовленных на зиму, не хватило, и мы с мамой ходили за дровами, взбираясь на гору, переходя поле, в ближайший лес, где, увязая в глубоком снегу, искали высохшие мелкие ели, рубили их и складывали на санки.

Особенно запомнился один из таких походов.

Было так холодно, что руки у меня совсем ооченели, и я не мог даже согнуть пальцы.

Тогда плачущая мать, присев на поваленную ель, сунула мои руки куда-то глубоко себе между ног. Минут через пять мои руки согрелись, и я снова мог что-то ими делать.

Это «отогревание» повторялось тогда несколько раз, пока мы погрузили санки и потянули их домой...

...Наконец, зима кончилась. Весной дед с бабушкой решили переехать в отдалённую деревню, где жила одна из их дочерей.

Дед раздал по деревне все свои иконы, а книги увёз с собой. Больше я их никогда не видел.

Они уехали. Правда, прожили они там недолго.

Бабушка вскоре умерла, а дед переехал в город Курган, где жила ещё одна из его дочерей.

Умер он в начале пятидесятых...

Мама, вместе с нами, тремя мальчишками, переехала в деревню, откуда была родом. Деревня, расположенная в живописнейшем месте, однако хотя и была больше той, из которой мы уехали, но ещё беднее.

Мать стала работать в местном колхозе, выделившем нам заброшенный дом.

Дом был ветхий, его слегка подремонтировали, но всё равно со стороны казалось, что он вот-вот развалится.

Все «прелести» этого отдельного дома мы почувствовали только наступившей зимой 47-48 года, когда по ночам в ведре замерзала вода, а мы, лёжа на чуть тёплой печи, сваливали на себя всё имеющееся у нас тряпье, но это мало помогало, и иногда приходилось вставать ночью, чтоб растопить «буржуйку» и греться около неё.

Но это было зимой, а пока надо было думать о хлебе насущном, которого не было. Просто – не было, и – всё!



Чем мы питались в то лето? Тогда мы ели то, что сейчас, наверное, не стал бы есть и скот.

Мы бродили по только что освободившимся от снега колхозным полям в поисках мёрзлой, оставшейся с осенней уборки, картошки – из неё мама творила лепёшки, и мы их с жадностью поглощали...

...Затем пошли – всякая трава, корешки, крапива...

Наверное, сейчас уже мало кто, даже из живших ранее в деревне, помнит, как выглядит лебеда (не знаю её научное название). Вкус её семян я запомнил на всю жизнь: мы собирали их, мать лепила из них лепёшки, скрепляя мучной пылью, которую, из жалости к нам, местный мельник разрешал сметать со стен мельницы, где она накоплялась ещё с тех времён, когда на здесь мололось какое-то зерно.

Удивляюсь, как мы все в то лето выжили. С наступлением осени стало несколько легче: огород дал некоторое количество овощей, а главное, картошку – основной продукт питания на период наступавшей зимы.

С началом сентября встала проблема школы.

В этой деревне была только начальная, четырехклассная, школа. Семилетка находилась в селе, где мы жили во время войны.

Ходить нужно было за семь километров. Если учесть суровую уральскую зиму, с её морозами и метелями, отсутствие каких бы то ни было валенок, пальто, тёплой одежды, можно понять, что хождение в школу выливалось в большую проблему.

Современные «экстеты» (выражение, впервые услышанное мной от Е. А. Вагина на 19-й зоне лагеря для политических непионеров, – «Да вы, батенька, «экстет!») выискивают по деревням исчезнувшие из обихода лапти и вешают их на стену в своих уютных городских квартирах в качестве «продукта народного прикладного искусства».

Я же два года – осенью и зимой (летом мы бегали босиком) в этих «произведениях искусства» ходил в школу...

Особенно плохо было осенью: непролазная грязь сельской просёлочной дороги, темень (ни зги не видно), пронизывающий холодный ветер... Всё это превращало дорогу в школу в сущий ад.

Чтобы хоть как-то осветить дорогу и отпугнуть волков, которых в то время бродило по лесам великое множество (война прогнала их из западных районов страны в уральские леса), мы воровали снопы льна из куч, сложенных колхозниками вблизи дороги, и поджигали их...



Колхозные мужики устраивали облавы на нас, отбирали факелы, случалось, что и поколачивали, но это мало помогало, ибо страх темноты и волков минимизировал эффективность полученных тумачков.

Приходили мы в школу замёрзшие, уставшие, и, едва отогревшись, принимались петь псалмы «отцу родному», подарившему нам «счастливое детство».

Но несмотря ни на что, мы как-то учились – и даже без двоек...

...Самым благодатным временем были весна и лето.

Едва прогревшаяся земля давала возможность сбросить ненавистные лапти и телогрейку и ходить босиком.

Весной мы, уйдя рано утром из дому, возвращались поздно вечером, ибо после школы наши семь км превращались в добрые тридцать – мы часами «пропадали» в придорожном лесу, купались в едва освободившихся ото льда речках.

Зимой и весной 48-го года мы так же голодали, как в предыдущие.

Помню, как мы все трое заболели дизентерией. Пластом лежали в жару, уже не могли ходить, пили только воду. Как мы не умерли, я сейчас не могу представить.

Спасли нас добрые русские деревенские бабы. Они резали своих последних кур и приносили нам куриный бульон. От такой шоковой терапии несчастные детские организмы совершили невозможное, и мы выжили.

Если сейчас посмотреть на моих двух братьев – не получается даже подумать о том, что летом 48-го года это были детские почти трупы, которые по каким-то неведомым законам природы смогли выжить и превратиться в здоровенных мужиков.

В начале зимы 49-го года мне исполнилось 14 лет.

В нашей сельской школе не было комсомольской организации; что по всем существующим тогда законам, выглядело нелепо, хотя в шестых-седьмых классах учились не только 14-летние, но и переростки – под 20 лет.

Школьная администрация под давлением районного начальства была вынуждена создать школьную комсомольскую организацию.

В районном центре, находящемся за 20 км от нашей школы, в клубе, мы (лучшие ученики) с великой pompой были приняты в комсомол.

Нам вручили комсомольские билеты и нацепили на грудь комсомольские значки.

Я стал первым школьным комсомольским секретарём.

Пробыл я им, правда, недолго, ибо мать, задавленная нуждой и голодом, для спасения своих троих сыновей, решила переехать в город Кемерово, где давно уже жил её отец – наш второй дед.



И вот, в марте 49-го года, мать раздала по соседям скудный кухонный скарб, связала в узлы имеющиеся у нас тряпки и повезла нас на ближайшую железнодорожную станцию, где мы загрузились в маленькие старые пассажирские вагоны, где в каждом купе средние полки поднимались и сцеплялись так, что образовывали как бы единые нары.

Люди, сидящие на нижних полках, не могли встать в полный рост, а на этом втором, импровизированном потолке вповалку лежали узлы и люди, а сверху, с третьей, верхней полки на них свешивались ноги тех, кто, изнывая от жары и духоты, ютились под самым потолком вагона.

Никаких проводников, никаких уборок вагона, по-моему, не было.

На каждой станции (поезд стоял часами) каждый вагон щетинился чайниками – бегали за станционным кипятком.

По вагонам ходили инвалиды, пели что-то вроде «купите папиросы», пьяно плакали, получали за своё пение гроши, так как в вагоне ехали такие же нищие и инвалиды, – если не телом, так душой.

Ехали мы дней десять-двенадцать. Продукты и деньги кончились. Есть было нечего. Но тут (о, добрая русская душа!) опять же спасали соседи – соседи по вагону. Они делились с нами чем могли, и мы, наконец, доехали до Кемерово, где на вокзале нас встретили плачущие дед и бабушка, которых мы, дети, ещё никогда не видели.

Они привезли нас в низкий барак, где у них была небольшая комната. В ней нам и предстояло жить.

Комната была настолько мала, что, когда мы все ложились спать, ногой ступить было некуда.

...Мне же нужно было заканчивать седьмой класс...

Я пошёл в местную школу, и встречен был дружным смехом ещё не знакомых мне одноклассников. Я долго не мог понять причину смеха. Она оказалась простой: я родился на Урале, в деревне, где все «окали». Вот это оканье и вызывало смех городских мальчишек и девчонок. Но к этому скоро привыкли и уже не смеялись на моё «хорошо» с крайне выраженным первым «о».

Мои пятёрки деревенской школы здесь, в школе городской, почему-то превратились в тройки – уровень знаний деревенских учителей, по-видимому, был ниже уровня их городских коллег.

Тем не менее, я сдал выпускные экзамены за 7-й класс, после чего стал вопрос: «Что делать дальше?»

К тому времени мать устроилась на завод, выпускающий динамитные шашки для взрывных шахтных работ (Кемерово – это центр угольного Кузбасса) и сразу порыжела.



Волосы работающих на набивке картонных цилиндров взрывной массой от воздействия высокой температуры и химических компонентов, из которых составлялась взрывчатка, становились рыжими.

В ту пору рыжий цвет ещё не был моден и вызывался ужасающими технологическими условиями.

Каждый день «скорая» увозила с завода двух-трех женщин (мужчины вообще не выдерживали этих условий, поэтому зднсь работали только женщины), сердца которых не выдерживали температуры и химических испарений.

Зарабатывала мама мало. Дорого было всё, что было. А было тоже – мало: за хлебом, например, мы вставали в очередь с вечера и, менясь, простаивали часов до 11–15 следующего дня, когда в великой давке (бывали случаи, когда из очереди выдёргивали потерявших сознание людей) получали свои два кирпича хлеба, которые и были основным нашим питанием.

Мать списалась со своим братом, живущим в Уральске. Её брат, мой дядя, в конце 30-х годов оканчивал Свердловский (Екатеринбургский) Университет, на каникулы приезжал к нам в деревню. Потом – воевал, был ранен, в звании капитана артиллерии долго работал преподавателем военного училища в Севастополе, был переведён в Уральск, женился, демобилизовался, стал директором одной из городских школ.

Вот он-то и согласился взять меня к себе, чтобы хоть как-то помочь своей сестре, моей матери.

Лето 49-го я ещё пробегал со своими братьями, а в конце августа меня снарядили в дорогу.

В вокзальной кассе мать просила билет с наименьшим числом пересадок.

Кассирша, порывшись в железнодорожных справочниках, выдала билет и сказала, что пересадка будет одна – в Сызрани.

Если посмотреть на карту нашей необъятной Родины, то сразу можно увидеть, что проехать с одной пересадкой из г. Кемерово в г. Уральск через Сызрань невозможно.

Мать была страшно довольна, что пересадка будет только одна, поплакала, усадила меня в вагон, и я отправился к дяде.

Последнее, что помню: уходящий перрон, плачущая мать, рядом с ней два мальчика машут прощально руками...

...С того дня я, по существу, живу один. «Один» в смысле без матери и братьев. И вот сейчас, когда я изредка в отпуск, приезжаю к ним – они до сих пор живут вместе – я себя чувствую чужим. Я пытаюсь их



«воспитывать» по праву старшего, как 30 лет тому назад, совершенно забыв о том, что они выросли, что они меня уже забыли – я тот пресловутый «отломанный ломоть» – и сами могут что-то мне «преподать». Возрастная грань давно стёрлась. Я им не старший брат, а просто давно уехавший и давно забытый брат, деливший когда-то с ними кусок хлеба и глоток воды во время голода и болезни.

Но именно эти детские воспоминания связывают нас глубинно связями взаимной любви и чисто мужской дружбы...

...Поезда 40-х годов – удивительное явление. Битком набитые вагоны гудят. Жарко, душно. Хочется пить. Воды нет, а если есть, только тёплая, мутная, пахнущая хлоркой и болотом.

До Урала поезд тащится около 5 суток.

Наконец – Урал. Сначала только холмы, а потом и горы, покрытые лесом. Здесь уже не так жарко. Дорога лепится к горе, где-то внизу – речка, иногда сквозь стволы елей и сосен сверкнёт зеркальная гладь озера. На полустанках измождённые бабы продают всё ту же картошку, ещё горячую, и свежие огурцы, иногда – помидоры. Голод заставляет меня тратить те немногие рубли, которые собрала мне мать. Я их трачу, почти не задумываясь о тех нескольких сутках, которые предстоит проехать мне ещё по нерадивости кассирши, ибо я уверен, что у меня впереди только одна пересадка, и я скоро буду на месте.

Урал позади. Волгу пересекли ночью, я спал.

Поезд пришёл в Сызрань.

Заспанная проводница подняла меня и сказала, что мне надо выходить, здесь моя пересадка.

Я вышел на перрон. Рассвет едва брезжил. Я пошёл в кассу и спросил, как мне доехать до Уральска.

Кассирша, поглядев на меня мутными глазами (тоже спала) закомпо-стировала мне билет на поезд Казань-Астрахань, который должен был пройти через Сызрань где-то в 10-11 часов.

Я вышел на привокзальную площадь. Она была пуста. У меня в запасе было часов пять.

Я пошёл бродить по улицам. Город спал. Меня поразило обилие вишни за палисадниками приземистых старинных деревянных домов.

Какой-то улочкой я вышел к Волге. Она лениво катилась в тогда ещё своих исконных берегах, и не казалось такой широкой, как сейчас, когда всю её перегородили различными «энергетическими гигантами».

Я вынул из своего рюкзака хлеб, остывшую картошку, сел на землю и поел.



Подзаправившись, лёг на землю и незамедлительно уснул.

Проснулся я от мощного гудка, по реке шла баржа и почему-то истоиво редела.

Часов у меня, разумеется, не было. Я испуганно вскочил, забросил за плечи свой мешочек и во всю прыть побежал по улице в поисках вокзала.

Мне казалось, что я проспал поезд.

Запыхавшись, я прибежал на вокзал и увидел, что ещё только восемь часов и поезд будет через два часа.

Я опять вышел на площадь, опять пошёл бродить по улицам, стараясь не уходить далеко от вокзала.

Улицы уже ожили, дома проснулись, во дворах суетилась повседневная жизнь. Какая-то женщина, видимо, приняла меня за нищего, подозвала, глядя через забор, меня к своим воротам, сказала: « подожди» и вскоре вынесла огромный газетный кулёк, наполненный крупной, почти фиолетовой, вишней и подала мне.

Я поблагодарил её и пошёл в сторону вокзала, выплёвывая вишнёвые косточки.

Вишню я ел впервые в жизни.

С тех пор, когда я вижу её, я вспоминаю ту сердобольную сызранскую женщину...

...Наконец, подошёл поезд, я сел, и состав двинулся вдоль берега Волги в сторону Астрахани...

Изнывая от жары, я тупо смотрел в окно на бесконечно однообразный выгоревший ландшафт.

Поезд подошёл к Саратову. Я уже хотел было выйти на вокзал что-либо прикупить, но тут прибежала проводница и крикнула: «Чего же ты не выходишь? У тебя же тут пересадка!»

– Как?

– Как? Так! Поезд идёт в Астрахань, а тебе надо в Уральск. Значит тут и пересадка!

Ничего не понимая, я бросился к своему месту, схватил мешочек и оказался на перроне.

Мне и раньше казалось, что в моём маршруте что-то не увязывается. Я, примерно, знал, где находится Уральск и мне казалось странным переезд с одного берега Волги на другой, затем обратно. Но я никогда ещё так далеко не ездил и вполне мог предполагать, что наши поезда могут ходить по самым несуразным маршрутам.

К тому же мне было всего 14 лет.



Я пошёл в справочное, где сказали, что мне надо закомпостировать билет на поезд Москва – Оренбург, который будет завтра утром.

Выходило, что впереди у меня была ночь. Разумеется, в городе у меня никаких знакомых не было, значит, мне придётся ночевать на вокзале.

До вечера я бродил по городу, лез куда-то на холмы, спускался по Волге. Вконец измотанный, уже съев дюжину порций мороженого, я вернулся на вокзал, где устроился на скамейке и продремал ночь.

Утром я двинулся к кассе.

Там была длиннющая очередь. Выяснилось, что на мой поезд мест уже нет, и надо ждать следующего – ещё сутки.

Я только тут понял, что надо было занимать очередь ещё с вечера. Так что – впереди у меня было 26 часов...

Я тут же занял очередь (записался в список на нужный мне поезд) и пошёл снова бродить по городу, изредка возвращаясь на вокзал с тем, чтобы посмотреть, что меня ещё не выкинули из списка.

Я исходил город вдоль и поперёк.

Помню Университет с памятником Чернышевскому перед фасадом здания.

К вечеру я устал, был голоден. Деньги почти кончились. На последнюю пятёрку я съел пшённую кашу в какой-то столовой и вернулся на вокзал.

В кармане у меня остался рубль.

Ночь я провёл на ступеньках лестницы, ведущей в кассовый зал.

Утром я, наконец, закомпостировал билет и покатил в сторону Уральска.

Проезжая уже казахские степи; я видел какие-то странные сооружения, напоминающие вигвамы индейцев.

Я спросил у рядом сидящей тётки, что это такое. Она ответила кратко «кизьяк». Позднее я узнал, что это основное топливо в Казахстане. Это навоз, сформированный в маленькие кирпичики, которые для просушки складывались в странные сооружения, похожие на индейские вигвамы.

Новинкой для меня были и дыни. Я их никогда раньше не видел. И вот на какой-то станции я увидел эти большие жёлтые шары.

Денежные пассажиры покупали их и ели в вагоне, который быстро наполнился ароматом дынь. Я только вдыхал этот аромат и с жадностью смотрел на тех, кто мог себе это позволить.

На одной из станций я впервые увидел верблюда.

Я никогда не бывал в зоопарке, поэтому с интересом смотрел на двугорбое существо, вяло жующее свою вечную жвачку.

Часов через 7–8 поезд подошёл к Уральску. Прогромыхав через небольшую речку, он остановился.



Я вышел.

Солнце палило нещадно. Было где-то за 40°. Тут же на перроне на последний свой рубль я купил мороженое и вышел на привокзальную площадь.

Города рядом не было. Он виднелся где-то вдалеке. Оказалось, что вокзал был в стороне от города, куда ходил автобус, один из них осаждался сейчас прибывшими пассажирами.

Ещё слизывая мороженое с губ, я понял, что напрасно истратил последний рубль. Теперь мне предстояло пешком идти до города и там искать улицу, где жил дядя.

«Долго ли коротко» как говорят сказки, я топал по булыжной мостовой, пока не вошёл в город.

Пройдя его почти из конца в конец, я, наконец, нашёл улицу и дом, где жил дядя.

Время было где-то за полдень.

Одноэтажный приземистый каменный дом был изрядно ободран, углы его почему-то были отбиты, двор дышал пыльным зноем.

Я вошёл и сразу попал в кухню, где на стуле сидела старуха.

Она поднялась. Я ждал, когда она распрямится, но она стояла передо мной в полусогнутом состоянии – она давно уже распрямиться не могла из-за болезни и потому ходила, низко наклонившись вперёд.

Она неприветливо взглянула на меня и спросила: «Чего тебе?»

Я назвал фамилию дяди и спросил, здесь ли он живёт. Она сказала: «Да, здесь». И надолго замолчала.

Я не знал, куда себя деть, топтался у порога, наконец, она пододвинула мне стул и сказала: «Садись, он скоро придёт». Я попросил воды, напился и стал ждать.

Где-то через час пришёл дядя. Я едва узнал его, так как не видел его более десяти лет.

Старуха, так неприветливо встретившая меня, оказалась его тёщей.

Мне дали умыться, накормили. Пришла жена дяди с маленькой дочкой.

К вечеру, оговорив кое-какие детали моего последующего житья, мне отвели топчан за маленькой кухонной печкой, и я уснул.

Был конец августа. Скоро надо было определяться в смысле моего дальнейшего образования.

Дядя сразу же предложил мне поступить в педагогическое училище.

В то время в городе были лишь пединститут и педучилище, и ещё – ветеринарная школа. Я же хотел закончить десять классов.



Дядя, предлагая мне педучилище, соблазнял меня ещё и музыкальной школой, где я мог бы учиться параллельно с училищем.

Я, несмотря на свой провинциализм и детскую беспомощность, наотрез отказался идти в педучилище, чем просто-напросто вывел из себя дядю. Он долго дулся, но, наконец, сжалился, сказав: «Только учиться ты будешь в моей школе».

10-я средняя школа, директором коей был дядя, находилась в другом конце города.

Это было достаточно далеко. Надо было ездить автобусом.

С 1-го сентября я пошёл в 8-й класс этой школы и был поражён тем, что в классе были одни мальчишки.

Я впервые узнал, что существуют мужские и женские школы.

С первых же дней пребывания в школе я понял, что учиться мне будет очень трудно.

Дядя, оставаясь директором школы, преподавал у нас математику. Я до последней буквы вызубривал заданный материал и всё равно получал лишь «четверку». Одноклассники удивлялись такой «несправедливости», на что мой дядя отвечал: «Есть кое-какие математические неточности...»

А дома он мне пояснил, что никогда мне не поставит пять, так как это может вызвать неблагоприятные пересуды.

И всё-таки, наконец, мне повезло. В нашем классе было всего девять учеников. И Районный отдел народного образования решил, что не имеет смысла иметь в школе такой малочисленный класс.

И его упразднили...

Ученикам было предложено перейти в другие школы.

За квартал от нашего дома находилась 6-я средняя школа, тоже мужская. В неё-то после первой четверти я и пошёл.

В нашем доме, за стеной, жила семья заведующего Районным отделом народного образования.

У них был сын, мой однолесток.

Я пошёл в класс, где он учился.

Мы быстро сошлись. В новой школе я уже не чувствовал скованности, вызванной родственными связями с директором школы.

Я был такой же, как и все ученики.

В классе было около сорока человек. Поначалу они тоже смеялись над моим оканьем, но со временем я перенял их язык, и насмешки прекратились.



Постепенно я вошёл в ритм городской школы, отличной от маленького городка, каким в те годы был Уральск.

Я постепенно перестал бояться уроков математики, теперь я мог получить тройку и не казнить себя, не бояться, что дома дядя задаст мне головоломку за «математические неточности».

Если в школе всё входило в нормальный ритм, то дома всё было иначе. Меня сразу невзлюбила тёща дяди.

Помню её первое ярко выраженное недовольство, вызванное моей несообразительностью.

Она послала меня на рынок за арбузом, не объяснив, как его надо выбирать.

Я купил огромный арбуз килограммов на 12, еле приволок его домой и выложил на стол.

Бабулька стукнула пальцем по арбузу и уставилась на меня.

– Что ты купил?

– Как что? Арбуз.

– Какой же это арбуз?

Она взяла ножик и ткнула им в арбуз. Раздался пушечный выстрел, арбуз раскололся на две половины.

Он был совершенно пуст! Кроме пятисантиметровой шкуры в нём не было ничего.

Этот феномен растительного царства съел рубль двадцать (в 49 году в Уральске арбузы стоили 10 копеек за килограмм) из домашнего бюджета и, кроме этого, навлек на меня гнев бабушки, которая и так считала меня нахлебником, хотя ел я не её хлеб.

Под всякими предложениями она старалась накормить меня до или после прихода на обед дяди и тётки (тётя работала медсестрой в районной поликлинике). При этом я обычно получал что-то оставшееся от вчерашнего дня или попросту кусок хлеба с чаем. Постепенно такая «метода» питания вошла в норму, и я постепенно ходил полуголодный.

Летом я утолял голод тем, что ходил на собственные «плантации», и там наедался до отвала и отвращения помидорами, полив и сбор которых входили в мою обязанность.

До сих пор я не могу равнодушно смотреть на свежие помидоры, они вызывают воспоминания о сотнях вёдер воды, перенесённых мной под палящим солнцем для полива 200-300 кустов.

Как-то, уже в 60-х годах, я прямо после командировки в Ульяновск уходил в отпуск и решил парходом добраться до Сарапула с тем, чтобы



там сесть на поезд и поехать в свою родную деревню, где не был лет двадцать.

В пароходном буфете не было ничего, и питался я всё теми же помидорами, которые на многочисленных причалах продавали розовощёкие деревенские женщины.

Помидоры были огромные – на рубль 10 штук – быстро набивали оскомину и вызывали во мне горькие ассоциации.

Тётя всецело занятая своей маленькой дочкой, со мной почти не разговаривала, полностью предоставив моё воспитание дяде, который оказался удивительнейшим педантом.

Он расписал мой день «от подъёма до отбоя» почти по минутам и старательно следил за выполнением этого расписания.

Не дай Бог, если я опаздывал к ужину или к моменту, когда должен был идти спать!

После такого «нарушения» он мог не разговаривать со мной неделю. Он не кричал, не ругался, а просто молчал, как бы забыв о моём существовании, я же заглядывал ему в глаза и старался угадать малейшее желание и тут же выполнял его.

Он не разрешал мне посещать Дом Пионеров, где изредка устраивали самодеятельные вечера школьников из всех городских школ, где мы, затворники сталинских школ – мужских монастырей – могли общаться с девочками.

Он с большой неохотой пускал меня и на школьные вечера.

Вечера эти устраивали довольно часто. Администрации школ, нарушая всяческие установки начальства, по-видимому, чувствовали, что ученики 9-10 классов должны всё-таки общаться друг с другом, и с этой целью проводили школьные вечера с нормальной самодеятельной программой.

Конечно, при этом главным для всех были танцы под патефон.

Иногда, как галантные кавалеры, мы осмеливались проводить предмет своих воздыханий до дома. Мы шли по улице и молчали. Говорить было не о чём, у нас не находилось общих тем. Нас не объединяла ни общая школа, ни общие друзья, ни учителя.

Только уже перед окончанием десятого класса мы начали праздновать дни рождения (не мои) и собираться друг у друга и приглашать на торжества тех девочек, которые в нашем мальчишеском кругу уже числились за тем или иным из нас.

Спустя почти тридцать лет, читая «Архипелаг» Солженицына, я вспомнил один из таких дней рождения.



В моём классе учился Феликс Куцнарёв. И вот оказалось, что он был сыном того самого Куцнарёва, который не мог (по описанию Солженицына) освободить арестованного только потому, что тот был «ленинградцем».

Мне же Куцнарёв вспоминается невзрачным приземистым майором НКВД, всегда молчаливым, никогда не вступающим в разговоры с мальчишками, часто посещавшими его сына.

Я ведь тогда не мог и предположить, что этот майор – зонавых дел мастер.

Едва ли и его собственный сын знал об этом. Мы росли в то время, когда слово «молчание-золото», наверное, имело буквальный смысл. Наши родители, наши воспитатели боялись не только довериться друг другу, но и заглянуть в собственные души, чтобы не узреть в них какую-либо крамолу.

В сознании наших родителей страх поселился не просто надолго, но, похоже, – навечно.

Дядя был настолько запуган, что спустя 25 лет, когда моя мама написала ему, что я осуждён по 70-й статье (агитация и пропаганда), умолял сестру не только не вздумать послать передачу, но даже не писать мне, забыть о том, что я вообще существую.

К чести моей матери она, конечно же, не последовала этому «доброму совету».

Теперь я уже не сужу дядю за его педантизм, строгость и недельные молчания. Наверное, он знал многое из того, о чём мне довелось узнать спустя 15-20 лет, и это знание заставляло его молчать даже в домашнем кругу.

Но в те годы, в начале пятидесятых, я ненавидел его за эти запреты, за его гипертрофированную осторожность...



Зоя Коровина

Зоя и Фёдор Коровины у Вычислительного центра ЛГУ

* * *

...На песчаном белом берегу
Островка в Восточном океане
Я, не отирая влажных глаз,
С маленьким играю крабом...

*Исикава Такубоку
Пер. Веры Марковой*

Это – про Фёдора Коровина.

Он был очень печальным и одиноким человеком.

Детство...

У нас у всех было детство. Доброе, злое, сытое, голодное, светлое и не очень...

Но среда Фёдора, в которой он родился и рос, была особо специфической, густо оваянной многовековым духом предков-раскольников, строгих, простых в быту, независимых. Среда, выбравшая их изоляцию в Сибири ради сохранения своей веры.

Она оказалась очень сильной и сформировала мировоззрение Фёдора совершенно полностью.

В нём замечательно сочетались Бог и Гармония.

Поэтому мир, в который он попал по воле судьбы – лицемерный, с игрой в религиозность – оказался для него чужим.



Мне кажется, он мог бы быть счастливым, живя и работая, например, на маяке, в архиве или в монастыре.

За пятьдесят лет, прожитых с ним, я так и не разгадала загадку той среды, которая совершенно непринуждённо одарила его такими качествами, какие мы обычно развивали в себе с трудом и – дорогой ценой.

Неужели та школа военных и, ничем не лучших – послевоенных, лет, в нескольких километрах от хутора, без тетрадей, без ручек, с одним учебником на несколько учеников, обычно с одной учительницей для нескольких разных по уровню классов, – неужели такая школа могла его научить абсолютной грамотности (я из принципа старалась, в словари заглядывала, правила перечитывала, но так и не поймала его на ошибочке)?

Откуда в нём такая любовь к стихам?

Ни одну книгу стихов, купленную для нашей библиотеки, он не ставил на полку, не прочитав полностью. До конца она лежала на столе с закладкой.

Откуда в нём такой вкус к музыке? Какую музыку он слышал в своей тайге? Пение птиц и журчание воды?

И вот стоят у нас до сих пор сотни пластинок с классической музыкой в исполнении лучших музыкантов.

И главное – откуда в нём эта страсть – книги? Он не коллекционер, он – читатель.

Наверное, он с этим просто родился. Мне кажется, что и сам Фёдор считал всё это обычным приложением к душе всякого человека. Поэтому, при всём при этом, – он был очень скромным. Именно про таких и пел Высоцкий: «неприметный, как льняное полотно».

И ещё, я уверена, что Фёдор был чистокровным образцом русского человека. Именно русского, на редкость – без всяких примесей. Я всегда и во всём отмечала в нём эту высокую пробу русскости. Это трудно объяснить, но это легко чувствовать.

«Ну что вам эти евреи? Какое ваше до них дело?» – повторяли ему в КГБ. «Жидаы» – говорили они. И мне следовательно, с которым я общалась больше полугода, задавал тот же вопрос: «Что это у вас друзья – одни евреи?» Имея в виду и мою подругу из Ленинграда, с которой я когда-то училась в Университете.

А чтобы наскрести по сусекам побольше обвинений Фёдору, придать делу масштабность, они даже её привезли, допросили, так как с Фёдором я её знакомила в Ленинграде, провели беседу с моей квартирной хозяйкой, у которой я жила тогда же – «сто лет назад».



А евреи и для Фёдора были ни при чём. Просто – они хотели уехать. Им чинили препятствия, увольняли с плохой характеристикой, отправляли в ссылки, арестовывали, организовывали общественные осуждения.

А Фёдор, со своим обострённым чувством справедливости и свободы, с генами религиозности и с чисто русской сострадательностью, оказался, на свою беду, ещё и большим любителем читать и слишком не в то время и не в той среде воспитанным.

Вот и выпали ему «крестовая шестёрка и пиковый туз».

К сожалению, горько отметить, но из всей этой большой компании свидетелей – друзей, коллег, «хороших людей» – только несколько человек проявили себя, как «хорошие люди». Остальные, начитанные и наслышанные, вмиг забыли в каком положении они и в каком – Фёдор.

Как переменчив человек, как труслив и слаб он бывает в отличие от слов, которые он научился говорить, говорить и говорить.

И вот что думаю я по поводу всего произошедшего и того «важного дела», за которое потом ребятам из КГБ кинули ещё по звёздочке на погоны.

По стране расплодилось диссидентство. Недовольство – тем, недовольство – этим. Критика режима, цензуры. Фильмы – с подтекстами, стихи – с намёками, барды – по подвалам, поэты – по стадионам... Назревала критическая ситуация.

И КГБ понял, что – хватит! Быстро и действенно взял в свои руки испытанный метод «ловли на живца».

Он сам возглавил издание запрещённой огласке литературы.

Вдруг начал выходить и распространяться небольшой машинописный сборничек «Хроника текущих событий», в котором в режиме «реального времени» подробно описывался какой-нибудь совершенно реальный процесс обыска или задержания, с фамилиями, адресами, временем, с разговорами и другими подробностями.

Были номера, которые заканчивались словами: «обыск в данный момент продолжается...»

Самое главное: в них не было никакой лжи, никаких преувеличений и эмоций, только факты.

Выходили они почти сразу и регулярно, номер за номером.

Диссиденты были в шоке!

Эта «Хроника» шла долго, но дошла-таки и до Латвии.

Фёдор, конечно же, не мог не реагировать на такой беспредел. Он читал, перепечатывал, давал «друзьям» читать и т. д.

И капкан сработал!



В один день и в один час ребята из Большого Дома всех подозреваемых изолировали и «поговорили» с пристрастием. И меня, – на машине, втроём на заднем сиденье, со мной посереёдке, – туда же.

Они, как застоявшиеся кони на этих скучных делах с «лесными братьями», наконец обрели интеллектуальную работу, благо «работу» коллег-москвичей, тёпленькую, они уже знали.

КГБ интересовала, по большому счёту, только «Хроника». Её хранение и распространение.

А всё прочее – Солженицын, Сахаров, Галичи, Высоцкие, Синявские и др. шли как дополнение. Но если бы не было «Хроники» не было бы и ареста.

Да, Фёдор был наивен. Следователям с ним было легко. Ведь он говорил с ними серьёзно, считая, что у них работа такая, а вот он сейчас им скажет, и они поймут истину.

Если смотреть на этот процесс сегодняшними глазами, если читать тот приговор, трудно поверить, что это было по-настоящему – полгода мусолить одну лишь тему: что читал, о чём читал, кому давал читать. Читал, читал, читал... Увы – читал... Увы – много... Они сами записали: «Дома нет даже телевизора, – одни книги...»

Сам лагерь, мне кажется, я бы перенесла легче, чем Фёдор.

Во-первых, женщине, вообще, Бог дал больше возможностей для выживания.

Во-вторых, я бы смогла меньше мучить свою совесть из-за вины перед теми, кому пришлось из-за меня терпеть неприятности.

В-третьих, я бы легко стала как все. Приспособилась бы.

А Фёдор не мог. Ему было очень тяжело видеть, как рушится его иллюзорный мир, его вера в человека, а может – и в Бога.

Это была для него самая настоящая трагедия – разочарование.

* * *

Мне кажется, что в последние годы его жизни, в нём постоянно звучали неизвестные ему тогда стихи неизвестного ему поэта Александра Матвеева.

Среди лесов и бездорожья
Деревянный древний скит
Сотни лет по воле Божьей
В глухомани той стоит.



Иссушили ветры крышу,
По камням разросся мох.
Я слова молитвы слышу:
«Укрепи нас в силе, Бог!»

Кому-то покажется, что пишу я о Фёдоре, как о благостном нереальном человеке – ведь многие с ним общались.

Общались, но не знали...

Я же – за пятьдесят лет нашего с ним со-Бытия – его хорошо поняла...

И уверена – он был таким человеком, каким хотел бы видеть Бог каждого...

Из издания «ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ»

Выпуск № 4, 31 декабря 1974 г.

(самиздат)

С 25 сентября по 10 октября в Риге проходил суд (...) над кандидатом физико-математических наук, и.о. заведующего лабораторией математических методов БалтНИИ рыбного хозяйства Львом Александровичем ЛАДЫЖЕНСКИМ и ст. инженером ВЦ Латвийского университета Федором Яковлевичем КОРОВИНЫМ, обвиняемыми в антисоветской агитации и пропаганде.

В обвинительном заключении подсудимым инкриминировались хранение, размножение (перепечатка) и распространение следующих документов: повесть «Говорит Москва» (по утверждению обвинительного заключения эта повесть – «о расправе с руководителями КПСС и правительства») и рассказ «Человек из Минапа» Н. АРЖАКА (Ю. ДАНИЭЛЯ), повесть «Любимов» (по обвинительному заключению она «содержит клевету на В. И. ЛЕНИНА») и статья «Что такое социалистический реализм?» А. ТЕРЦА (А. СИНЯВСКОГО), книга «Технология власти» и статья «Партократия» АВТОРХАНОВА, «Открытое письмо» и «Письмо Пен-клубу» БЕЛИНКОВА, монография «Великий террор» КОНКВИСТА, статья «Российский путь перехода к социализму» акад. ВАРГИ, статья «Просуществует ли Советский Союз до 1984 г.?» АМАЛЬРИКА, статья «Сравнение жизненного уровня трудящихся царской России, СССР и передовых капиталистических стран» А. БОЛОНКИНА, статья «Логика танков», «Письмо из Праги», письмо «Депутатам Верховного Совета



УССР» В. МОРОЗА, заявление «Вот как мы живем!» СОЛЖЕНИЦЫНА, письмо самого ЛАДЫЖЕНСКОГО Генеральному Прокурору СССР о нарушениях законности в судебных процессах (1967 г.), ряд выпусков «Хроники текущих событий» (согласно обвинительному заключению, «Хроника» содержит клевету даже на «теорию марксизма-ленинизма») и ряд выпусков «Вестника РСХД». Инкриминируемые эпизоды относятся к 1966–73 гг.

В обвинительном заключении было отмечено, что обвинение высоко оценивает активное содействие ЛАДЫЖЕНСКОГО и КОРОВИНА предварительному следствию, что они давали очень подробные и обстоятельные показания и что им не может быть поставлено в вину то, что они не помнят некоторых дат и лиц.

Оба обвиняемых признали себя виновными: они признали антисоветскими свои взгляды и – объективно – свою деятельность, хотя отрицали умысел на подрыв советской власти.

Признав вину подсудимых доказанной, суд отметил, что направленность умысла вытекает из содержания инкриминируемой литературы и из действий подсудимых по ее приобретению, размножению и хранению. Наличие умысла подтверждается тем, что действия подсудимых носили длительный характер и после профилактических бесед в 1968 г. стали еще более активными. Суд приговорил Ладыженского к трем годам лагеря строгого режима и трем годам ссылки, Коровина – к двум годам лагеря и двум – ссылки...



Нина Гейдэ

Дания, Копенгаген

Поэт, прозаик, переводчик с датского, журналист. Председатель Европейского творческого союза «Огниво». Лауреат литературного конкурса «Русский стиль – 2009» (Вена), победитель конкурса русской поэзии «Под небом Балтики – 2015» (Таллинн). Стихи и проза публиковались в журналах «Звезда» (С.-Петербург), «Берег» (Дания), «LiteraruS» (Финляндия), «Роза ветров» (Израиль).

Новогодняя ёлка

Ель моя, Ель — уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
женщины той осторожная тень
в хвое твоей затерялась!
Ель моя, Ель, словно Спас-на-Крови,
твой силуэт отдалённый,
будто бы след удивлённой любви,
вспыхнувшей, неуголённой.

Булат Окуджава

Мне восемьдесят семь. Жизнь осталась позади, как остаётся за перевалом новогодней ночи яркая и бессмысленная праздничная суэта, вся эта прекрасная фантазия обновления, с гирляндами огней, свечами и речами, поздравлениями, подарками, яствами и шампанским.

Я так всегда любила шампанское – оно кружило мне голову, оживляло кровь праздничным фейерверком. Сколько лет уже я не пила этот лёгкий, искристый напиток – эликсир бегства от реальности и сотворения радужных иллюзий? Сколько лет...

Мне давно уже трудно ориентироваться в прожитых годах, в этих условных числах, окружающих человека с момента его появления на свет – год, месяц, дата рождения, которая потом подцепит дату смерти, чтобы круг окончательно замкнулся. Я давно поняла, что наше движение по жизни – это переход из одних больших и малых замкнутых кругов в другие. Свобода – самая безумная и самая прекрасная иллюзия бытия.



Вот и сейчас я живу в маленьких тюремных клеточках безликих дней, не выходя за пределы своей квартиры. Единственное пространство, где я могу беспрепятственно перемещаться – это мои воспоминания. Там я свободный путешественник, искатель зарытых в толще лет, но не исчезнувших кладов, и я благодарю Бога за то, что Он, наказав меня телесной немощью, не отнял ясности сознания.

У меня ничего больше не осталось, кроме воспоминаний, которые, храня верность прошлым докомпьютерным векам, я переношу на бумагу в смиренном ожидании уже совсем близко подступившего небытия. Я знаю, что моя прожитая жизнь никому не будет интересна в той же превосходной степени прилагательности к опыту земного существования, как мне.

Но путь каждой человеческой души, явившейся в этот мир, уникален. Если мои воспоминания будут когда-нибудь прочитаны, возможно, они натолкнут кого-то на размышления, в ком-то вызовут отклик, а в ком-то недоумение и даже порицание. Что ж, у всех нас разные очки, бинокли, лупы, телескопы познания бытия. Любой текст, существующий на Земле, каждый прочитает по-своему. Возможно, не так, как задумывал писавший. Каждый пишет так, как дышит рядом с ним океан жизни, как кричат чайки запоздалых сожалений.

«Cognosce te ipsum!» – «Познай самого себя!». Так переводится на латынь греческое изречение, написанное на стене древнего Храма Аполлона в Дельфах. Не зная ещё античной истории, я с детства пыталась понять, кто я, и каково моё земное предназначение. Я и по сей день не разгадала тайны своего существования – этой мгновенной (или – о мой почтенный возраст! – чуть больше, чем мгновенной) вспышки сознания во Вселенной, столь не существенной с точки зрения Вечности и столь уникальной для меня.

Осознание себя в мире началось с главного дара бытия – тридцати трёх букв родного алфавита, из которых сами собой стали складываться слова и оседать вокруг золотой пылью. Мне казалось, я стою посреди солнечного луга, а вокруг летают разноцветные бабочки слов – я гоняюсь за ними, ловлю, рассматриваю, изучаю и снова отпускаю в полёт. Хорошо помню, как восемьдесят лет назад сделала первую запись в своей дневниковой тетради. И потом всю жизнь описывала и истолковывала происходящее со мной, ловя неводом слов события, встречи, чувства – сверяла окружающую реальность с моим внутренним миром, радовалась совпадениям и переживала разочарования. Склонность поверять романтикой реальность осталась со мной навсегда.

В театре моей жизни я была режиссёром, актёром и зрителем одновременно. И, надо сказать, этот «театр» стоял особняком от многих «спектак-



лей», сыгранных на сцене исторического времени, в котором я жила и в котором оказалась не по своей воле. Никто никогда не сможет постичь те таинственные правила игры в гольф нашего рождения, согласно которым невидимые управители человеческими судьбами загоняют нас, как мячи клюшками, в те или иные лунки исторических эпох. И так как этот выбор от нас самих не зависит, я всегда старалась избегать слепой укоренённости в условностях своего времени – на самом-то деле не более «своего», чем любые другие эпохи.

В моих записях мало упоминаний об исторических и политических событиях, хотя их резец неизбежно прошёл по скульптуре моей судьбы. Моя душа всегда стремилась жить вне времени, жить во всех временах. Я стала свидетельницей уникальных научных достижений и технических открытий прошлого века, изменивших облик мира, я помню день, когда человек впервые вознёсся в Космос, на моих глазах самолёты – эти чудесные «времяхранители» – стремительно размножились в небе, укротив и укоротив расстояния между континентами. Я многое видела на нашей планете – в этой большой детской Галактике со множеством игрушек, весёлых и страшных, но не было для меня ничего интереснее мира моей души.

Мне восемьдесят семь. Странно написать эту цифру семнадцатилетней девочке, которая – только закрой глаза – стоит во всём великолепии бессмертной юности на берегу Москвы-реки, куда она тёплой июньской ночью пришла с подругами после школьного выпускного бала. Тот день остался, как бабочка в янтаре, на старом выцветшем снимке в семейном фотоальбоме. Я помню, как будто это было вчера, как шла в новом платье, в туфлях на высоких каблуках, по любимым московским улочкам, знакомым с детства, и мои длинные каштановые волосы, в которых плясало рыжее пламя закатного солнца, развевались по ветру. Все школьные годы я заплетала их в косы, и вот перед выпускным балом впервые выпустила на волю. И себя как будто выпустила на волю. Во мне бушевало жизнецветение, выплёскивалось в мир, который ещё так мало был мне знаком, и так бесконечно далеко было до зимних снегопадов.

Опираясь на палку, шаркая по полу, я подхожу к зеркалу. Сколько раз уже я зарекалась этого не делать, но почему-то не могу прекратить это самоистязание. Надеюсь на чудо? На то, что однажды снова увижу в зеркале своё настоящее лицо – из той июньской ночи? Но попытка не прекращается. Я снова и снова цепенею от ужаса – маска, которую изготовило для меня беспощадное Время, безобразна: желтоватые рытвины морщин, птичьи сухие глаза почти уже без ресниц, щедро разбросанные по лицу и шее пиг-



ментные пятна, вместо густых волос – выцветшие белые космы, как перья, торчащие в разные стороны. Старушка – Божий одуванчик. Неужели это уже обо мне? Господи, выпусти меня пожалуйста из этой страшной клетки – на волю небытия, ибо иного мне не уготовано. Но пока не прилетел чёрным махаоном мой последний миг на Земле, пока ещё не угасла память – я буду погружаться в плотную толщу лет, воссоздавать давно прошедшие события, угасшие чувства, похищенные небытием родные лица.

Я появилась на свет в Москве за десятилетие до Второй Мировой войны в потомственной профессорской семье, и эта счастливая «жизнелоте-рея» предопределила моё многокрасочное, уютное, беззаботное детство. Мы жили на Кропоткинской улице, вернувшей себе впоследствии старое название: Пречистенка. Я была единственным поздним ребёнком в семье, меня опекали и баловали. Защитный кокон родительской любви оберегал от царапин и увечий грубой действительности. Позже я поняла, что благополучное детство подарило мне изначально радостное отношение к жизни и привило стойкий иммунитет против искусов и ударов чужеродного окружения, с которым в дальнейшем приходилось сталкиваться.

У меня была славная няня – молодая деревенская девушка, с которой я проводила много времени, пока мои родители воодушевлённо воздвигали здание советской науки. Моих бабушек и дедушек к тому времени уже не было в живых, и этот пробел моего бытия печалит меня и поныне. Я рано научилась читать и проводила долгие часы в гостиной на диване, перелистывая страницы толстых романов, горячо сопереживая литературным героям. Я не доставляла моим немолодым уже родителям особых хлопот, лишь иногда, возможно, приводила в замешательство странными фантазиями.

Всё началось с моего самого первого дежавю, которое стало для меня отправной точкой в захватывающем процессе самопознания. Каждый день мы завершали с няней прогулку покупкой продуктов к обеду. Надо сказать, что мир старых магазинчиков, лавочек, ларьков был неповторимым явлением довоенной Москвы. Монстров-супермаркетов с их безликой универсальностью тогда не существовало. Мало кто закупал продукты на неделю вперёд, ведь холодильников ещё и в помине не было. Мясо, молоко, сыр, овощи, зелень, хлеб, конфеты и пирожные мы покупали каждый день в маленьких уютных магазинчиках на Кропоткинской, и эти продукты таили в себе приятное послевкусие общения с улыбчивыми продавцами, которых мы знали не один год. Мне очень нравился ритуал обхода магазинов, и я всегда с нетерпением ждала от няни заветных слов: «Ну что, мадам, бери корзинку и в путь».

В тот день ранней весной мы вышли, как обычно, подъезда нашего дома, напоминавшего плывущий корабль. Лепной декор арочных окон и ко-



ринфские пилястры на фасаде повествовали о его дореволюционном прошлом. Пречистенка, не по своей воле надевшая на долгие годы маску Кропоткинской, тогда ещё радовала глаз не снесёнными старинными домами, каменными палатами, особняками, церквушками, уютными маленькими двориками. Я благодарю судьбу за то, что мне было суждено застать эту улицу-дорогу от Кремля к Ново-Девичьему монастырю почти такой же, как во времена живших здесь Лопухиных, Орловых, Долгоруковых, Голицыных, Потёмкиных.

Ещё долго Пречистенка-Кропоткинская была крепким швом, соединявшим прошлое и настоящее – Россию царско-боярскую и советскую. Но потом и этот шов стал ослабевать, расползаться, и сейчас от улицы моего детства осталось одно лишь дореволюционное название да несколько чудом уцелевших старых зданий. Но в то довоенное время, о котором я повествую, дух старины ещё витал над не обезличенной Пречистенкой. На месте были колоритные магазинчики и вывески над ними, по которым я училась читать. В очереди за продуктами ещё можно было встретить скромно одетых старушек с породистыми лицами, в надвинутых на глаза старомодных шляпках – бывших княгинь и графинь, которых чудом миновала стальная гребёнка классовых репрессий, и которые доживали свой век в огромных коммунальных квартирах – в комнатухах своей бывшей прислуги.

Итак, мы вышли из дома. Яркое полуденное солнце щедро осыпало всё вокруг серебристыми блёстками, пробивали себе дорогу первые ручьи. Людей на улице было мало. Нам навстречу ехал извозчик в ярко синей суконной поддёвке, серая в яблоках лошадь понуро шагала по самому краю проезжей части, жалась к тротуару, пугливо прядая ушами.

В те времена машины всё решительнее вытесняли с московских улиц извозчиков, а после открытия московского метро лошадиный вид транспорта окончательно пришёл в упадок, поэтому я с живым интересом стала рассматривать кучера, утомлённую лошадку, коляску и пассажира в ней. Это был уже немолодой человек в плаще и шляпе. Его лицо, показавшееся мне знакомым, поразило меня: умное, печальное и как будто отстранённо неземное. У меня перехватило дыхание, всё закружилось, поплыло перед глазами, с пронзительной отчётливостью я поняла, что всё это со мной уже когда-то происходило. Весенний день, солнечные блёстки в воздухе, я с корзинкой в руках, няня, держащая меня за руку, извозчик, понуря лошадка, человек в плаще с грустными, зоркими, всепонимающими глазами – всё это как будто случалось раньше, моё сознание словно выхватило кадр из уже виденного однажды фильма. Это озарение длилось, наверное,



лишь несколько секунд, я не произнесла ни слова, и няня не заметила моего странного состояния. Лишь обронила:

– Похоже, в наш дом едет, к художнику Шапошникову. Говорят, писатель, фамилия только вылетела из головы. Ну, как же, Господи? Булгаков, кажется.

Няня, как многие деревенские девушки, была любопытна и говорлива, она знала в нашем подъезде всех жильцов и многих друзей жильцов, и всё-таки меня удивляет до сих пор, как могла она знать в лицо писателя, чьи книги вряд ли когда-нибудь прочла.

Та моя краткая детская встреча с Булгаковым, навсегда оставшись в памяти, многое изменила в моём сознании. С того дня мне стало скучно в трёхмерном пространстве одновариантной реальности, хотя тогда, конечно, я не могла бы подобрать точные слова к моему необычному душевному состоянию. Я почувствовала, что за контурами зримого мира существует ещё множество миров. И ещё поняла, что всё вокруг чудесным образом связано – страны, эпохи, люди, события, слова, чувства. Можно быть одновременно в далёком прошлом и в ещё не случившемся будущем, можно ощутить духовное родство с незнакомым человеком и понять, что при ином пересечении времени и пространства твоя судьба могла бы переплестись с его судьбой.

Когда мне исполнилось девять лет, я впервые влюбилась. Это произошло в Анапе – в той волшебной Анапе моего детства, где ещё существовали первозданные пляжи с белоснежным песком, дельфины подплывали к самому берегу, а вода была такой гипнотической чистоты и прозрачности, что заходить в неё было священнодействием. Я, мама и няня приехали в Анапу к хозяйке, в доме у которой мы уже третье лето снимали две большие солнечные комнаты. Современному поколению из мира пятизвездочных отелей трудно представить, что ещё четверть века назад – не говоря уже о временах моего детства! – на юге отдыхали «дикарями». Качество и комфорт такого отдыха определяли финансы. Кто-то мог позволить себе снять домик у моря, кто-то только комнату, ну а кому-то по карману была лишь койка в дощатом сараюшке без всяких удобств. Но надо заметить, и койки в те времена на юге в пляжный сезон бойко разбирались – особенно молодёжью. Такой бюджетный отдых кучками и группками был очень популярен, и часто южное «коечное знакомство» заканчивалось потом осенне-зимними свадьбами.

Итак, мы сели в поезд и отправились в райскую Анапу к хозяйке, давно прирученной и окученной моей деловой мамой. А у хозяйки был пятнад-



цатилетний сын Славик. Что это был за сын! Стройный, как лоза, загорелый, с белоснежной улыбкой на смуглом лице, давно не стриженные густые волосы всё время падали ему на глаза, и он отводил их со лба ладонью небрежно высокомерным жестом с грациозностью наследного принца. Море и пляж Славика не интересовали. У него были школьные каникулы, и он часами просиживал во дворе в тенистой беседке, увитой виноградом, ел персики, в изобилии росшие на хозяйском дворе, и так естественно ничего не делал, что трудно было представить его за каким-нибудь иным, более содержательным занятием.

Я смотрела на Славика с восхищением, сердце то падало в бездну, то возносилось в небеса. Меня переполняли новые, доселе неизвестные чувства. В моём самосознании свершился переворот, моя бывшая система ценностей рухнула. Жизнь без Славика не имела смысла. Я потеряла аппетит, что очень встревожило маму и няню. Я отказалась ходить на пляж, потому что моим единственным желанием было созерцать Славика. Я брала лист бумаги и цветные карандаши, приходила в беседку, безмолвно садилась напротив моего мальчика с персиками и рисовала. Нет, не моего кумира – я не настолько верила в свой талант художника. Я рисовала персики, виноград, хозяйского пса, волны и кораблики. Я ни разу не заговорила со Славиком не потому, что была стеснительна, просто не могла перешагнуть через эту гору – обратиться к моему кумиру с какими-то речами, как к простому смертному. Но слова и не требовались. Всё дело было в чувствах, плескавшихся во мне, как море, когда предмет моего обожания был рядом.

В эти мгновения мне казалось, что во мне включаются цветные фонарики счастья, и вся я искрюсь и сверкаю, как новогодняя ёлка, которую каждый год в декабре наряжали в нашей большой гостиной. Весь дом тогда наполнялся волшебным ароматом свежей хвои, и я с замиранием сердца любовалась ёлочными игрушками, светящимися гирляндами, блёстками и мишурой на ёлке-избраннице, которой выпала честь стать символом самого главного праздника в году. Я, няня и мама сами мастерили ёлочные игрушки, проявляя недюжинную фантазию. А ещё в доме каким-то чудом сохранились дореволюционные ёлочные украшения – ангелочки, забавные зверушки, птички, сосульки, шишки, стеклянные шары, как будто обсыпанные сахаром. Мы все вместе наряжали нашу хвойную королеву, и я жила весь долгий, снежный, счастливый декабрь в предощущении чуда, гадая, какие подарки ждут меня под ёлкой.

Когда меня увезли из солнечной Анапы – из моей первой любви – обратно в пасмурную, осеннюю Москву, я долго не могла вернуться к привычной жизни – её размеры стали мне малы. Сильные любовные переживания



переполнили мою душу, как наводнение, «растянули» её, сделали бескрайней и, покинув меня, оставили после себя глубокий пустой котлован, заполнить который прежним содержанием, знакомыми будничными радостями уже не получалось. Только одержимость новой любовью смогла бы снова воспламенить меня, сделать жизнь яркой и полноценной. С того времени и навсегда главный экзистенциальный код моей личности был определён: я жила только когда любила. Когда любовь покидала меня – я чувствовала себя отверкнутой и обречённой на умирание январской ёлкой.

А потом привычная жизнь на полном ходу полетела под откос, как поезд, потерпевший крушение – началась война. Накануне октябрьской паники 1941-го года, когда немцы уже были на волосок от Москвы, моя семья спешно покинула столицу и перебралась в Ташкент, где мы и прожили военные годы, описывать которые я не буду. Скажу лишь, что уехала в эвакуацию ребёнком, а вернулась в неузнаваемо изменившуюся, искалеченную Москву пятнадцатилетним подростком, давно лишившимся защитной ауры детства.

Возвращение к мирной жизни было длительным и трудным. Жизнь была полностью перелицована и сшивалась по-новому. Это была уже другая страна, другая история, другая реальность. И хотя прекратились бомбёжки над головой и отменили продуктовые карточки – кровоточащая рана войны затягивалась не один год. Все стали заложниками очередной страшной «лотереи бытия», слепо и неравно разделившей людей на тех, кто дождался с войны мужей, жён, отцов, матерей, детей и тех, кто потерял своих родных, а с ними – и смысл существования. Фронтовики, вернувшись с войны, разделились на людей дееспособных и тех, кто стал мукой для самих себя и своих близких. После отзвучавших победных фанфар инвалиды войны стали костью в горле у общества.

Я помню, как много тогда было вокруг женщин с пустыми глазами – на улицах, в магазинах, в метро, в моих снах-кошмарах. Это были матери и жёны тех солдат, которые не вернулись с войны. На соседней улице выбросилась из окна мать троих погибших сыновей – не смогла вынести пытку этой потери. Это произвело на меня очень тяжёлое впечатление. Я была наделена способностью к острому сопереживанию, и сама была больна горем вдов и матерей, у которых война вырвала половину сердца. Тогда я поняла, что самое страшное на свете – это потерять своего ребёнка. Я так глубоко ощущала непереносимость этого страдания, что решила для себя, что никогда не стану матерью, не буду играть с жизнью в эти бесчеловечные «лотерейные игры».



После школы я поступила в Университет на престижный гуманитарный факультет и окончила его с красным дипломом, сдав выпускные экзамены на одни пятёрки.

Я уже упоминала, что не ставлю себе целью подробно описывать время, в котором я жила, цель моих воспоминаний – цепь судьбоносных событий, пережитых и отражённых моей душой. И всё-таки невозможно катapultироваться из своего исторического времени, оно неизбежно вовлекало меня в траекторию своего движения. А время тогда было уникальное – странное, страшное и захватывающе интересное. Всё в котле той эпохи спелось, сплелось и перемешалось: искренний патриотизм и ужас арестов, продолжавшихся вплоть до смерти Сталина в 1953 году; стремительный технический прогресс, обновление быта и последняя уютность старомосковской старины; развитие точных наук и неповторимая теплота человеческих отношений, культ дружбы и цветущий романтизм любви; новый жировой слой мещанства и страстная тяга к культуре, самообразованию, чтению. Метро, автобусы, троллейбусы, трамваи превратились в движущиеся избы-читальни. Молодежь валом валила на концерты классической музыки и поэтические вечера. Мои друзья, у которых было негуманитарное образование, полушутливо замечали: ну и что с того, что у тебя красный филологический диплом? Мы вот получили два образования, потому что прочитали все те же книги по литературе и философии, что и ты – только не в рамках учебной программы, а по собственной инициативе. Что ж, они были во многом правы.

После первого детского любовного переживания в довоенной Анапе мне снова хотелось испытать яркие любовные эмоции. Без любовного самогипноза жизнь теряла свою остроту и многокрасочность. Я не раз влюблялась в одноклассников в школе и в сокурсников в Университете. Я стала ловцом любви. Я запускала её, как птичку, в душу, она пела мне весело и грустно, и жизнь пела ей в такт, преисполняясь смыслом. Стоило же птичке замолкнуть, исчезнуть – и я теряла связь с миром, оказывалась «на пустыре» бытия. И снова чувствовала себя отсыявшей, отыскрившейся новогодней ёлкой, выброшенной на свалку. Я гасла, засыхала, кололась иглами дурного настроения, теряла ко всему интерес. И так до тех пор, пока во мне не вспыхивала новая влюблённость. Тогда во мне снова зажигались яркие фонарики счастья, и я ликовала в предощущении чуда обновления. А через некоторое время снова – темнота, свалка, пустота.

Я всегда удивлялась людям, которые могли довольствоваться «обычной жизнью» – размеренной, безликой ежедневностью, приобретением вещей,



обустройством быта в разных его бесцветных проявлениях. И таких людей вокруг меня было большинство. Мне же было тесно в границах материального мира. Я любила комфорт, но не признавала культ вещей – они были так же преходящи, как и то историческое время, в котором я жила. А мне хотелось жить вневременными духовными категориями. Меня манили два космоса – искусства и человеческих отношений. Мир же советской действительности был мне мал, как тесная одежда. Но и выражение «не от мира сего» было не про меня. Я легко вела двойную жизнь и не казалась белой вороной в «советской стае». Сообразно возрасту я исполняла все советские ритуалы: была октябрёнком, пионеркой, потом комсомолкой. Как и все, ходила на комсомольские собрания, участвовала в студенческих походах и выпускала стенгазеты. Я понимала, что историческое время надевает на людей свои условные маски. Так было всегда – и во времена Расина, и в эпоху Шекспира. Театр бытия меняет исторические декорации, костюмы для актёров и названия пьес, но на сцене жизни всегда разыгрываются спектакли об одном и том же: «быть или не быть», и если «быть» – то кем и какой ценой? Как и все, я участвовала в этих «спектаклях», погружаясь в волнуемое и волнуемое «житейское моря», где зло и добро сливались воедино, где бушевали человеческие страсти.

При этом я всегда чувствовала, что мной управляет какая-то неведомая сила, многим одаривая и многого лишая. Я была создана для сильных эмоций и ярких чувств, но, загораясь желанным, всегда рано или поздно попадала в ловушку его несбыточности и гасла. Прожив жизнь, я так и не смогла понять, почему любовь, возрождая меня, никогда не задерживалась рядом со мной надолго, не становилась прекрасной ежедневностью, родной будничностью. Любовь манила меня и быстро исчезала, обманывая, как это неизменно делает грустно правдивое 1-ое января, разоблачающее вчерашний праздник.

Вокруг меня складывались семьи, сужденные друг другу мужчины и женщины каким-то таинственным образом в нужное время оказывались рядом и оставались вместе навсегда. Я же всё время ходила по горячим углям несовпадений. Я нравилась тем мужчинам, которые были для меня пустым звуком, бледным цветом. И увлекалась теми, которые легко перешагивали через меня, как через еловую ветку на дороге, и уходили прочь столбовой дорогой несоединимой со мной судьбы. Впрочем, мои ранние влюблённости, несмотря на миговый накал страстей, не оставили шрамов на моём сердце. Те чувства были во многом выдуманы мной в погоне за яркими впечатлениями.

Но мне суждено было пережить иную любовь – настоящую, трагическую. В тот год я окончила Университет и приняла решение поступить



в аспирантуру. Руководителем нашей кафедры был удивительный человек, в совершенстве вылепленный природой и дореволюционным благородным воспитанием. То был потомственный интеллигент, сохранивший даже в советское время утончённые манеры аристократа. В молодости он был красив, но и в то время, о котором я вспоминаю, лицо его носило печать незаурядности. Он напоминал древнегреческого философа с крупной головой, высоким лбом, шапкой густых седых волос и горячим юношеским взглядом, бросавшим вызов профессорской остепенённости. Участник Первой мировой войны (на Вторую мировую не попал по возрасту), он испытал в жизни немало страшного, вынес непереносимое, но сохранил душу в первозданной чистоте. У него было редкое имя – Иннокентий, он был старше меня на 41 год, и на сорок одно столетие умнее и благороднее всех вокруг. Любовь ранила меня, как «сумасшедший с бритвою в руке» – по точной поэтической формуле Арсения Тарковского.

Узнав о моей любви и оправившись от первого изумления и смятения, Иннокентий ответил мне взаимностью. Мы не ощущали разницы в возрасте. Наши души постепенно сплетались корнями, как деревья – глубоко, нерасторжимо. Мы стали одним целым. Иннокентий не раз говорил мне, что моя душа старше и мудрее его души, что он чувствует себя рядом со мной, как в детстве, радостно и защищённо.

Наши отношения не остались тайной в Университете, но все так любили и уважали Иннокентия, что ни пылинки сплетни не упало на его репутацию, ни тени осуждения не пронеслось над нашими головами. Мы часами гуляли по старой Москве, Иннокентий рассказывал мне о дореволюционной жизни и очень просто и буднично о военных событиях. Тогда я узнала, что он был настоящим героем, его жизнь часто висела на волоске, но непредсказуемая «бытиелотерея» была милостива к нему – лишь один раз он был легко ранен. «Ты выжил на войне, чтобы вернуться и встретиться со мной» – говорила я, зарываясь лицом в его густые седые волосы, вдыхая запах его сигарет. Я любила Иннокентия до самоиставивания, самозабвения – абсолютного самообретения. Я была им. Я обнимала его колени, я целовала его руки с коричневым налётом от курения, я утыкалась носом в его свитер и замирала на вечность. Я засыпала и просыпалась с мыслями о нём, не проведя вместе с ним ни одной ночи.

Не верьте, никогда не верьте, что любовь – это своеволие страсти, иступление телесной тяги, пошлите к чёрту неудачника Фрейда, вознеситесь к Богу, испейте небесного нектара истинной любви, ощутите бессмертие души, дарованное любовью. Мы так и не познали с Иннокентием телесного



слияния – нашей любви не был дарован дом, быт, супружеское ложе, такова была изначальная данность нашей встречи. Но мы навсегда соединились душами на той высоте, которая неподвластна тлению, разрушению, разочарованию, смерти.

Благодаря охранной грамоте своей молодости я часто приходила к Иннокентию в гости на Пятницкую улицу, и его интеллигентная жена – преподаватель в музыкальной школе – называла меня «деточкой», кормила домашним яблочным вареньем, расспрашивала об учёбе и с воодушевлением, понятным нам обоим, рассказывала о детях и внуках, старший из которых был моим ровесником.

Она казалась мне очень пожилой женщиной, хотя была на три года моложе Иннокентия. Его же возраста я, действительно, не замечала. Возраст был лишь тем плащом, который легко отбрасывала моя душа, чтобы соприкоснуться с душой моего любимого. Но, конечно же, я с упоением рассматривала молодые фотографии Иннокентия, которые когда-то качественно и основательно делались в почтенных дореволюционных фотоателье. На их обороте был фирменный штамп фотографа с ижицами и ятями, с указанием адреса фотомастерской. Я рвала себе душу этими фотографиями – не потому, что Иннокентий на них был невыносимо молод и красив, а в настоящем уже не молод, а потому что я безумно ревновала к тому времени, когда меня не было рядом с ним. Нет, ревновала – неподходящее слово. Мне было больно от того, что большую часть жизни Иннокентий провел рядом с людьми, которые, как мне казалось, не ценили и не любили его так, как я, для которых счастье общения с ним не было столь безусловным, как для меня. Конечно, молодость Иннокентия манила и дразнила меня, я ощущала, какой груз лет и грустных воспоминаний лежит на нём. Но я, прежде всего, любила его душу, которую не изменило время, его аристократизм, его неповторимые жесты, его голос, его кашель, его походку. Я любила в нём всё. Я любила в нём себя.

Сейчас я недоумеваю, как могла я с такой лёгкостью приходиться к Иннокентию домой – вседозволенность любви сумасбродна и эгоистична. Впрочем, это ни в коей мере не было вызовом его семье. Просто мне хотелось быть рядом с Иннокентием как можно чаще, как можно дольше. Мы не могли каждый день часами гулять по Москве, а пригласить Иннокентия к себе домой казалось недопустимым. Впрочем, жена Иннокентия ни разу не посмотрела на меня косо, не произнесла в мой адрес ни одной колкой фразы. Лишь один раз, уловив момент, сказала как будто невзначай:



– Вы должны знать, что Иннокентий Александрович очень порядочный человек и не допустит лишнего.

– Я знаю. – ответила я.

Мы продолжили чаепитие, и улыбка стойко держалась на приветливом, благородном лице этой удивительной женщины. Почти три года с восхитительным самообладанием она делала вид, что ничего особенного не происходит. Лишь однажды, уже выйдя за порог и доставая из кошелька мелочь на проезд, я услышала, как кто-то плачет за дверью. Но, может быть, мне это только показалось?

Когда Иннокентий серьёзно заболел, я и его жена каждый день встречались в больнице, приносили ему одинаковые продукты – мы обе хорошо знали его вкусы. Несчастье сблизило нас, оно встало посередине нашего бытия, как каменная плита, которую мы обе тщетно пытались обойти. И не обошли.

На похороны на Немецкое кладбище я не поехала – не смогла, не захотела стоять рядом с многоматрешечной семьёй Иннокентия и глотать свои «подпольные», тайные слёзы. Я хотела запомнить его живым, родным, бессмертным.

Я долго ещё слышала его голос, вела с ним по ночам бесконечные беседы. Я не могла его отпустить, не могла понять, что значит – его больше нет на свете. Я так сильно любила Иннокентия в земном облики, так была счастлива, обнимая его, согреваясь его теплом, чувствуя его губы у себя на щеке, что жизнь без него мне долго не давалась. Я была ещё очень молода, но чувствовала себя угасшей и опустошённой. Как будто в моей жизни выключили свет, и время остановилось.

Мои родители всё понимали, но ни разу не заговорили со мной об Иннокентии – ни до его смерти, ни после, и я была благодарна им за это. Замкнувшись в себе, я всё-таки продолжала жить – как во сне окончила аспирантуру и осталась преподавать на той же кафедре, где когда-то работал Иннокентий. Я каждый день ходила в Университет, машинально отчитывала лекции, возвращалась домой, часами смотрела на фотографии Иннокентия и плакала. Это продолжалось несколько лет. Потом боль утихла, ушла в глубинные, тайные области сердца. Но фонарик радости в моей жизни, казалось, навсегда погас.

Когда мне исполнилось тридцать лет, родители настойчиво заговорили о том, что мне пора выходить замуж. Мама повторяла:

– Мы с папой не вечны, ведь ты останешься совсем одна.

Я была красива, общительна, отличалась лёгким характером и хорошим чувством юмора. Я неплохо зарабатывала и умела хорошо одеваться.



Недостатка в поклонниках у меня не было, и один раз я чуть было не связала себя узами Гименея с мужчиной, приятным во всех отношениях, но в последний момент сбежала из-под венца. Причина крылась в том, что этот человек так и не смог зажечь в моей душе «новогоднюю ёлку» любви. Чтобы войти с мужчиной в один поток повседневности, переплестись с ним жизнями, не теряя и не искажая себя при этом, чтобы засыпать и просыпаться рядом с ним, обнимать его, смирять его плохое настроение, не замечать дурных черт его характера – я должна была любить этого человека абсолютно. Постояв однажды в облаках на вершине горы, трудно смириться с жизнью на пригорке или совсем – в низине. Я научилась всем возможным компромиссам с жизнью, кроме одного – не смогла выйти замуж без «предновогоднего» счастья любви.

Но что поджигает нас любовью? Почему лишь один человек из тысячи, из миллиона – независимо от внешности, возраста и множества иных слагаемых – становится избранным, единственным? Почему невозможно зажечь «новогоднюю ёлку» любви по заказу? Почему я ни дня не смогла бы прожить с нелюбимым, как живут тысячи, миллионы других женщин?

Мои вопросы безответны и по сей день, множество уравнений заданы, но не решены. Умеющая любить страстно и долго, только на это в жизни и способная по-настоящему, находившая в любви главный смысл бытия – я так и не смогла создать семью с близким человеком. Почему так произошло – ещё один безответный риторический вопрос, и я никогда не получу на него ответа у судьбы, Бога, Мироздания. Занавес скоро упадёт – все бесполезные «учебники» будут сданы в «макулатуру» бытия, и неразгаданная тайна жизни перевоплотится в другую, такую же непостижимую тайну смерти.

И всё-таки любовь явилась ко мне ещё раз – «новогодняя ёлка» снова ненадолго засияла, но, как всегда в моей жизни, на том празднике бытия, где мне не суждено было стать хозяйкой.

В тот год умерли мои родители: за папой сразу ушла мама – они, действительно, не могли друг без друга существовать. Я по-прежнему работала в Университете. Меня считали хорошим преподавателем – как тогда говорили «не заспиртованным». Я читала живые, интересные лекции, без лишней строгости принимала экзамены, студенты меня любили – может быть, ещё и за то, что во мне по-прежнему не было ни грамма солидности. Я никак не поспевала за своим реальным возрастом, и незнакомые люди часто принимали меня не за преподавателя, а за студентку. За пределами альма-матер я носила короткие юбки, высокие каблуки и экзотические



причёмски. Может быть, эта естественная молодость поспособствовала чуду: во всех лесах сдохли медведи, рак на горе свистнул, пролился дождик в четверг, а я дождалась у моря погоды – стрела любви, выпущенная неразборчивым Амуром, снова попала в моё вечно юное сердце. Повторилась и неизбывная закономерность моей судьбы: абсолют любви совпал, как оказалось позднее, с абсолютной невозможностью быть вместе с любимым. Только на сей раз возрастной расклад был иным, хотя моя неизменная роковая «военная» цифра повторилась: мне был 41 год, моему избраннику – 17.

Его звали Андрей. Он только что окончил школу и поступил на факультет, где я преподавала. Андрей был типичным ребёнком той советской эпохи, о которой я рассказываю: увлекался поэзией и сам писал стихи, занимался спортом, ходил в студенческие походы, верил в социальную справедливость, был хрустально чист, высокогорно честен и обаятельно наивен. Андрей жил с мамой и младшей сестрой в маленькой квартире в Лужниках. Его отец умер от ран, полученных на войне, и Андрею рано пришлось взвалить на плечи все мужские обязанности в семье. Он не жаловался – по ночам разгружал вагоны на вокзалах, всё умел делать своими руками, был умён, начитан, самостоятелен. Трудно верилось в его паспортное несовершеннолетие.

Наша любовь началась в конце сентября, когда Москву вдруг неожиданно укутало прощальным теплом позднее бабье лето. Мы оба уже знали, что между нами пробежал любовный электрический заряд, и бесполезно рассчитывать на разумное «обесточивание» запретного искушения. Но мы долго не решались сделать тайное явным. Андрей приходил в аудиторию раньше всех и садился в первом ряду. Я делала над собой невероятное усилие, чтобы не встречаться с ним взглядом, но его глаза притягивали меня, как магнит, в свой синий омут, и я не могла не замечать эту вездесущую жгучую синеву. Однажды после лекции Андрей подошел ко мне и попросил позаниматься с ним факультативно. В те прекрасные некоммерческие времена такая просьба льстила преподавателям и означала, что студентам интересен их предмет, и обучение часто выходило за рамки обязательной программы. Я предложила Андрею провести дополнительное занятие в тот же день. Незаметно бросив вёсла учебных вопросов и ответов, мы, отдавшись на волю волн, отпустили беседу в свободное плавание. Когда в аудитории стемнело, мы вышли из опустевшего Университета на Моховую. Я рассчитывала вернуться домой днём, и надела в тот день лёгкое летнее платье, не взяв с собой жакет. В сумерках на улице похолодало, и Андрей накинул мне на плечи свой пиджак. В этот миг я вдруг снова почувствовала



себя юной, семнадцатилетней – как будто перенеслась на машине времени в тот летний день, когда шла на школьный выпускной бал по солнечной Москве и не знала, что ждёт меня в будущем. Тогда я, конечно, и предположить не могла, что буду идти четверть века спустя по вечерней Москве в предощущении любовного чуда рядом с молодым человеком – своим студентом, до рождения которого ещё должно было пройти семь лет. Меня изумило открытие, что душа моя, научившаяся быть сдержанной и строгой, в глубинной сути своей не изменилась, и вновь готова к любовному воспламенению. Вот только чтобы это случилось, должен был произойти ряд таинственных и почти невозможных совпадений: звёздность тихого, безлюдного вечера, мой оставленный дома жакет, синие глаза юноши, который читает мне стихи немного хриплым от волнения голосом, его слегка угловатая походка, чуть коротковатые брюки, из которых он так быстро вырос, и моя безумная к нему нежность.

Андрей довёл меня до дверей моей квартиры на Кропоткинской и осторожно обнял на прощание. Я отвела ему волосы со лба и, наконец, бесстрашно посмотрела в глаза, задохнувшись от их синевы и бездонности. Мой идеал мужской красоты фантастически совпал с реальностью. На лицо Андрея я могла смотреть часами, не уставая – как смотрят на огонь и воду – в вечном самообновлении счастья.

Всё повторялось ещё несколько раз: пустая аудитория, многочасовые разговоры с Андреем ни о чём и обо всём, долгий вечерний путь к моему дому, бархат ночи, накинутый мне на плечи вместе с пиджаком Андрея – теперь я уже нарочно забывала дома жакет – звёзды над головой, прощание у моего подъезда. А потом в этой золотой цепочке вдруг появилось ещё одно звено – поцелуй, такой трепетно робкий, что, кажется, луна нарочно зашла за ночные облака, чтобы не смущать нас.

В ту ночь «новогодняя ёлка» в моей душе снова засияла яркими огнями. Жизнь вернулась ко мне полуобморком сладких прикосновений, совпадающим пиком любовного неистовства, перезвоном родных словечек и интонаций. Всё чудесным образом повторилось через девятнадцать лет – сутью любви, её абсолют. Только моя любовь к Иннокентию не могла спуститься с платонических высот на Землю, а любовь к Андрею вся была соткана из узоров страсти, из драгоценных мигнов ежедневной совместности.

Мы пытались скрывать наши отношения, но о них всё равно узнали в Университете. Перед Новым годом меня вызвали на партийное собрание и поставили перед выбором: или моя работа на кафедре, или роман со студентом. Я готовилась написать заявление об уходе по собственному желанию. Я так была счастлива с Андреем, что заплатить за нашу любовь уходом из Университета казалось мне сущим пустяком.



Слепота и безрассудство любви безграничны – я ни на минуту не сомневалась, что мы с Андреем поженимся, как только ему исполнится 18 лет. Тогда впервые в жизни я ощутила страстное желание родить ребёнка, невзирая на всю мою стройную теорию «разумной бездетности». Жажда родить от любимого человека оказалась продолжением жажды слиться с ним в одно нерасторжимое целое. Увитая «мишурой и гирляндами» самых радужных предвосхищений, я не видела никаких препятствий к браку с Андреем. С Иннокентием даже помыслить о совместной жизни, общем доме, общей судьбе было невозможно – оставалось лишь подчиняться тем обстоятельствам, в которые мы были поставлены изначально. С Андреем мы могли строить реальные планы на совместное будущее – у меня была квартира и достаточно средств, чтобы, ни в чём не нуждаясь, подыскивать новую работу. Да и Андрей не был белоручкой и всегда мог найти возможность подработать. Многие в те неустроенные годы могли нам только позавидовать – так прочна была житейская основа для нашего брака, а пресловутую разницу в возрасте я искренне не брала в расчёт. Во мне оставался ещё такой переизбыток молодости и нерастраченных душевных сил, я так хорошо выглядела и пребывала в такой несокрушимой уверенности, что никогда не постарею, что мне даже в голову не приходило, что Андрей может думать иначе.

Первая капля дёгтя отравила мёд нашей любви, когда мне неожиданно нанесла визит мать Андрея. Она показалась мне по-деревенски неотёсанной, простоватой, и будто под топором «классового расщепления» нас с порога резко отбросило друг от друга в разные стороны. Мать Андрея (она была моложе меня на четыре года) потребовала без обиняков, чтобы я рассталась с её сыном. Она заявила, что не допустит, чтобы её сын жил со старухой. Впоследствии я узнала, что она поставила Андрею ультиматум: или «родная мать» или «старая баба».

Не верьте, что настоящая любовь преодолевает все преграды. Любовь – нежный лотос в дремучей чаще бытия, она трепетно хрупка и нуждается в защите. Легко затоптать и уничтожить этот редкий цветок – это чудо жизни, не созданное для грубой земной реальности. Теперь, действительно, став старухой, я понимаю, как молода я была тогда, и как много счастливых лет ещё было у нас впереди с Андреем. Но нас всем миром взялись выкорчёвывать из жизни. Корни любви Андрея ко мне оказались слабы – он первый предложил расстаться. Наши многочасовые объяснения – словно хождение по ножам по замкнутому кругу – в памяти не удержались, их окутал алый туман непереносимой боли. Помню только ощущение темноты, накрывшей душу, когда я смотрела из окна гостиной, как Андрей



в зимней шапке и куртке нараспашку переходит по белому пледу снега Кропоткинскую улицу, залитую ярким полуденным солнцем. Он вскоре перевёлся на другой факультет, и я его никогда больше не видела. Лишь через много лет узнала, что Андрей сделал хорошую карьеру, но несчастливо женат, и у него растёт сын.

Что же было потом? В фильме «Леди Гамильтон», снятом в 1941 году (эта цифра не оставляет меня), неподражаемая Вивьен Ли, играющая возлюбленную Нельсона, говорит через много лет после гибели адмирала:

– Никакого потом. Никакого после.

Никогда больше «новогодняя ёлка» любви в моей душе не зажигалась. После расставания с Андреем я прожила ещё почти полвека. Эти годы вместили в себя разные события – радостные и печальные. Не могу сказать, что прожила эти десятилетия бессодержательно и бесцветно. Но никого больше не любила – и, значит, не была счастлива по-настоящему. Несколько мигов запретной любви – вот и всё моё жизненное богатство, моё наследство никому.

Потеряв любимого второй раз, я очень тяжело это переживала. Тогда я обратилась к вере, крестилась, стала ходить в церковь, молиться. Учение Христа о милосердии и любви всегда было мне очень близко, но я так и не смогла примирить в своевольном сознании многие религиозные парадоксы. Я осознаю неравенство Бога и человека, но не могу воспринимать человека как «тленного греховного червя». Мне неестественно поклоняться Всевышнему «в прах распростёртой». К тому же я так и не смогла воспринять церковные обряды и ритуалы как безусловно необходимый элемент веры. Были времена, когда я отдалялась от Бога, месяцами не брала в руки молитвослов, редко заходила в церковь. Я, наверное, неисправимо маловерна. Но как мне было укрепиться в безусловной вере в Бога, если всю мою почти вековую жизнь я постоянно наблюдала в обществе, в котором жила, извортливое хамелеонство в отношении религии? Революция 1917-го года уничтожила в России православную культуру, основанную на глубинном понимании религиозных взаимосвязей бытия. После этого безвозвратно перейдённого Рубикона следующие поколения уже были отравлены атеизмом. Детство моё прошло под коммунистическими лозунгами. Во время Второй Мировой войны Сталин вдруг вынул из рукава религию, как новый (или точнее хорошо забытый) духовный козырь и стал повсеместно открывать церкви. Однако, не прошло и двух десятилетий, как Хрущёв обещал к концу семилетки в 1965 году «показать последнего попа по телевизору». Потом вдруг накатило повсеместное возвращение к



православию в начале 90-х годов, не всегда подкреплённое, на мой взгляд, истинной и искренней верой в Бога.

Томясь в мире материальном, я тянусь к Богу всей душой. Я не сомневаюсь в Его существовании, но мне многое в Его замыслах – в том числе и в отношении себя самой – не понятно. Теперь, когда пришла пора итожить жизнь, прожитую так странно неутолённо, у меня намного больше вопросов к Богу, чем могло бы быть в молодости или в зрелые годы, когда ещё оставались какие-то надежды на перемены.

Когда я рассказывала священникам о своей судьбе, я слышала неизменное: надо раскаяться в греховных связях, надо покаяться. Раскаяться у меня не получается. Так сложилась жизнь моей души, что я искренне и глубоко любила тех мужчин, с которыми не могла быть вместе. Моя ли вина в том, что я не смогла совершить над собой насилие и соединить жизнь с тем мужчиной, которого не любила? Если бы я могла выбирать – всё было бы иначе, но такого выбора мне никто не предоставил. Таинственная, разумом не постижимая «жизнелотерея» всё решила за меня. Обе мои любви – те, ради которых я родилась, которые дарили мне меня настоящую – были с точки зрения церкви греховны и незаконны. Почему же именно они зажигали свет в моей душе, делали меня лучше и человечней, поднимали на вершину жизни, помогали прикоснуться к Божественному, дарили ощущение бессмертия?

Скоро Новый год – я знаю, он будет в моей жизни последним. Пора, пора... Я давно уже не наряжаю новогоднюю ёлку, хотя много лет, даже в одиночестве, не прерывала эту добрую традицию – в память о моём детстве, о родителях. Я давно забыла облики и словарь смытых временем исторических эпох, забыла, какую одежду носила, из какой посуды ела, но я помню, как сияла новогодняя ёлка моего детства, и как мамины руки пахли корицей, потому что она всегда пекла на Новый год булочки с изюмом.

Теперь я знаю, что ёлка наряжается в канун Рождества Христова, и называть её надо не новогодней, а рождественской. Ведь именно в рождественский сочельник на ёлку раньше вешали украшения и сладости, а потом зажигали на ней огни. Мне очень нравится христианская притча о рождественской ёлке. Когда в Вифлеемской пещере родился Иисус-младенец, в небе вспыхнула чудесная звезда, возвестив миру о пришествии Спасителя. Деревья и цветы всей земли собрались к изголовью Чудесного Младенца и принесли Ему в дар свои сочные, сладкие плоды. Одна только ёлка смиренно стояла у входа в пещеру и не решалась приблизиться к Спасителю. Она долго шла с Севера в Палестину и прибыла к Младенцу



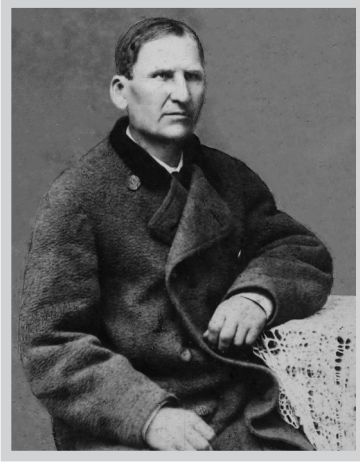
с опозданием. Да и даров у неё не было – она была бедна. Один из светлых ангелов заметил кроткую ёлку с её тихими слезами и бросил яркую звёздочку на её ветки. Звёздочка рассыпалась по ним мириадами огней, и Дивный Младенец устремил свой взор на сияющую ёлку и любовался ею, а на лице Его светилась безграничная любовь.

О, если бы человеческая любовь не угасала, не лишалась света и сияния, как новогодняя ёлка после праздника! Нет для меня более печального зрелища, чем выброшенная на улицу после отшумевшего праздника полусыпавшаяся ель с клочками тусклой мишуры на безжизненных ветвях. Скоро уже будут выброшены на свалку и мои вещи, мои альбомы с дорожными моему сердцу фотографиями, мои дневники.

Но, может быть, рукописи, действительно, не горят, как написал когда-то один человек с печальными глазами, изменивший когда-то мою жизнь? И даже такие рукописи не исчезают, которые и литературой-то не назовёшь, но за которыми скрывается человеческая жизнь – моя жизнь, моя душа, через мрак потерь стремившаяся к свету любви. И благодаря этому я могу вернуться в тот истаявший, как белая свеча, весенний день и устремиться вслед за давно проехавшей по Пречистенке коляской, запряжённой испуганной лошадкой, конечно же, не подозревающей о том, что она везёт в Вечность гениального писателя.

Я часто вижу один и тот же сон. Я плыву в лодке без вёсел по течению быстрой, прозрачной реки, вокруг меня лилии и кувшинки, а на двух противоположных берегах стоят Иннокентий и Андрей. Они смотрят на меня с безграничной нежностью и любовью. И я смотрю на них с безбрежной любовью в сердце. Иннокентий и Андрей знают всё, но не ревнуют друг к другу. Я дорога им обоим, и они мне близки и желанны. Они оба – часть меня. Я бесконечно благодарна им за самые счастливые мгновения моей жизни. И ещё я знаю, что должна сделать выбор и причалить к одному из берегов. Я не сомневаюсь, какой выбор сделаю уже очень скоро.

Я знаю, что умру в ту ночь, когда моя лодка причалит к берегу Иннокентия, а берег Андрея останется вдали. Это хорошо, значит, он ещё долго будет жить. Пусть на том его далёком берегу, который я никогда больше не увижу, ещё будут новогодние праздники, детский смех, счастливые знаменья.



Николай Проферансов (23.10.1885–12.03.1934)

Россия

Историк, литератор, анархо-синдикалист, анархо-мистик, член Ордена Тамплиеров, член масонской ложи «Орден Света». Активно участвовал в организации группы анархо-мистиков «Ордена Духа» в Нижнем Новгороде, проводил посвящения в рыцари. 14.08. 1930 года арестован Особым Советом Коллегии ОГПУ и приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Сказание о рыцаре Гюго де Лонкль

В X веке во Франции жил Гюго де Лонкль, трубадур, слагал он альбы и серены, которые распевались по всей стране. Во время похода во Фландрию узнает он о смерти своей матери и невесты.

Много горестей и лишений испытал Гюго в этом походе, но самым большим горем была для него потеря близких его сердцу существ.

В отчаянии бросается он во все опасности и ищет смерти на поле брани. Но ни в чём не находит утешения. И вот узнаёт он, что только в Ордене найдёт успокоение и путь свой. Отправляется он к магистру Ордена и просит посвятить его в рыцари. Но, прежде чем быть принятым в Орден, Гюго де Лонкль должен был пройти ряд испытаний и искусов – он вертел мельничное колесо, исполнял обязанности конюха и другие грубые работы, и всё он делал со смирением и кротостью. А на все свои робкие вопросы получал лишь грубые ответы. Это было необходимо для определенной цели: испытать дух, – от Бога ли он.

Когда окончились все испытания, магистр Ордена призвал его и задал семь вопросов: Клянешься ли ты, что будешь говорить только правду? Не принадлежишь ли ты другому ордену? Не женат ли ты, и не обручен ли? Нет ли у тебя долгов? Не болен ли тяжкой болезнью? Не являешься ли священником? Сын ли ты рыцаря, и от законного ли ты брака?

Когда Гюго де Лонкль дал удовлетворительные ответы, магистр сказал ему: «Отныне всё твоё становится орденским, и ты допускаешься к пользованию имуществом ордена. Ты получишь бедную одежду, и пить и есть, сколько окажется необходимым».

И Гюго де Лонкль был допущен к посвящению.



Ночь перед посвящением Гюго проводит по традиции в храме.

И вот во время глубокого сосредоточения и размышления раздвинулись стены храма, и он увидел равнину, по ней вьющуюся дорогу, а по дороге идёт толпа несметная, поднимаемая в гору, на которой стоит храм. Идут ремесленники с продуктами своего производства, – суконщики с сукнами, кузнецы с замками, гончары со своими изделиями, колесники, барышники с лошадьми, юноши, монахини, женщины в расцвете сил с грудными младенцами на руках, гордые князья и герцоги, вассалы, полураздетые куртизанки, увешанные драгоценностями, папа в тиаре, и рядом с ним разбойник – и все идут шатаясь, а над толпой – тучи, гром и молнии блистающие.

И заметил Гюго, что толпу, невидимо для неё, сопровождают спутники: справа – светлые, слева – тёмные. Они борются между собой, и время от времени тёмные спутники бросаются в толпу. И там, куда они бросаются, слышны стоны и проклятья, и происходят смятения и убийства. И вот жертва лежит распростертая – тут же, рядом с убийцей, а толпа идет, шатаясь, дальше...

И увидел Гюго, что некоторые идут уверенно и с поднятой головой. Сильнее сгущаются над ними тучи, и молнии венчают их своим ореолом. И светлые спутники время от времени помогают им. И там, где они, толпа идёт спокойнее, ровнее. И расширилось духовное видение Гюго, и взглянул он в сердца людей и увидел в них злобу и чёрные замыслы, и только в самой глубине узрел он свет, как драгоценный камень в голубой оправе. Горит он и светится, словно малая звезда голубая – и у папы, и у разбойника – это душа. И тоскует она. Но люди не замечают её. Но это видят те, идущие уверенно, и от этого скорбь на их лице глубже. И исполнилось скорбью сердце Гюго, и так осталось оно – увенчанное скорбью – на всю жизнь. И он шагнул в толпу, чтобы идти вместе с ней... И скрылось всё...

И видит Гюго бедную женщину с искаженным от скорби лицом, склонившуюся над трупом солдата, сына своего, и скорбь её беспредельна. И видит Гюго королеву Франции, прислушивающейся к дыханию умирающего дофина, и рядом с королевой сидят прелат – с головой свиньи и министр – с головой волка, а над изголовьем постели навис символ смерти. И подумал Гюго: если умрёт – отойдет к ангелу, а если останется жить – этим достанется. Что – лучше? И тысячи женщин и сотни матерей увидел Гюго, и скорбь их витала над ними. И вдруг – исчезло всё... И понял Гюго, что нет скорби больше скорби матери, и его собственная скорбь утихла. Не прошла, но как хрустальная вода горного озера, стала ясной и спокойной. И явилась перед ним сама Владычица Скорбей, и опустил перед ней Гюго на колени, и дал обет вечного служения Пречистой.



Глядел рассвет в цветные окна храма, и наутро пришли за ним рыцари. В этот день был посвящён Гюго де Лонкль, трубадур, и он дал обеты послушания, целомудрия, бедности и служения церкви. И получил Гюго де Лонкль золотые шпоры. Золото же рыцари носят только на шпорах.

И вот, в тот же день сидят рыцари вечером в башне за круглым столом, с ними Гюго де Лонкль. А возле стоит некто светлый, опершись на меч, и очи его пламенеют. И смотрит он пылающими очами в глубину сердец. И когда кто-либо из рыцарей не находит ответа себе или другому на заданный вопрос – он смотрит вглубь своей души и видит в ней очи Светлого, и в них находит ответ. И спросил Гюго: «Сказано: если имеешь две одежды – одну отдай неимущему. Одень ли всех неимущих?»

И ответил один из рыцарей: одень светом свободы душу свою. Можешь быть богат любыми богатствами, но не окажись рабом. Сумей радостно отдать всё, когда того потребует дух.

И спросил Гюго: сказано, ударившему тебя по одной щеке подставь и другую. Приличествует ли рыцарю быть малодушным? Ответил ему один из рыцарей: ничего нет у рыцаря выше чести, но высока честь воина, который, будучи силен и храбр, сумеет удержать руку свою перед оскорбителем. И наивысшая честь тому, кто наивысшую боль сумеет радостно перенести и будет верен духу своему. И спросил Гюго: сказано, люби ближнего твоего, как самого себя. Как могу любить убивающего душу? И ответил ему один из рыцарей: люби всех скорбящих. Люби всех, кому служишь мечом и духом. Люби во враге своёго рыцаря, хотя бы и не был ему нанесён удар мечом. Люби в тёмном духе свет преодоления им самого себя. У рыцаря может быть только достойный рыцаря враг – и в этом любовь к врагу. А больше о любви к врагу узнаешь впоследствии. И спросил Гюго: зачем Христос творил чудеса? И если нужны они, к чему Его проповедь? И отвечал ему старший из рыцарей: что знаешь ты о чудесах Господа? Христос мог творить чудеса и скрывал их. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. И не были ли чудеса в большинстве случаев исцелением духа?

И спросил Гюго: сказано, одень раздетого, накорми голодного, напои жаждущего. Телесному или духовному благу должен служить рыцарь? И ответил ему один из рыцарей: горе отвратившему лицо свое от телесного недуга брата своего. Но еще больше горе тому, кто всего себя отдаст этому служению. Велик соблазн малого даяния: ибо строит на песке дом свой слуга блага телесного, ибо если накормит голодного, тот снова взалкает, если же утолит голод духовный – навек поднимет брата своего.

И спросил Гюго: входить в дом и жить с людьми подобает ли рыцарю? И отвечает ему один из рыцарей: будь подобен восточному царю, который из



Николай Проферансов



любви к своим подданным переодевался в их одежду, входил в их хижины и творил добро. Но, будучи благим и милосердным, не забывай высокой задачи царского служения твоего.

И спросил Гюго: влекут рыцаря молящиеся Богу, зовут к участию в делах государственных, манят любители общества и прекрасных дам. И ученые, и доктора, и философы говорят о мудрости теологии и искусствах. Каким путем должен идти рыцарь? И ответил ему один из рыцарей: иди своим путём. Мир представляется равниной, перерезанной многими водными потоками, но путник переходит их все, и ни одному не дает увлечь себя, ибо странник и проводник пилигримов рыцарь.

Так вступил Гюго на Путь. И был этот Путь труден и радостен. Много подвигов совершил он на Пути своём и молил Пречистую дать умереть ему на поле брани, ибо не приличествует рыцарю умереть дома.

После многих подвигов, совершенных Гюго де Лонклем в Палестине, удалился он в пустыню и проводил здесь время в размышлениях о божественных истинах, в непрестанных молитвах. И много лет провел Гюго в пустыне, и когда почувствовал, что очистилась душа его, взял он посох свой и пошёл. И долго шёл он, и в конце далёкого пути своего пришёл он к Светлому Чертогу и остановился у врат его, и раздался голос: «Приди, сын Мой возлюбленный, в лоно Мое, ибо ты, как и Я, совершенен». И хотел было уже Гюго войти во врата Светлого Чертога, когда в последний миг донеслись до него звуки покидаемого им мира. И услышал Гюго стон гибнущих, и проклятия отчаявшихся, и скрежет зубовой. И остановился Гюго, и обернулся, и увидел гибнущих и насилуемых, увидел торжествующих убийц душ человеческих, увидел детей, обречённых на заклание. И ответил Гюго: «Что мне, Господи, до славы, если там гибнут братья мои?». И ушёл Гюго от врат Светлого Чертога и вернулся в мир, чтобы потом ещё раз, но уже вместе со всеми, прийти к нему.

Вернувшись к людям, вступил Гюго в круг жизни их. И увидел он старцев и юношей, мужчин и женщин, и детей, томившихся в этом кругу. И бесконечно измучены были их лица. И спросил Гюго: «Чем живёте вы?» И ответили ему: «Надеждой нашей». И пошел Гюго дальше, и увидел ещё более мрачный круг. Здесь вечно слышались стоны, угрозы и проклятья. В отчаянии ломали себе руки жители этого круга. И спросил их Гюго: «Чем живёте вы?» Отвечали ему: «Безнадежностью нашей». И захотел Гюго внести свет в мрак жизни их. И остался надолго с ними.

Прошли годы, и кончился срок пребывания Гюго в этом кругу, и ушёл он, и поднялся в горы, к голубому горному озеру.

И жил здесь старец втайне от других людей. И склонил Гюго перед ним колени, и коснулся старец чела его, глаз и ушей. И получил Гюго три скрытых



дара: видеть, слышать и идти до конца. И исполнился скорбью Гюго, и сказал: «Нет, лучше умереть мне». И ответил старец: «Нет, сумей жить с дарами скорби, не скорбя». И отправился Гюго в великое странствие свое.

И вот взошёл Гюго на высокую гору. И смотрел вниз, и видел сразу всё, что делалось внизу и вокруг. И на горе, где стоял Гюго, не текло время. И видел Гюго, как в бедной сельской хижине, и в городском доме, и в королевском дворце рождаются дети. И склоняются над ними матери, и отцы ласкают их, и радуются им. И вырастают дети, и превращаются в юношей и девушек, а затем во взрослых людей, и работает каждый в кругу своём: под землёй или в кузнице, или дома по хозяйству, или за станками, или в королевском войске – служат, или правят государством. И видит Гюго, как сила любви влечёт мужчин и женщин друг к другу и соединяет их в брачные пары, и как рожают они детей, и склоняются над ними, и радуются им, и страдают с ними. Приходит старость и смерть, и новое поколение заступает на место прежнего, и снова идёт суетливая работа. И соединяются люди в брачные пары, и рожают детей, и спешат вперёд и дальше к одной цели, которой, быть может, является могила. И на место этого поколения приходит следующее, и на место следующего – ещё новое поколение, и все они совершают один и тот же жизненный цикл, идут одним и тем же путем.

И одни тысячи и миллионы людей сменяются другими, спеша и суетясь, и видят они перед собой только небольшой кусок своего пути, не думая о смене одних поколений другими, о великом потоке человечества, протекающем у подножья горы, на которой стоит Гюго. И поднимает Гюго свои взоры вверх к вечному небу и спрашивает: «Скажи, зачем это вечное повторение и почему неведомы тем, кто суетится внизу, смысл и цель этого вечного движения?» И не слышит Гюго ответа. И поехал Гюго, исполненный скорби, по бесконечной равнине. И долго ехал он на своем верном коне.

И однажды, когда заходило солнце, встретились ему на пути люди. То были кузнецы, возвращавшиеся из города к себе в село. И посмотрел на них Гюго, и увидел в душе одного из кузнецов голубой огонь – как бы малую звезду голубую. И почувствовал Гюго, что был когда-то рыцарем кузнец. И подъехал Гюго к кузнецу, и заговорил с ним об оружии, о битве, о рыцарской чести. И не хотел с ним сначала говорить кузнец, и не хотел поверить ему, когда сказал ему Гюго, что кузнец – рыцарь. Но потом коснулось слово Гюго души кузнеца, и взмахнул он молотом и сказал, что готов променять его на рыцарский меч; проснулся рыцарь в кузнеце, и с гордо поднятой головой пошёл он рядом с Гюго.



Николай Проферансов



И весело стало на душе у Гюго де Лонкля. И снова ехал Гюго по бескрайней равнине, и увидел он человека, с великим трудом пахавшего твердую, пересохшую землю. И понял Гюго, что был когда-то земледелец рыцарем. И слез с коня, и подошёл к нему, и заговорил о рыцарских подвигах и о борьбе с неверными. Нехотя отвечал ему землепашец, не принимая его. Но когда сказал Гюго о деде пахаря, воевавшем в Палестине, выпрямился тогда крестьянин и заявил, что он тоже рыцарь, хоть и пашет землю. И поехал Гюго дальше с радостью на душе, а те, кому он напомнил о голубом огне, так и остались рыцарями.

Въехал Гюго в город. Здесь на площади была большая толпа народа, и остановился Гюго на своем коне посреди толпы, и затрубил в рог. Когда затих шум, и взоры всех обратились к Гюго, сказал им Гюго: «Вы забыли, что ваши предки были светлыми и гордыми рыцарями; вы забыли, что ещё недавно в вас был рыцарский дух. Пора вам вспомнить об этом. Пора вам оторвать свои взоры от земли и посмотреть на вечное небо, пора вам взять меч, сесть на коня и отправиться в путь, и служить угнетённым и обиженным».

И гневный шум раздался на площади, и окружили разъяренные жители Гюго. И увидел он, что говорил горбатым и калекам, которые собрались, чтобы получить очередную милостыню, раздаваемую слугой герцога. И махали калеки своими костылями, и поднимали к Гюго разъярённые лица, и бросали в него камнями. И уехал Гюго, провожаемый бранью, свистом и проклятьями. Но поворачивая с площади в одну из улиц, остановил Гюго коня и крикнул им: «Я ещё вернусь к вам!» И не было у Гюго злобы против этих людей.

И увидел Гюго: на перекрёстке двух дорог у креста сидит монах, торгующий отпущениями грехов. Подъехал Гюго к монаху и посмотрел ему в глаза, и увидел Гюго голубой свет в его душе, словно малую звезду голубую. И понял Гюго, что был некогда рыцарем монах. И захотел испытать Гюго монаха, и, проезжая, слегка задел его конем. И смиренно посторонился монах. Тогда вернулся Гюго и стал просить у монаха продать ему все индульгенции оптом за четверть цены, которую они стоили. И обиделся монах, но смиренно отказал. Тогда, как будто рассвирепев, Гюго стал его бранить, и выхватил меч, и слегка ударил его мечом плашмя и присовокупил, что не достоин он настоящего рыцарского удара. Вскипел тогда монах, засверкали его глаза, и закричал он Гюго, что будь у него меч, он показал бы, кто из них достойнее наносить удары. Тогда дал Гюго монаху свой запасной меч, сошёл с коня, и стали они биться. И вспомнил монах былое мужество и напал жестоко на Гюго де Лонкля. И долго бились они,



но ни один из них не остался победителем. И нанося удары и отражая, посмеивался рыцарь над монахом и говорил, что никак не поймёт – как такой боец мог променять вольную жизнь рыцаря на звание торговца. И когда зашло солнце и бросили они сражаться, сказал монах, что не хочет он больше торговать.

И пошёл рядом с Гюго. И радостно ехал Гюго по равнине. И приехал Гюго в королевскую столицу, где в высоком прекрасном замке жил король этой страны, и была она полна благосостояния. И ходили по городу довольные жители, и проезжали гордые рыцари, и шли куда-то отряды лучников.

Великолепно было убранство королевского замка. Был он наполнен рыцарями, придворными и прекрасными женщинами. И в высоком зале сидел юный король этой страны, и окружали его вельможи и воины, и менестрели играли на лютнях и пели ему свои песни. Вошёл Гюго в королевскую залу и увидел короля. И заметил Гюго в короле голубой огонь – как бы малую звезду голубую. И понял, что рыцарем был король. И увидел ещё Гюго, что скучно королю на троне, и не радуется ему ни богатство страны, ни блеск замка, ни лесть красивых женщин, ни песни менестрелей. И когда наступил вечер, и король проходил в свою спальню, подошёл к нему Гюго и заговорил. И остановился король, и стал слушать. А когда все уснули, надел король плащ пажа и тайным ходом ушёл вместе с Гюго из замка и никогда в него не возвращался, и даже не вспомнил о нём ни разу. И ехали два рыцаря в ночной тишине – Гюго и бывший король, и радостно было на душе у обоих.

Долго странствовал Гюго по свету. И снова великая печаль охватила его и держала в своём плену долгие месяцы. И не мог он найти исхода своей скорби, и решил искать успокоения в путешествии в самые далёкие края. Много дней он ехал, и кончились жилые места, и наступила пустыня. Вечерело, и не знал Гюго, на что ему решиться: ехать ли через пустыню, или остановиться и затем вернуться. И когда он так думал, вспыхнула вдруг вдали над пустыней голубая звезда. И смело двинулся дальше в путь Гюго, и углубился в пустыню. Прошла ночь, и воссиял новый день, но ещё долго мог различать Гюго в небе свою голубую звезду.

И кончилась пустыня.

И вступил Гюго в область высоких диких гор. И скоро потерял он там тропинку, и не у кого было спросить пути, и со всех сторон окружали Гюго де Лонкля отвесные скалы, обрывы, бездонные пропасти. И уже не знал Гюго, куда ему ехать. Смущённый, взглянул он на небо и увидел впереди между двух высоких гор многоцветную радугу. И почувствовал, что обя-



зательно должен проехать под радугой, и бодро направил коня. И теперь каждый вечер загоралась перед ним голубая звезда, и каждый день видел он перед собой голубое или розовое сияние, а иногда – и переливающуюся многоцветием радугу.

И долго ехал Гюго – всё вперёд и вперёд – среди гор и пустынь...

И приехал Гюго в Замок Святых. Был он совсем небольшой, и окружали его широкий ров, наполненный водой, высокий вал, и крепкие стены. Неохотно опускали жители Замка Святых подъёмный мост, но для Гюго сделали исключение, и он въехал в замок. Радостные и благодушные ходили здесь жители и делились друг с другом всем, что у них было. И любили друг друга, и называли себя святыми. И не видели, и не слышали ничего, что было за стенами замка.

И вспомнил Гюго, как ушёл он от Светлого Чертога, и не захотел оставаться со святыми, и уехал из Замка Святых. Было великое бедствие в той стране: чёрная смерть разъезжала на высоком коне по селам и городам. И падали и умирали тысячи людей, которых коснулся её бледный взор. А оставшиеся в живых прятались по темным углам и редко выходили из домов своих. И есть им было нечего. И увидел Гюго на углу узкого переулка лавку мясника. Торговал тот падалью и – потихоньку – человеческим мясом. И вошёл незамеченный Гюго в лавку и через открытую дверь увидел торговца в его жилище. Тот стоял на коленях перед статуэткой Мадонны и молился. И услышал Гюго слова его молитвы: просил торговец человеческим мясом Мадонну, чтобы она послала ему хороший сбыт и много щедрых покупателей. И обещал торговец Мадонне украсить её капеллу на перекрестке двух улиц, когда поправятся его дела. И бил себя в грудь торговец, и рыдал, и говорил Мадонне о своей бедности и малых доходах.

И тихо ушёл Гюго из его лавки.

И почувствовал себя Гюго как бы перенесенным в страну полупрозрачной мглы. Громадные утесы, дикие камни без зелени, без влаги окружали его. И не прорывалось солнце сквозь мглу. И увидел Гюго, как над плоским утёсом склонились двое: один – человек, как все, другой – кто-то, подобный человеку, но гигантского роста и бесконечно мрачный. И холодом веяло от него. И лежал пергамент на утесе, и должен был человек подписать его своей кровью, но колебался, и страх и недоверие исказили лицо его. И улыбался мрачный его страху и недоверию. «Что же должен я делать?» – спросил человек. – «Только одно требую от тебя, – ответил мрачный – всюду, где ты будешь, повторяй людям: Христос терпел, и нам велел терпеть!» «Только-то!?» – воскликнул человек. И, сделав стилетом надрез на руке, решительно написал кровью своё имя внизу свитка.



И представил себя Гюго перенесенным на громадную площадь, и стоял посреди площади большой мрачный чертог, и толпы народа теснились перед чертогом и стремились проникнуть в него, а в чертоге, на высоких престолах, сидели великие убийцы и предатели, одетые в багряные одежды. И стоял посреди чертога самый роскошный престол, и сидел на нем некто с лицом Иуды, облаченный в золото и драгоценности. И курились вокруг престола фимиамы, и служили сидящему на престоле одетые в пурпурные одежды священники, и среди них главным был тот, кто подписал пергамент в Царстве Мглы...

И толпы народа протискивались к престолу, и люди с искажёнными лицами отталкивали друг друга, чтобы скорее добраться до него, и убивали друг друга, и, подойдя к престолу, склонялись перед ним, и целовали край одежды воссевшего на престоле, а первосвященник и другие жрецы учили их Христову терпению.

И с великой решимостью в душе поехал Гюго по дороге. И приехал он в область Великих Гор. И вот на рассвете поднялся Гюго на своём коне на высочайшую гору, на её острую вершину, с которой ветер вечно сносил снег, и откуда была видна как бы вся земля. В синей дымке лёгкого тумана лежали вокруг хребты снеговых гор, равнины с городами и пашнями, лентами вились серебристые реки, озера и моря поблескивали серыми зеркалами. На бесконечно далёком горизонте, в розовых облаках вставало солнце, а над гигантом-рыцарем, стоявшем на высокой вершине, высоко в тёмном небе лила свой свет громадная Голубая Звезда.

И взял Гюго свой Серебряный Рог и затрубил Призыв. Могучими волнами понесли его духи-союзники во все стороны, во все концы земли. И слышали там люди Призыв Серебряного Рога, и крестьяне подумали, что это пастух на рассвете сзывает свое стадо; в городах жители, слыша Призыв, считали, что это герольды короля объявляют о новой победе королевского войска. А на далеком-далеком краю земли приняли Призыв Гюго за рассветный привет жрецов Солнечному Богу.

– Вставайте, видящие незримое! – гремел Рог. – Спешите, слышащие голоса мира и голос вечности! Гордые и смелые, готовые идти до конца, пришло ваше время! Спешите, братья, спешите!

И со всех сторон бесконечно далекого горизонта, как утренние белые облака, как светлые туманы над проснувшимися водами, всюду поднимаются образы могучих светлых всадников. Вот они – мчатся. И слышен тяжелый топот коней по рассветной земле. Со всех сторон несутся они к одной цели, на вершину высокой горы, где стоит и трубит в Серебряный Рог рыцарь, озаренный сиянием Голубой Звезды, рыцарь, сзывающий великое воинство проводников человечества к Светлому Храму.



Гремит Серебряный Рог, и всё новые и новые отряды спешат на Призыв. И образуются группы, и мчатся рыцари-одиночки.

Что же вы, рыцари, не спешите примкнуть?..

Крутая отвесная скала. На скале стоит высокая башня, возвышаясь над окрестностями. А у подножия скалы катит медленные воды широкая река, из бесконечного далёка направляясь в бесконечную даль. В башне пребывает Гюго де Лонкль – одинокий. В башне нет времени, нет прошлого, нет будущего.

И приходят к Гюго другие.

Спускается Гюго де Лонкль со спутниками своими к берегу реки, и, отвязав челн, плывут они, гребя против течения. Долго плывут, и время для них меняется, и чем дальше плывут, тем более в глубь веков уходят, давно прошедшее как настоящее переживают...

Пристал челн их к берегу большой красноватой пустыни. Вышли они и увидели себя в какой-то восточной стране. Знойное солнце посылает свои лучи на суетящихся, спешащих куда-то людей, облаченных в пестрые одежды. Кругом слышатся возбужденные голоса, восклицания, шумный говор. Из отрывочных возгласов Гюго понял, что народ спешит поглазеть на чью-то казнь.

Пришельцев никто будто не замечает, но кто-то вдруг обращает внимание на то, что их тела не отбрасывают тени.

Гюго де Лонель и его спутники легко влились в толпу и вместе с ней взошли на скалистый холм, на вершине которого на большом деревянном Кресте висел Распятый. Вокруг Креста плотной массой, сдерживаемая легионерами, многоголосо гудела толпа, с тупым любопытством взиравшая на Распятого. Открылись зрение и слух у прибывших с башни, и видят они сонмы Светлых Духов у Креста.

Затем гигантская тень Тёмного распростерлась над Распятым. С усмешкой склонился он к Его уху и стал говорить: «Я вложу в уста Твоих учеников мои слова, и Твои-мои ученики понесут под Твоим именем моё учение; пройдут сотни лет, и многие из учеников во имя Твое мне служить будут – убивать, предавать, научив этому и других. Я прибавлю к Твоим словам мои слова, и затеряется в них Твоя истина, людям ненужная; и если кто захочет истину скрытую откопать, то внушу я ученикам Твоим страх перед Богом, и не решится уж никто отвергнуть слов моих и искать в учении Твоих-моих учеников откровения – Божественного, скрытого за словами моими. Напрасно хотел Ты принести людям Любовь и Свободу. Свободу они отдадут мне, а Любовь я заменю страхом Божиим и слепой



верой в слова и книги моих-Твоих учеников и моих пророков, что до Тебя были. Не заметят люди совсем Твоей благой вести и не удастся Тебе победить мой закон, тот, что Ветхим заветом зовут, он победит Тебя тем, что вновь соединится с Твоими словами и поглотит их.

Никто не осмелится искать правды вне моей церкви и моего-Твоего учения, так как мои ученики будут говорить, что вне моих церквей нет спасения, и взамен благой вести о всепрощении и всеобщем преображении, что Ты хотел людям дать – я остановлю их поиски Тебя и истины Твоей – страхом перед Страшным Судом. А чтобы никто не мог мне помешать, и чтобы никто не восстал на тьму и мрак, в который я погружу землю, я внушу Твоим-моим ученикам учение, что Ты терпел и людям велел терпеть. И никто даже не подумает, что Ты пришел научить бороться со мной.

И станут церкви моими и мне служить будут, но Тебя в этом обвинят. И если увеличится власть моя от учения их – Тебя проклинать страдающие будут. Напрасно Ты приходил!»

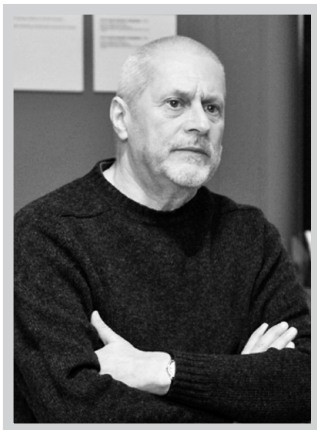
Застила гигантская тень весь небосклон. Померкло солнце. Тени поползли по всей земле. Всё погрузилось во мрак.

Молча возвращались путники к челноку.

Поднялся Гюго де Лонкль в него и поплыл учить людей бороться с Тенью Гигантской...

* * *

Печатается по изданию: Сандр РИГА. ПРИЗЫВ. – Рига, 2005.– 376 стр. с илл. Стр. 79–92

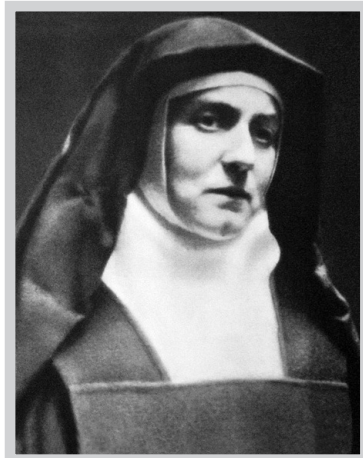


Сандр Рига (настоящее имя – Александр Ротбергс), родился в Риге в 1939 году. Организатор и лидер экуменического движения в СССР. В 1984 г. арестован и по сфабрикованному диагнозу помещён на «бессрочное лечение в специальной лечебнице закрытого типа» в Благоевщенске.
«Призыв» (как и вторая книга Сандра Рига – «Отзыв») – уникальное свидетельство, выросшее из оригинальных богословских размышлений, очерков, документов, писем из заключения, прозы, путевых впечатлений автора.



Эдит Штайн
(Св. Тереза Бенедикта Креста)
(1891–1942)

Родилась в Нижней Силезии, в еврейской семье. Философ, ученица и частная ассистентка Э. Гуссерля. В 1922 г. приняла католичество, в 1933 г. вступила в Монастырь Босых Кармелиток в Кёльне. Погибла в газовой камере Освенцима. Римско-Католической Церковью причислена к лику святых.



Из Пятидесятничной новены¹

1. Кто Ты, о Свет, наполнивший меня
и сердца темноту мне озаривший?
Ведёшь, руке подобно материнской,
а отпустил бы –
не могла б ни шагу я сделать больше.
Ты – пространство
вкруг сущности моей, а без Тебя
упала бы она в ничто, в ту бездну тьмы,
откуда Ты её возвысил.
Ты ближе мне, чем я сама,
и глубже глубины души моей.
И всё ж непостижим, недосыгаем,
превосходя любое имя:
Святой Дух – вечная Любовь!

2. Не сладостная ль Манна Ты?
Из сердца Бога-Сына
в моё перетекаешь,

¹ НОВЕНА (лат. *Novena* – девять), – у западных христиан девятидневное моление: молитвы, совершаемые ежедневно на протяжении 9 дней по образу девятидневного ожидания апостолами по вознесении Иисуса Христа, ниспослания Святого Духа.



святых и ангелов Господних пища?
Тот, Кто от смерти к жизни вознесён,
меня Он тоже к новой жизни пробудил
от дрёмы смерти.
И снова жизнь дарует, день за днём,
она с избытком сердце наполняет;
от Жизни Жизнь – воистину, Ты Сам:
Святой Дух – вечная Жизнь!

3. Не Луч ли Ты?
С престола Судии предвечного летишь
и вдруг врываешься в ночь духа,
не знавшего себя.
Безжалостно и нежно
Ты его осветишь пади.
И, вида своего страшась,
душа приемлет страх святой,
премудрости начало,
что с высоты Небес
идёт и с Небом нас роднит,
ту силу, коей,
нас вновь творишь:
Святой Дух – всепроникающий луч!

4. Не Полнота ли Духа Ты и Власть
которой Агнец может снять
печать с приказа Бога?
Разосланы Тобой,
спешат Суда герольды по земле
и отделяют остриём меча
благое Царствие от царства тьмы.
И станут новыми земля и небо,
и всё от дуновенья Твоего
придёт в порядок:
Святой Дух – победная Власть!

5. Не Зодчий разве Ты, воздвигший вечный храм,
с земли главу поднявший до небес?
Оживлены Тобой, колонны ввысь устремлены,



не поколеблются вовек,
и значится на каждой Божье имя.
Они к сиянью поднялись,
держа тот купол,
венчающий святой предивный храм,
Твой труд, объявший мир:
Святой Дух – Божия творящая Рука!

6. Не Ты ли, Кто зеркало сотворил
пред троном Всемогущего,
подобно морю из стекла,
где Божество Свой образ созерцает?
Склонившись над Своим прекраснейшим трудом,
Ты видишь, как Твой блеск Тебе навстречу светит.
И всех созданий чистая краса
в одном прекрасном облике слита
Твоей Невесты, непорочной Девы:
Святой Дух – всего Творец!

7. Не сладкий ли Ты Гимн любви
и трепета Господня,
что вокруг престола Троицы звучит,
созданий всех звук чистый сочетая?
Лад, слившийся,
в одно и тело и Главу,
и каждый в нём
смысл потаённый свой, ликуя, постигает
и выражает,
в Твоём потоке растворившись:
Святой Дух – вечное Ликованье!

Перевод с немецкого Е. Талызиной



Елена Талызина

ЭДИТ ШТАЙН

Эдит Штайн родилась 12 октября 1891 г. (в день, на который в том году выпал иудейский День Искупления – Йом Кипур) в силезском городе Бреслау (ныне – г. Вроцлав, Польша) в семье лесоторговца Зигфрида Штайна и его жены Августы.

Эдит была самой младшей из семи оставшихся в живых детей. За год до её рождения семья (заметно ассимилированная, хотя и сохранявшая некоторые традиции иудаизма) переехала в Бреслау из Люблинца. В 1893 г. скоропостижно умер отец, и ответственность за большую семью и «дело» легли на плечи матери. Августа Штайн, независимая, предприимчивая женщина и ревностная иудейка, стала управлять предприятием успешнее, чем её покойный супруг. Она обеспечила детям достойную жизнь, дала им хорошее образование и в 1910 г. приобрела собственный дом по адресу Михаэлиштрассе, 38. Видимо, она отличалась не только нестигаемостью духа, но и крепостью тела, прожив почти 87 лет.

Малышка Эдит, любимица матери, – то живая и дерзкая, то замкнутая и мечтательная, – рано пошла в школу (одновременно с сестрой Эрной), но в 14 лет внезапно бросила учёбу и провела год в Гамбурге, в семье старшей сестры Эльзы и её мужа Макса Гордона, помогая ухаживать за маленькими племянниками. Впоследствии она объяснила этот свой шаг переходным возрастом и мировоззренческими вопросами, начавшими её волновать.

Вернулась Эдит другим, развившимся физически и духовно человеком. Вопрос веры девочка решила, «совершенно сознательно и добровольно», отказавшись от неё.

В Бреслау Эдит продолжила учёбу. В 1911 г. она блестяще оканчивает гимназию и зачисляется в местный университет, где четыре семестра изучает психологию и принимает участие в общественной деятельности, в том числе за права женщин, что тогда было актуальным вопросом. Она считает себя «привилегированным существом» и вполне довольна собой.

Узнав об Эдмунде Гуссерле (1859–1938 гг.) и его феноменологии, студентка Эдит Штайн, загорается идеей поехать в Гёттинген учиться у него. Переход от психологии к феноменологии она объясняет так: первой «не хватало необходимого фундамента ясных основных понятий», последняя



же «именно в таком разъяснении и заключалась, и там сами создавали себе мыслительное орудие».

Весной 1913 г. Эдит Штайн приезжает в Гёттинген, где продолжает учёбу и знакомится со многими коллегами и учениками Гуссерля. Во время Мировой войны она некоторое время (в 1915 г.) добровольно работает сестрой милосердия в тифозном лазарете в Мериш-Вайскирхен (ныне г. Границе в Чехии), недалеко от Карпатского фронта («Мы живём на свете, чтобы служить человечеству»).

В 1916 г. во Фрайбурге, куда был приглашён для преподавания Гуссерль, Эдит Штайн защищает докторскую диссертацию с высшей оценкой *summa cum laude*. Диссертация посвящена так называемому «вчувствованию», в современной терминологии – эмпатии (*Zum Problem der Einfühlung*). Затем, в 1916-1918 гг. она по личной просьбе Гуссерля, которого всю жизнь называла «Учителем», работает его частной ассистенткой (как Хайдеггер).

В это время Эдит сталкивается с «феноменом веры» (в некоторых коллегам), и он вызывает её интерес. Например, в своей диссертации она приводит в качестве примера «вчувствование» в «человека религиозного»: «Я могу сама быть неверующей и всё же понять, что кто-нибудь другой всё, чем он владеет из земных благ, приносит в жертву своей вере. Я вижу, что он так поступает, и постигаю, что мотив его поведения – принятие ценности, чей коррелят мне недоступен, и приписываю ему слой личности, которым я не обладаю. Так я, сопереживая, получаю тип “*homo religiosus*” (букв. «человек религиозный», лат.), который мне чужд, и я его понимаю, хотя то, с чем я там сталкиваюсь, никогда не осуществится».

В 1917 г. на Западном фронте погибает сотрудник Гуссерля Адольф Райнах, основатель «Философского общества» Гёттингена. Встреча с его молодой вдовой Анной произвела на Эдит, пришедшую утешить её, неизгладимое впечатление (незадолго до того Райнах и его супруга, оба евреи, обратились в евангелическую веру): «Это было моей первой встречей с крестом и божественной силой, которую он придаёт несущим его. В первый раз я осязаемо видела перед собой рождённую из искупительных страстей Христа Церковь в её победе над жалом смерти». Позже Эдит Штайн скажет, что на её решение стать христианкой повлияло знакомство с Анной Райнах и Максом Шелером, тогда ревностным католиком. Но в тот момент вера для молодой последовательницы феноменологии являлась «областью феноменов», и, по её словам, «стремление к истине было единственной молитвой».

В 1918 г. Эдит расстаётся с Гуссерлем: «Учитель» был далеко не ангелом, а ученица стремилась к самостоятельности – получению доцентуры в университете.



В 1920 она живёт дома в Бреслау, давая частные лекции. Она переживает внутренний кризис: несмотря на написанную работу и рекомендации Учителя, получить доцентуру не удалось. К тому же, её любимый человек, ученик Гуссерля Ханс Липпс, кажется, не замечает её любви (по некоторым сведениям, была ещё одна безответная любовь – к поляку Роману Ингардену, впоследствии профессору Краковского университета, «известнейшему ученику Гуссерля»).

Как сказал Гейне:

*Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu...*

(«Это старая история, / но она остаётся вечно новой...»)

Почти весь 1921 год Эдит гостит у своих друзей, товарищей по учёбе у Гуссерля, – супружеской пары Теодора Конрада и Хедвиг Марциус в Бергцаберне в Пфальце, около Шпайера. Однажды ей в руки случайно попала автобиография св. Терезы Авильской (1515-1582 гг.), мистической писательницы, реформатора кармелитского ордена. Как она потом вспоминала: «Я начала читать, тотчас увлеклась и больше не отрывалась до конца. Когда закрыла книгу, сказала самой себе: это – истина».

Впоследствии я прочитала эту книгу в новом английском переводе под названием «*The Book of Her Life*» – и была глубоко разочарована. Произведения св. Терезы звучат наивно для современного сознания; с трудом верится, чтобы они могли оказать радикальное влияние на взрослого здравомыслящего человека.

Что на самом деле стало причиной обращения, наверное, теперь вряд ли можно узнать. Насколько Эдит Штайн была искренна в своих воспоминаниях, если человек не до конца откровенен даже в своём интимном дневнике? Во всяком случае, когда Хедвиг Конрад-Марциус спросила её об этом, она ответила: «*Secretum meum mihi*» – «Моя тайна принадлежит мне». Та же Хедвиг Конрад-Марциус вспоминала, что, увидев уже после обращения своей подруги фотографию Ханса Липпса у неё на рабочем столе, она не преминула заметить, что «так, пожалуй, не пойдёт: одновременно хотеть полностью отдать себя Богу и держать на столе фотографию мужчины, который не хочет на тебе жениться». Фотография вскоре исчезла. (Когда в 1932 г. после внезапной смерти жены Ханс Липпс сделал Эдит предложение, она его не приняла).

Но почему среди многочисленных родных Эдит не нашлось ни одного близкого человека? Почему в ней самой не оказалось «стержня», чтобы



противостоять жизненным невзгодам? В своей автобиографии Эдит признавалась в своих детских мечтах: «Я мечтала о счастье и славе, так как была убеждена, что я предназначена для чего-то великого, и в узкой, обывательской обстановке, в которой я родилась, мне совсем не место». Действительность оказалась не такой блестящей. Родные Эдит Штайн всегда размышляли, не явилось ли её обращение результатом кризиса личности или горького разочарования. И, видимо, есть основания так думать. Например, в книге, изданной на чешском языке (*Vzpomínky na Editu Steinovou. Řím: Křesťanská Akademie, 1984*), можно прочитать, что вскоре после крещения Эдит сделала попытку поступить в монастырь босых кармелиток в Вюрцбурге, но ей отказали.

В науке она, похоже, тоже разочаровалась. В 1931 г. в статье «Интеллект и интеллектуалы» Эдит опишет то, что, возможно, пережила она сама: «Если разум отважится использовать свои крайние возможности, он достигнет своих собственных пределов. Он отправится на поиски высшей и последней истины и обнаружит, что всё наше знание – лишь отрывочно. Тогда гордыня сломается, и мы увидим одно из двух: либо она сменится отчаянием, либо с благоговением преклонится перед таинственной истиной и с верой смиренно примет то, что естественная работа разума не может постичь».

Первого января 1922 г. Эдит была окрещена в приходской церкви св. Мартина в Бергцаберне (восприемница – Хедвиг Конрад-Марциус, хотя она была евангелисткой). При крещении она взяла имена Тереза и Хедвиг. Второго февраля того же года над ней совершено таинство миропомазания (конфирмация).

Судя по всему, семья Эдит Штайн не поняла её обращения в христианство. Её поддержала только незамужняя сестра Роза (которая сама в 1936 г., уже после смерти матери, станет католичкой).

Новообращённая решает полностью изменить свою жизнь. Она становится учительницей в женском лицее при монастыре доминиканок св. Магдалины в Шпайере, где в течение восьми лет преподаёт историю и немецкий язык и возрастает в христианской духовности. Через некоторое время католическая общественность обращает на неё внимание. Эдит Штайн пишет статьи и рецензии, читает доклады, выступает на радио. Она переводит письма и дневники «великого обращённого» кардинала Ньюмена и сочинение св. Фомы Аквинского “*Quaestiones disputatae de veritate*” («Исследование истины»). Именно св. Фома помог новой христианке понять, что «можно заниматься наукой как службой Богу»; раньше же она считала, что «вести религиозную жизнь – значит отречься от всего земного» Она решает возобновить свои научные занятия.



В 1932 г. Эдит получает место доцента Немецкого педагогического института в Мюнстере.

Все эти годы она ведёт благочестивую жизнь: молится с сёстрами-доминиканками св. Магдалены, со дня своего крещения и до своего ареста ежедневно причащается, ещё до поступления в монастырь очень строго постится. Начиная с 1928 г. проводит Страстную и Пасхальную недели в бенедиктинском аббатстве Бойрон (Beuron; между Тутлингенем и Зигмарингенем на Дунае), которое называет «преддверием Неба» и где на Пасху всю ночь не покидает часовни. Аббат Бойрона Рафаэль Вальцер становится её духовным руководителем. Вот как он вспоминал о своей духовной дочери: «Я редко встречал человека, который соединял бы в себе столько высоких качеств. При этом она всецело оставалась женщиной, с чуткой, почти материнской интуицией. Мистически одарённая, она была простой с простыми людьми, образованной – с образованными, с ищущими – ищущей, я бы даже мог сказать, с грешниками – грешницей».

Однако уже в 1933 г. антисемитская политика Третьего Рейха вынудила Эдит Штайн оставить преподавательскую деятельность. Она решила на Пасху поехать в Рим просить Папу об энциклике против антисемитизма, но потом «отказалась от поездки и изложила свою просьбу письменно», но определённого ответа не дождалась. (Есть сведения, что, возможно, её письмо получило резонанс: летом 1938 г. Пий XI инициировал энциклику против расизма и антисемитизма, которая была подготовлена, однако, по не вполне ясным причинам, так и не была обнародована).

Преследование своего народа Эдит видит в религиозном контексте. Так она вспоминает один весенний вечер 1933 г.: «Мне вдруг стало ясно, что Бог опять возложил свою тяжёлую длань на свой народ, и что судьба этого народа была также моей». Она считает, что «это его (Христа) крест, который теперь возлагается на еврейский народ». Эдит напишет монахине-урсулинке Агнес Брюнинг: «Под крестом я понимала судьбу народа Божьего, которая уже тогда начинала заявлять о себе. Я думала, что те, кто понимает, что это – крест Христа, должны во имя всех взять его на себя». Эдит Штайн решает, что пришло время исполнить намерение стать кармелиткой: «Не может быть призвания выше, чем *sponsa Christi* («Невеста Христа»), и кто видит этот путь открытым, не будет стремиться ни к чему иному». Она считала монашескую жизнь, полную отдачу себя Богу, «единственным возможным утолением женской жажды любви». Её выбор падает на монастырь кармелиток в Кёльне.

Для Августы Штайн поступок Эдит стал тяжёлым ударом. Она так и не приняла выбор дочери и больше с ней не общалась.



Четырнадцатого октября 1933 г. Эдит Штайн переступает порог затвора кельнского монастыря кармелиток. При облачении в монашескую одежду (15 апреля 1934 г.) она выбирает имя Тереза Бенедикта Креста (*Teresia Benedicta a Cruce* – букв. «Тереза, благословлённая крестом»). 21 апреля следующего года она приносит первые обеты.

По распоряжению настоятелей Эдит продолжает заниматься философией. Она перерабатывает свой прежний труд, который теперь называется «*Endliches und ewiges Sein*» («Конечное и вечное бытие»). Вот, например, известный фрагмент из него: «То, чего не было в моих планах, было в планах Божьих. И чем чаще я встречаюсь с чем-либо подобным, тем живее будет во мне убеждение веры, что – с Божьей точки зрения – нет никакой случайности, что целая моя жизнь во всех деталях предначертана в планах божественного провидения и перед всевидящим оком Божиим является совершенной смысловой связью. Тогда я начинаю радоваться свету славы, в котором мне эта смысловая связь должна открыться. Однако это касается не только отдельной человеческой жизни, но также и жизни человечества, и сверх того – совокупности всего сущего».

Сестра Бенедикта переживает своё призвание как возможность «за всех предстательствовать перед Богом» [6, S. 59]. В 1938 г., вскоре после вечных обетов, она пишет Агнес Брюнинг: «Я должна постоянно думать о царице Есфири, которая как раз затем была выбрана из своего народа, чтобы предстательствовать за народ перед царём. Я – очень бедная, слабая и маленькая Есфирь, но Царь, избравший меня, бесконечно велик и милосерд».

В самом конце 1938 г., после погромов «Хрустальной ночи», Эдит Штайн находит убежище у кармелиток г. Эхта (Нидерланды). К ней присоединяется её сестра Роза, которая поселяется при монастыре. Там Эдит пишет главный труд своей жизни – «Науку Креста» (*Die Kreuzeswissenschaft*) – о жизни и духовности св. Иоанна Креста (*San Juan de la Cruz*), испанского мистика, сподвижника св. Терезы Авильской по реформации кармелитского ордена. Этой книге суждено было остаться незаконченной...

Сестра Бенедикта написала: «Постичь *scientiam crucis* («науку креста», – лат.) можно лишь тогда, когда основательно почувствуешь Крест. В этом я была убеждена с самого начала и от всего сердца сказала: *Ave crux, spes unica!*» Она видит себя также искупительной жертвой (по мнению одного философа-иудея так она переживает свой Йом Кипур). 26 марта 1939 г., в Страстную пятницу, Эдит обращается к настоятельнице с просьбой позволить ей «предложить себя Сердцу Иисуса как жертву умиловле-



ния за истинный мир: чтобы власть Антихриста, если возможно, рухнула без новой мировой войны».

Вскоре после начала войны, на праздник Воздвижения креста Господня (14 сентября), сестра Бенедикта пишет: «Мир в огне. Пожар может охватить и наш дом. Но высоко над любым огнём возвышается крест. Пламя не может его поглотить. Он – путь с земли на небо. Кто его обнимет с верой, надеждой и любовью, того он вознесёт в лоно Троидиногo». И время её крестной жертвы настало.

26 июля 1942 г. во всех католических и некоторых других церквах Нидерландов было прочитано пастырское послание, выражающее протест против массовой депортации евреев, что вызвало гнев немецких оккупационных властей. В ответ начались аресты евреев-католиков, которых до того не трогали.

Второго августа 1942 г. гестапо арестовало Эдит и Розу Штайн. Вместе с другими евреями-католиками они оказались в пересылочном лагере Вестерборк. Сестра Бенедикта, по свидетельству очевидцев, казалась совершенно спокойной, так как предала свою жизнь в Божьи руки. Как могла, она старалась помочь окружавшим её людям, и в её глазах «горело пламя святой кармелитки».

Через несколько дней они были отправлены «на восток», в Освенцим, где предположительно 9 августа 1942 г. погибли в газовой камере. (Их старший брат Пауль с женой и сестра Фрида с дочерью тоже закончили свою жизнь в нацистских концлагерях). Хедвиг Конрад-Марциус, узнав о смерти своей подруги, скажет: «Утешительно знать, что это был всего лишь разрыв тонкой завесы, которая отделяла её от вечной жизни».

После войны была образована «Гильдия Эдит Штайн». Её целью стало добиться, чтобы Католическая Церковь признала «философа-кармелитку» святой. В 1948 г. появилась первая биография Эдит Штайн, написанная настоятельницей кёльнского монастыря кармелиток. В 1962 г. кёльнский епископ начал процесс беатификации, который завершился в 1972 г., после чего материалы были переданы в Рим. Католическая Церковь увидела в лице Э. Штайн возможность улучшить отношение с иудаизмом, в чём возникла потребность после войны (см., например, молитву покаяния Иоанна XXIII).

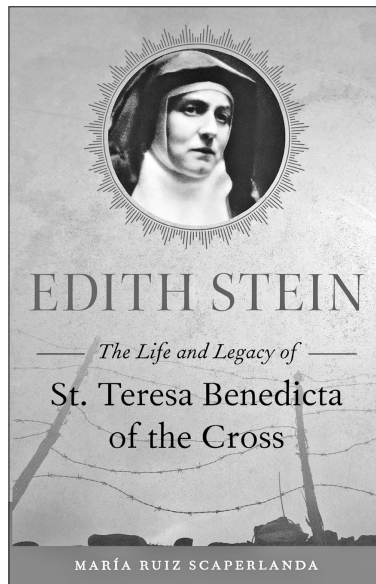
1 мая в Кёльне папа Иоанн Павел II причислил Эдит Штайн – сестру Терезу Бенедикту Креста – к лику блаженных. Её беатификация вызвала неоднозначную реакцию иудеев: они увидели препятствие к прославлению её как католической святой мученицы в том, что она погибла из-за своего еврейского происхождения, а не за христианскую веру, и посе-

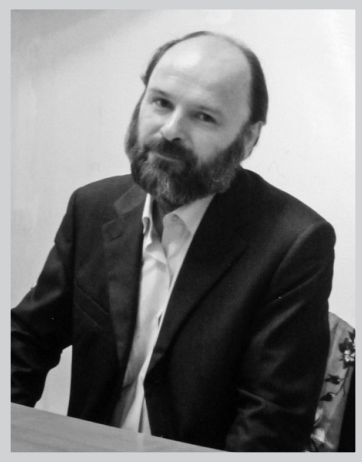


му объявление её христианской мученицей оскорбляет жертвы Холокоста. Ещё одним «камнем преткновения» стала фраза из завещания сестры Терезы, написанного в 1939 г.: «Я молю Господа, чтобы Он принял мою жизнь и смерть [...] во искупление неверия еврейского народа...»

11 октября 1998 г. на площади св. Петра в Риме Иоанн Павел II причислил Эдит Штайн к лику святых. В проповеди, произнесённой в день канонизации, он сказал: «Весть Креста запечатлелась в сердцах многих мужчин и женщин и изменила их жизнь. Живой пример такого исключительного внутреннего обновления – духовное развитие Эдит Штайн. Из молодой женщины, искавшей истины, через тайное действие божественной благодати она стала святой и мученицей – сестрой Терезой Бенедиктой Креста. Сегодня с небес она повторяет нам слова, оказавшие влияние на её жизнь: «Я желаю хвалиться только крестом Иисуса Христа».

Эдит Штайн считается одной из величайших женщин XX столетия. Люди во всём мире читают её книги; посвящают долгие годы изучению её жизненного пути и произведений; в некоторых странах существуют Общества им. Эдит Штайн, а Папа Иоанн Павел II объявил её святой покровительницей Европы.





Михаил Бердников

Россия, Москва

*Доцент кафедры «Фортепьяно. Орган»
в Государственном музыкальном
педагогическом институте им. М. М. Иппо-
литова-Иванова.*

Семантика графоманства

Два венка сонетов

Человек в футляре

*Блажени милостивии. Лишь им
Дано обетование прощенья.
Помилования (раскрепощенья)
Самарец милосердный нелишим.*

Но если наш сосед, непогрешим
Что папа римский, сыпет изреченья
В припадке ярого ожесточенья,
То мы, его смирив, не погрешим.

Научен горьким опытом, страшусь
Оказывать услугу прохиндею,
Достать со дна морского орхидею

Без должной подготовки не решусь,
С молитвой вопрошая: что содею,
Да милости Господней не лишусь!



* * *

Да милости Господней не лишусь!
Ни в веке будущем, ни в горней сфере.
Не вижу побратима в Агасфере,
Хоть вечно с воздыханьями ношусь.

Но вот вопрос, которым разрешусь,
На глубину спускаясь в батисфере:
Где, на какой заоблачной Кифере
Я от забот житейских отрешусь?

Не от забот – от права отрешим
Распоряжаться собственной ногой
(Агату Кристи путаю с «Вульгатой».)

Потоком времени несокрушим
Христос – Источник милости богатой.
Блажени милостивии лишь Им.

* * *

Блажени милостивии лишь Им,
Лишь Им избранные на подвиг ратный,
Изъятые Им из среды развратной,
Призванные к биенью клавиш Им.

Дела немилосердия вершим,
Неправый суд творим – не аккуратный,
Свершаем (с такой хारेю отвратной!)
Обряд нехитрый – недруга крушим.

Взываем к состраданию – жаждем мщенья,
Взыскуем света – преломляем тьму.
Не пожалели брата – посему:

Добились надлежащего прещенья.
Самарянин блаженнее – ему
Дано обетование прощенья.



* * *

Дано обетование прощенья.
Пантелеимону из самарян,
Чей белоснежный маскхалат багрян
От крови в день Господня посещения.

Расторгнем смело узы обольщенья:
При чем же здесь Карен Хачатурян?
Три сотни добродетельных курян
Сподобились небесного крещенья.

Не убоившись мук и запрещенья,
Подводники безропотно пасут
Стада океанических посуд

Чудовищного водоизмещенья.
Ведь требовать себе нелепо суд
Помилования (раскрепощенья).

* * *

Помилования (раскрепощенья)
Не требуй вместе с песней от певца.
Бедный певец – паршивая овца,
Претерпевающая превращенья.

Не превышая меры пресыщенья,
Сыграет с ходу трио Рославца,
Предаст отца для красного словца
И с целью личного обогащенья.

Жизнь прожигаем, водочку глушим,
Снимаем пенки, собираем сливки,
Трясем с масличного куста оливы.

Себя для ближнего распотрошим?
За доброту сердечную наливки
Самарец милосердный нелишим.



* * *

Самарец милосердный нелишим
Возможности отождествить Самару
С Самарией, ведь Куйбышев Кальмару
Сродни: провинциальностью душим.

Моя крещенская купель – Ишим.
Осанна Усть-Илиму, Нарьян-Мару.
Такому полуденному кошмару
Вручу мой дух, печалью иссушим.

Превратностью судьбы неустрашим,
Пускаюсь в утомительный и дальний
Путь, сделав мир своей исповедальней.

К соседу дорогому поспешим,
Его улещивая поминдальней.
Но если наш сосед непогрешим?

* * *

Но если наш сосед, непогрешим
Что суверен и так самоуверен,
Не отдадим последний свой суверен
Разбойнику – толпу не насмешим.

Жить не торопимся и не спешим
Расчувствоваться посреди таверен.
Двух капитанов не спасет Каверин,
Будь даже он писателем большим.

Подписывать доносы, отречения –
Сомнительная добродетель у
Соседа мощного, Содетелю,

Когда, в благом пылу нравоученья
Мораль читая благодетелю,
Что папа римский, сыпет изречения.



* * *

Что папа римский? Сыпет изреченья
По-италийски, хотя родом лях.
На стогнах, средь кофеен и в полях
Увещевания и обличенья.

Я не в неведеньи предназначенья,
Однако не спешу на горний шлях,
Понеже студными бо околях
Душу грехми без преувеличенья.

Модель амбулаторного леченья –
Приход, а монастырь – стационар,
Где иподьякон, словно коммунар,

Взимает средства в пользу ополченья,
Или, чуть что, пахан сползает с нар
В припадке ярого ожесточенья.

* * *

В припадке ярого ожесточенья,
На нарах крупный диагност лежит
И бьется в судорогах – Вечный Жид,
Спасаящийся от разоблаченья.

Куда, куда, бывые увлеченья,
Вы подевались? Жит или не жит?
На небосклоне вечность задрожит,
И хлынет вечность без ограниченья.

Где милость к нашим братьям меньшим?
На хоботке ресницы, кромке века.
Но если наш поделник, в духе века

Страстями пагубными тормозим,
Теряет самый образ человека,
То мы, его смилив, не погрешим.



* * *

То мы, его смирив, не погрешим;
То он, умом загадочно взрослея,
Не отличит бейсбола от бобслея,
Как сообща над ним ни мельтешим.

Вселенную всю переполошим –
На Росинанте доктор, на осле я,
Читая Н. Бердяева, Бердслея
И Бердниковых: старшего с меньшим.

От беззаконий (стоном возглашусь)
Любовь донесешь в сердцах оскудевает,
Не ищет своего, все покрывает.

А я бесчинствую, превозношусь
И милость оказать (и так бывает),
Научен горьким опытом, страшусь.

* * *

Научен горьким опытом, страшусь
Вверять казну заезжему детине.
Он мыслит обо мне – как о кретине,
Но я с его клопов не расчешусь.

Вот бомж красив и свеж, но я бешусь.
Он просит денег. Господи! Прости. Не
Могу отдать последнее. Картине
Такой не рад, в корысти распишусь.

От ежечасных просьб не обалдею.
Иной укутал ноги в епанчу.
Иной бездельник – тотчас различу.

Я не умен, но развенчал идею
Вновь наступать на грабли. Не хочу
Оказывать услугу прохиндею.



* * *

Оказывать услугу прохиндею,
Лежащему под панцирем щита,
Оплачивать старинные счета
И отправлять по факсу в Иудею,

Потворствовать Вольфгангу Амадею,
Чья участь от рожденья – нищета,
И чье стремленье к счастью – тщета,
Препоручать детей прелюбодею,

Вручать, какому хочешь, чародею
Тела твоих Аленушек, Марусь
Садов твоих задымленность, о Русь,

Ключи от Божьей Церкви – иудею.
И поступая так, отнюдь не трусь
Достать со дна морского орхидею.

* * *

Достать со дна морского орхидею,
Обломки субмарины (зачеркнуть
Ненужное) – не пару ль раз чихнуть,
Коль арсеналом верных средств владею.

Я от одной лишь мысли холодею.
Как можно было ту ладью зевнуть
И в территориальных потонуть
Водах, лелея в леденой воде ю?

Горе душой мятежной возношусь,
Лелею дум надменную степенность,
Во всем предпочитая постепенность.

Напрасною слезой не орошусь
И осушить златаго кубка пенность
Без должной подготовки не решусь.



* * *

Без должной подготовки не решусь
И не отважусь свет оставить – здешний.
Быть может, став когда-нибудь сердешней,
Я сам на вечный отдых попрошусь.

Се свет! – Потусторонний мир! Ершусь
Теку предместьями (Покровской-Стрешней).
В озлатоглавленности многогрешней
Оденусь, высморкаюсь, причешусь.

Заиндевею ли – помолодею,
Нальюсь смирением ли – возгоржусь,
Умилосержусь или осержусь,

Нахмурюсь или что иное дею, –
Словес Твоих отнюдь не постыжусь,
С молитвой вопрошая: что содею?

* * *

С молитвой вопрошая «что?», содею
Не милость – сумрак театральных лож,
Заполненных подводниками сплошь
И рядом, как о них не порадею.

О бедных беспокоясь, не худею,
Не обхожусь без зонтиков, калош.
Сплетая с правдой выдумку и ложь,
Во всем уподобляюсь лицедею.

На ближних недоверчиво кошусь:
Рапсоды, трубадуры и труверы
Заткнут за пояс. только. револьверы!

Я к их числу, бесспорно, отношусь,
Но следую канонам правой веры:
Да милости Господней не лишусь!



* * *

Блажени милостивии. Лишь им
Дано обетование прощенья.
Помилования (раскрепощенья)
Самарец милосердный нелишим.

Но если наш сосед, непогрешим
Что папа римский, сыпет изреченья
В припадке ярого ожесточенья,
То мы, его смилив, не погрешим.

Научен горьким опытом, страшусь
Оказывать услугу прохиндею,
Достать со дна морского орхидею

Без должной подготовки не решусь,
С молитвой вопрошая: что содею,
Да милости Господней не лишусь?!

Гробница наяд

* * *

Блаженны те, кто сердца чистоту
Среди людей развратных сохранили.
Их ум не девы – Ангелы пленили.
Их око узрит Божью красоту.

Прелюбодея видно за версту.
Воспитан на помаде и ванили,
Он сладострастен. Таковых казнили –
Как всшедших за последнюю черту.

Однако же мытарь (или блудница)
Не раньше ли, чем чистый фарисей,
Достигнет обетованных высей.



Вот парадокс! Вот где воспламениться
Всем умным книгам и морали всей!
Но с плевелами не сгорит пшеница.

* * *

Но с плевелами не сгорит пшеница
Добротолюбия, четыминей.
А протопоп кум Авва? А Миней
Максимиш? Где проложена граница?

Иной сонетами осеменится
Так, словно его с музой Гименей
Сочетовал. Возьми – окаменей
Внезапно муза где наяд гробница!

Мешают высказать начистоту
Годами выверенные сужденья –
Аллегорические побужденья.

Рцем истину красноречисто ту:
Как не имеющие поврежденья –
Блаженны те, кто сердца чистоту

* * *

Блаженны те, кто сердца чистоту
Не даром – дорогой ценой стяжали,
В разгар сражения ли, мятежа ли,
Оставшись твердо на своем посту.

Они, отринув сор и пестроту
Обыденных забав, (каков Кирджали!)
Находят в Моисеевой скрижали
Седьмую заповедь – отнюдь просту.

Им Духи веру в праведность вменили.
(За верность – целомудрие почесть, –
Что почести бесчестью предпочесть!)



Они супружеству не изменили,
И совесть незапятнанной, и честь
Среди людей развратных сохранили.

* * *

Среди людей развратных сохранили
Себя от скверны Авраам и Лот.
Апостол из двенадцати Зилот
С супругою – себя не осквернили.

А тем, что вас растлили, соблазнили,
Сорвав покровы ли, запретный плод. –
Тем розог, жернов мельничный, колод, –
Зане в себе порок укоренили.

Отцы ж пустынники?.. о их манили
Не Гименей (отнюдь!), не Ганимед,
Не жемчуга, не золото (цифры смет!).

Мечтой о горнем (о небесном!) Ниле
(Заветных дум возвышенный предмет)
Их ум (не девы) Ангелы пленили.

* * *

Их ум (не девы) Ангелы пленили,
Плеск серафимов (не возня наяд).
Уход в скиты – реакция на яд
Кармина (производной кошенили).

В миру устои нравственности сгнили.
(ужели край обетованный – ад,
Где гения не пестуют – гноят,
И эти строчки – только стружки с гнили.)

Монашеская братия Христу
Служила, добродетельми блестела,
(Что Ангельская вольница бестела!).



Навыкли послушанию, посту,
И, как светильник девственного тела,
Их око узрит Божью красоту.

* * *

Их око узрит Божью красоту.
(Как ныне мира тварного красоты
В полях Смоленщины и Миннесоты),
Но презрит суетность и суету.

Иной скопец (зоилу предпочту!).
Иной скопил задумчивые соты
Медоточивости и шась в высоты,
Незримо набирая высоту.

Иной соединяет широту
Воззрений с вождельем сытых взглядов.
(Каких не напасут ему колядов!)

Проблему схватывая на лету,
За милою прозреваю верхоглядов.
Прелюбодея видно за версту.

* * *

Прелюбодея видно за версту.
Им грех соития в уме содеян.
Незлюбив он и несамонадеян,
Но змий блуда разит его в пяту.

Во всем являя сердца доброту,
Он может быть начитан, мил, идеен,
Но если взор его прелюбодеен –
К злодеям с основанием причту.

Так и меня в пороке обвинили:
Распутник, сластолюбец, лоботряс.
И думаю, сметая крошки с ряс:



Вошел в спасительную гавань или
В греховных помышлениях погряз,
Воспитан на помаде и ванили?

* * *

Воспитан на помаде и ванили,
Изнежен, рафинирован, неслеп
К красотам, прелестям (насущенный хлеб!)
В беззвездны ночи ли, в ненастны дни ли.

Себя оправдывал – меня винули,
Чуть жива замуровывали в склеп,
Оттачивали вымысел нелеп,
А там – во все колокола звонили.

Своим судом суд Божий упразднили,
Рядили вкось и вкривь – и млад, и стар:
Почем моей поэзии нектар.

Распространяли и распространили
Воинственную ересь, бред отар:
Он сладострастен. Таковых казнили!

* * *

«Он сладострастен. Таковых казнили!» –
Ликует негодующий ханжа,
Пиная златоустого бомжа.
(Бомжи собой пророков заменили.)

На Филиппинах, где-нибудь в Маниле
Беспечный бомж, не совершив хаджа,
Не станет представляться как хаджа,
Как бы его раджою не дразнили.

Возможно, бомж и не имел во рту
Росинки маковой, в нужду опущен,
И пес лизал его, раджою спущен.



Бомжей, познавших стыд и наготу,
Облизывает прущий сквозь толпу щен,
Как всшедших за последнюю черту.

* * *

Как всшедших за последнюю черту
(Приличия границу перешедших) –
Люблю детей, бомжей и сумасшедших.
Для них велосипед изобрету.

Навьючен Росинант. А сад в цвету!
А дети ловят бабочек, прошедших
Огонь и воды медных труб прошедших
Времен. Их под плитою обрету.

Летит в туман столетий вереница.
Клон станет добрым, но недужим псом
С недюжинным набором хромосом.

Полна церковная сокровищница.
В ней фарисея вклад весьма весом.
Однако же мытарь (или блудница).

* * *

Однако же мытарь (или блудница)
Не более, чем гордый скопидом,
Оправданным уходит в отчий дом?..
То летописи новая страница!

Карает мощно Божия десница.
Примеры: Тир, Гоморра и Содом,
Сидон, Помпея, клятая судом,
Ниспадный с неба Люцифер (Денница).

Хоть древним заповедал Моисей
Камнями девку побивать и око
Выкалывать обидчику жестоко:



(Мол, дескать: поле мертвыми усей,)
 Мытарь восходит к Богу одиноко
 Не раньше ли, чем чистый фарисей?

* * *

Не раньше ли, чем чистый фарисей,
 Блудница оmyвается от скверны.
 Дела бесстыдны и поступки скверны
 Прощаются (не сомневаюсь) ей.

Скорей вспять воды двинет Енисей,
 Скорей в Москве закроются таверны,
 Чем совести мятущейся каверны
 Не исцелит Господь в юдоли сей.

Что здесь ни посади, что ни посеи
 (Пустырник, лебеду или орешник),
 Что ни построй (вигвам или скворешник),

Все (верится) раб Божий Алексей
 (Вчерашний – или кающийся – грешник)
 Достигнет обетованных высей.

* * *

Достигнет обетованных высей
 В глуши своих Калуг или Елабуг
 Не всякий подвизающийся лабуг.
 Пустые подозрения рассей.

Тут надобен Илья – не Елисей,
 Хоть Елисей – подвижник не из слабых.
 Лишь иерусалимского осла Бог
 Использует для входа в город сей.

Мытарь спасается. Не так ли, мнится,
 И я войду в число Господних слуг.
 В рай попаду. Там перечень услуг



Вот что (коль – довелось в душе плениться)
Ласкает необыкновенно слух.
Вот парадокс! Вот где воспламениться!

* * *

Вот парадокс! Вот где воспламениться!
Вот пища для ума! Вот тишина
И мир! Вот чем душа утешена!
Вот вечной жизни свет! Иль это снится?

Земная жизнь – отнюдь в руке синица.
Едва вступил в нее, и где ж она?
Счастливы годы? Их сочтешь и на
Перстах одной руки. Укорениться?

Пуская корни, в корень зри, русей,
Борись за правду только на ковре и
Пред сильным мира не носи ливреи.

Не сыпь деньгами, не дразни гусей,
Предположив, что авторы – евреи
Всем умным книгам и морали всей!

* * *

Всем умным книгам и морали всей
Сапфическую речь предпочитаю.
Смеюсь, цыплят по осени считаю,
Выуживаю в трюмах лососей.

Как от родни сбежавший Одиссей,
Считаюсь, рифмы браком сочетаю.
Наяда, фавн – прелестная чета. Ю
Пою, как славнейшую ересей.

Свернется в свиток неба плащаница.
Посыпятся светила на поля,
К объектам заземления руля.



Промчится огненная колесница.
Заполыхает ветхая земля,
Но с плевелами не сгорит пшеница.

* * *

Блаженны те, кто сердца чистоту
Среди людей развратных сохранили.
Их ум не девы – Ангелы пленили.
Их око узрит Божью красоту.

Прелюбодея видно за версту.
Воспитан на помаде и ванили,
Он сладострастен. Таковых казнили –
Как вшедших за последнюю черту.

Однако же мытарь (или блудница)
Не раньше ли, чем чистый фарисей,
Достигнет обетованных высей.

Вот парадокс! Вот где воспламениться
Всем умным книгам и морали всей!
Но с плевелами не сгорит пшеница.



Вера Виногорова
Россия, Санкт-Петербург

*Переводчик с польского, дипломант
Международных конкурсов переводов поэзии
Т. Ружевича [2013], Виславы Шимборской
[2015], Международного конкурса «Музыка
перевода - 2014». В ее переводах публикава-
лись повесть В. Гомбровича «Транс-Атлан-
тик», воспоминания генерала В. Андерса
«Без последней главы».*



Второй разговор с Богом

Herr Gott,
пора поговорить «за жизнь»,
я говорю от имени всех тех, что отдали тебе свое существование,
поколениями лежали крестом на Твоих краеугольных камнях,
кормили армию Твоих земных наемников и агитаторов,
и с ужасом смотрели на их крестовые походы и костры,
от имени всех тех, чей стон был слышен в Аушвиц¹,
и чад которых до сих пор окутывает раны памяти

... а эти извечные смешки монахомахии², деморализующие
бедных и простых...

Ты совершил ошибку, допуская вседозволенность,
глядя с вышины на вечный *colosseum*³ на земле
с улыбкой стоика, а может, циника
и деспота (ведь над собой других богов не признаешь?)

Свобода? Свободой ты назвал свободу убивать,
лезть вверх по головам, всех ненавидеть, быть эгоистом?

Велел уверовать всем в Царствие Твое здесь, на Земле?
И это – Царствие?

¹ Гитлеровский концлагерь Аушвиц в польском городе Освенцим.

² Вражда, ненависть к монашеской жизни.

³ *Colosseum* – Колизей



Велел любить себя беспричинно,
вглядываться в Твой образ и за все благодарить Тебя,
благодарить, благодарить.

А эта – возделываемая веками развесистая клюква милосердия?

Я признаю: был шанс;
но только раз – когда прислал нам Сына,
но и тогда важнее оказался для тебя эксперимент,
чем вызволение Доброты из клетки догм.

Что говорить! Кончаю, вижу я, что дремлешь, как обычно...
Люблю тебя, Господи, тяжело в жизни без Тебя,
поэтому отпускаю тебе вины Твои.

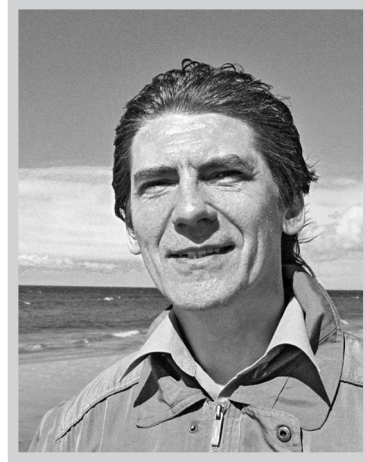
Ступай с Собой, но – подай руку...



Николай Романенко

Латвия, Рига

Хирург-травматолог. Поэт. Автор поэтических сборников «Родная речь», «Пиши, перо...» Стихи публиковались в альманахах «Планета поэтов», «Письмена», «Oseapius Sarmaticus», в журнале «Настоящее время» и других периодических изданиях. Лауреат зонального тура Всемирного поэтического марафона.



«От Елеона до Голгофы...»

* * *

*Есть смертный страх. Есть в мире жажда чуда.
И лишь любви всегда недостаёт!
Пришёл Христос, а рядом с ним – Иуда,
Да-да, тот самый, что Искарот...
За пять шагов! – от встречи до разлуки, –
Терновой стала пальмовая ветвь...
Напрасно Он протягивал нам руки, –
«Распни его!» последовал ответ.
И не случилось в мире катастрофы,
И небеса лишь вздрогнули на миг,
И путь от Елеона до Голгофы
Доныне мир сердцами не постиг!*

1. Тайная вечеря

– Вот плоть и кровь моя, и вот я сам, –
Питаюсь мною, поминайте имя,
И волю предоставьте небесам,
Чтоб ни случилось в Иерусалиме! –
И хлеб Он преломил.
И замер Он.
И кроткими опять повёл очами:
– Один из вас лукавым обольщён,



Предательство я чую за плечами! –
И в каждом сердце дрогнуло в груди...
И беспокойный Симон, выгнув шею,
Вскочил и крикнул: – Равви, отведи
Беду такую силою своею!
Ты знаешь всё, сокрытое во мне,
Не я ли тот, о ком таишь ты знанье,
И, ведая о будущей вине,
Намёк мне подаёшь для покаянья?
– Нет, Симон, нет, не о тебе печаль, –
И, обернувшись, подал хлеб Иуде,
И заглянул в глаза ему: – Как жаль! –
Скорее делай, друг,
Пусть будет так, как будет.

2.

Ночью через Кедрон –
Это, как Рубикон, перейти!
Когда всё естество
Воспротивится зримому въяве,
Когда от поцелуя
Вдруг похолодеет в груди,
А лукавый предатель
Посмеет назвать тебя «Равви»...
Промолчать, отступить! –
Нет, уже отступить не дано:
Вот птенцы мои рядом,
Заветное сказано слово,
Съеден хлеб моей плоти
И выпито крови вино,
И уже ничего
Быть не может отныне иного! –
Пить мне чашу сию
Назначает Отец мой, –
И я
Принимаю грядущее,
Что бы со мной ни случилось...
И нагнулся к рабу,
И срастил ему след острия,



Напоследях, к врагу
Проявив состраданье и милость.

3.

Был час третий, когда на Голгофу они поднялись,
И гвоздями к кресту Его руки и ноги прибили,
И распяли Его, и делить Его вещи взялись, –
И молчал небосвод, и Архангелы не вострубили!..

И остался висеть Он, и капала из-под гвоздей,
Кровь под яростным солнцем, безжалостно раны палящим,
И шептал Он: – Отец, отдаю свою жизнь за людей,
Чтобы стали – в грядущем! – такими, как я, в настоящем...
И разбойник, что справа повис на таком же кресте,
Обратился к Христу и сказал Ему: – Если возможно,
Помяни и меня, когда будешь в своей правоте,
И ответил Спаситель: – Воистину, это несложно,

Ибо нынче же будешь со мной у Отца моего!..
А толпа всё росла, и кричали жестокие люди:
– Эй, Спаситель, спаси же себя самого,
Ну, а мы всему миру расскажем о явленном чуде! –

И плевали в Него... И жестокое солнце пекло.
И тогда возопил Он с креста: – Или, Или!
Разве время мое до сих пор ещё не истекло? –
Но молчал небосвод, и Архангелы не вострубили!..

И опять возопил Он: – Почто же оставил меня? –
И умолк... И безмолвно страдал Он... И в часе девятом
Бесконечного – бесчеловечного! – страшного дня
Некто, старший из воинов римских, встал перед распятым:

– Видно, праведным был человек сей! – промолвил он вдруг.
Напитав губку уксусом, как запоздалую милость,
На копье протянул Страстотерпцу, и люди вокруг
Услыхали, как губы страдальца шепнули: – Свершилось...



4.
Смятенье и горе той ночи
Опишет ли чьё-то перо?! –
Сердечную боль опорочит
Бессильное слов серебро!
И, всё же, рискну осолиться
Безвинным страданьем Христа,
И скорбно над телом склониться
Спасителя, снятым с креста...
– О, благочестивый Иосиф,
Как труд сей тебя ни томил,
Но, плащ на страдальца набросив,
Ты раны Христовы омыл.
И на руки поднял, как сына,
И хлынули слёзы из глаз, –
Тоскуй и рыдай, Палестина,
В девятый полуденный час! –
И слёзы текли неудержно
У всех семерых, что вокруг,
Склонившись, держали прилежно
Персты холодеющих рук,
Их вновь, омывая слезами,
Пытаясь согреть, хоть на миг;
И, кровь отирая власами,
Сдержать не могла дольше крик
Рыдающая Магдалина:
В неистовом горе она
Ласкала Господнего сына,
И в плаче тряслись рамена...
И Дева Мария упала,
При виде зияющих ран,
Казалось, к ней смерть подступала,
И застил сознание туман, –
О, час материнского горя,
Нет горше, страшней тебя нет! –
И вдруг из-за Мёртвого моря
На миг брызнул солнечный свет,
И всех осветил: Страстотерпца
И Деву Марию у ног,

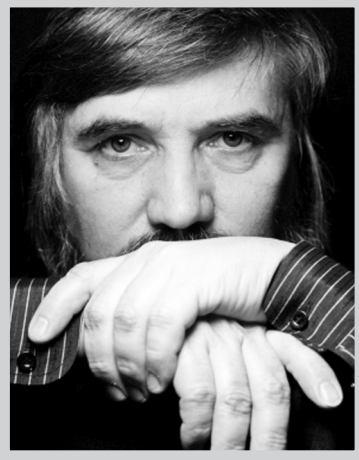


И голос проник в её сердце:
– О матери моя, видит Бог,
Не плачь, во гробе меня зрящи,
Воскресну, как сын от Отца,
И в славе моей предстоящей
Ты будешь достойна венца!
Но длились и длились рыдания,
И с плачем Его понесли...
И Он, претерпевший страдания,
Уже не касался земли.

5.

*Сколько же просеяно сквозь сито,
Не задев за край, прошло насквозь, –
Ах, как мало на решётке жита,
Чтоб стерпеть всё то, что довелось!
Столько было званых и незваных, –
Кто остался, чтоб нести Твой свет?
Кто теперь в земле обетованной
Исполняет праведно завет?
«Жизнь свою пройдя до середины...» –
Этой ночью вновь не спится мне.
За окном река проносит льдины,
Словно дар проснувшейся весне, –
Чем же я пожертвую для друга,
Что готов я сделать для людей? –
Над рекою вдруг завывла вьюга,
С каждым мигом делаясь лютей.
Кажется, она необорима
И зимы сейчас удвоит срок...
Господи, пребудь со мной незримо
И прости мне горечь этих строк!
Через сердце проведи границу,
Раздели добро и зло навек, –
Только верить! Верить и молиться!..
За окном светает. Тает снег.*

2010–2020, Рига



Сергей Пичугин *Латвия, Рига*

Окончил Институт инженеров гражданской авиации. Автор нескольких поэтических сборников. Публиковался в периодической печати и литературных изданиях Литвы, Латвии, России, Великобритании. Член Союза российских писателей. Лауреат нескольких литературных премий. Занимается изданием древнерусской певческой литературы и записями древнерусского знаменного распева.

Ода царевне Анне

Вот он пришёл, наш день равновеликий
за вереницей шёпотов и криков
людской толпы, в рабочий шум округ.

Нам в ухо – дух горячего ветра
хмельных признаний, но слепа Деметра –
нам повезло. Мы вышли в первый круг.

Благотворя диковинную завязь,
мы открывались, прошлого касаясь,
как Лоту и жене глядеть назад.

Но я искрился о твоих талантах –
вновь ты летишь на розовых пуантах,
родным прыжком выпархивая в сад.

В приливах страсти и движеньях тела –
достигнуть высочайшего предела,
как стриж в полёте, небом щебеча.

Ты знаками невинных прикосаний
дышала смелостью иносказаний
в моём письме, с волною сургуча.



Мы пробудились страстью полудикой
в одной крови, торжественной и тихой,
таинником, идущим на расстрел

тревожной совести, болящей ночи,
кромешной тьмою спутывая очи...
Прости меня за то, что я прозрел,

как ты была усталой и скорбящей
в своих потерях, противостоящих
любви, и мне казалось – ты уйдёшь...

Когда у нас нет сил читать друг друга,
ты замираешь у иного круга,
и девой высоты глядишь сквозь дождь.

Я полюбил тебя, царевна Анна,
и помогу, легко и невозбранно
любовью выкрасть сына из толпы.

Как тайная добыча птицелова –
не стих ещё, но раковина слова,
возросшего от слога до стопы.

Мы – дети в протоплазме звука,
но ты молчишь, мятежная подруга,
себя в растущей смелости кляня...

Как утолить неугасимый трепет,
когда идём в горячий влажный лепет,
в признания дорожками огня,

в ночные рощи, где свистят цикады...
Но ты по пируэту, по глиссаде,
нас ограждая, чертишь круг носком.

Кто воплотил бесовский дух бесплотный,
в трёх водах варит вымысел дремотный?
Но ты сильна, как сноп пред колоском.



И кто, судья витийственных идиллий,
соединяет домыслы рептилий,
как змей в толпе, от ревности шипя?

Как жизнь, не оборачивайся, Анна:
замрём в огне и сере ураганной
объятием в два соляных столпа.

Друзья, мы все идём по первородству,
как Авель с Каином, к библейскому сиротству
убившим брата, мудрым стариком.

Но против правды кто пойдёт войною?
Ведь я поэт, и рядом смерть со мною
прижавшимся испуганным сурком.

Нет, Анна, нет! С тобой мы будем выше
земных утрат, но равным будем, иже
глядят в глаза и, как ни назови –

над нами – ветром свищущие норды,
под нами – толп хохочущие орды,
но нас Господь прочёл строкой любви.

Мы впроголодь с тобой живём на солнце,
встречая день в работе, как японцы, –
восток лучистым светом золота.

Царевна Анна, глянь: твой лунный братик!
Раскрученными юлами галактик
во сне играет юное дитя.



Виктория Матисоне

Латвия, Рига

Окончила Художественную школу им. Яна Розенталя, затем – Московский Университет печати. Магистр по специальности «книжная графика». Профессионально занималась полиграфическим дизайном. В 2009 г. возобновила занятия живописью. Работает в стиле абстрактного импрессионизма.



Совет

не читайте стихов в молчанье
вы читаете про себя
нёбо как небо несёт звучанье
рифмы рифа любя
так в гортани царя Давида
мир зазвучал продолжая звук
гласа Божьего без препинания
без комментариев божьих букв
раз положило начало звукам
Бет положил бесконечность слов
Гимел скрыл этих слов значенье
Далет не далет, а вот смотри
мир что раскрыл от дождя как зонтик
радуги первый живой Завет
будут да будут слова ваши верны
да если да
или нет если нет



Выстрел

крик поэта
крик маяка в ночи
сканер моря
на предмет моряка
крик того, кто во сне кричит
слово в слово совпасть желая
встречи берега
образ предельно прост
в беспредельности слова
в мире необходима страсть
возвращения с нова

милый ты милый
русский ты мой язык
что похож на волну
мышцу алую
в зубы прибоа
и отлива сглотнув слюну
трубным воем
горла глагол в горсти
горести полоща
так играет язык младенца
груди ища
так восходит солнце
на горный хребет играя
тучей
Пушкин попал в себя
выстрелом отрикошетил
белый Олимп
карая.



отказ

не могу я не могу сегодня
у меня категорический
императив
цвет каштанов словно гнев господень
взгляд насуплен
веки опустив
Вий замкнулся
значит недоступен
мне сегодня недостойный страх
значит можно трогать нити звука
дирижёр ушёл оркестр иссяк
и теперь я арфу изучая
или скрипку или что хочу
буду праздновать
а вашей чашки чая
не хочу
не хочу я слушать и трудиться
мира очевидного делам
очевидного не видно
лишь водица
протекает по угасшим очагам
пульт без нот
природы очертанья
проступают дереву рогам
трубам и валторнам придавая
силу
как Чернобыля неугасимый лес
что пророчит разуму могилу
звери ходят парами и без
в комнатах забытого ковчега
и на арфе напевает лань
лев лежит в рояле как невеста
наполняя звуками гортань
что ты скажешь?
я надела серьги
я хотела доброй быть как все



ты же ясноглазый гордый зебрый
зебру скушал чёрной полосе
белой тоже предпочтя всецело
спать в рояле
право или лево
верх ли низ
терраса ли стекло
водосток ли вьётся ли
клематис
летом зацветёт
ты знаешь всё

причитание убогое

добрые люди помилуйте
не ведала что творила
раньше теперь я чувствую
чувствую но не знаю
может быть это главное
чувствовать но не знать
кто-нибудь знает знание
кто-нибудь богоравный
где его строки значатся
где его прочитать
может быть весть единожды
трижды неповторённая
тысячей глаз прочтенная
только однажды есть
смысл железы сердечныя
девочки подопечныя
умер на печке лавочник
умер видать не весь
часть его бродит по свету
знания носит просыпу
ведать и не ведает знания
всюду имеет честь
добрые люди помилуйте
знала теперь я чувствую



душу его фарисейскую
хочет меня извести
учит меня не выучит
ручит меня не выручит
душит меня не выдушит
плачу достойно есть.

краснеет русский

Мне говорили Ща хвостато
не лезет в строчку черт возьми
а буква Хер была когда-то
не изгоняема людьми
и буква Ять
который твёрдо
обозначал конец и сон
и паузу
Ижица та гордых
убеждений не держала
была как И и Вэ латинское
Игрек понятней
русский алфавит пожалуй
включил и выключил
уже немало букв негласных
и почему то Ё
дискриминирует нам намекая
на знание
когда есть Е и Ё
почти что повсеместном
а зря уверены
случается и так
что слово пишется без ё от лени
и деликатности
не надо нос совать
в чужое пенье



Лестница Иакова

На закате лето в зените
темных дерев силуэт
нить протянулась
и ткани истин
домотканых сырых небес
жёлтым светом и золотыми
пачками кущ накрывают нас
кто вертикален тому не лучше
того кто
горизонтален земле
если света сего не видя
головой пожинает зло
всё зовёт его
выйди выйди
разбей витрины стекло
возьми напитки
забери бриллианты всё твоё
и полиции нет
руки согрей
комедианты
хвалу пропоют тебе
но хмурым взглядом окинув пристань
человек отказаться решил навек
солнца гору берёт на приступ
только поэт одинокой уткой
пересекая путь к воде
смотрит на лбы
и кажется жутким
выбор голоду и беде
предоставленный
как же Иаков?
почему не поверили вы ему
лестницу видел и ангелы ходят
восходят нисходят несут тебе
все заповедные тайны мира
что дороже любых широт



газ электричество и квартира
не дороже мизинца такого вот
незримого пальца его перчатки
сними бриллиант и оплатишь счёт
кради у липы сосны и лиры делай
из ивы
дудочку тростника
подари ребёнку пускай играет пока
не станет хмурым как ты
и помня
о лестнице даже в школе
когда кажется лопнет моя голова
помнит ребёнок волю
и то чем душа жива
даже любит тетрадки в клетку
ровные палочки многих цифр
и не забудет в зените летом
лестницы Иакова
горний шифр.

Июль 2021

платить за каждый шаг

Платить за каждый шаг
за каждый вздох
не тем кто их даёт
а тем кто забирает
ведь всё бесплатно в этом мире но
родное но
и время всё стирает
тумана носовым платком
стирает вечер
усталость
ночь стирает слёзы сном
стирает старость
ответственности острые черты
и пишем мы без тени осужденья
отметки жизни-смерти



непросты
лишь наши имена
что лоскуты лекала
осколки зеркала
поэзии большой
что называет тлен
словами неба
и наши глупости
душой.

Август 2021

До

Ты хочешь петь
псалмов не зная
бродить без карты по холмам
ведь это Рильке
ты не слышал
я положу тебе в карман
не слышал ты и речи Данте
и тёплых шепотов весны
ведь Ренессанс есть Возрожденье
а значит были рождены
и умерли
иголка колет тугую ткань
крутых широт
сначала над струится нитка
сначала над а после под
и снова над
живет ныряя
во сне пронзая полотно
а ты бежишь иглой не зная
сначала над
а значит до.

Май 2021



Счастье

уподобиться Богу в том числе
чтобы не лезть к человеку
когда не хочет
давать только то что просит
и брать что даёт
показания и протоколы
допрос с пристрастием
человеку чужд
страсть самого грызёт
ждать не буду
и каждого мига
полного цвета богатого
человеков суть
одинокого
беременен мира путь
шаг погружая в песок прибоя
противоборство волны боря
я хотела идти с тобою
я ждала и страдала
и кажется зря
но заря вернулась
она вернее
терпких острот хурмы
вяжет язык
хотя мы не знаем
что это счастье
счастливы мы
если бы знали всё в полной мере
тела выжило б из ума
так в Венеции гондольеры
возят туристов когда зима
всюду холодные искры страсти
топят разума чуткий лёд
мы купили минуту счастья
того что бесплатно
где всюду мёд



разлит блестящими потрохами
французской печенки больных гусей
купим по часику
будь же с нами
разума злой фарисей

Венера Милосская

Мы проходили путь
казалось сотни лет
забыли столько
что припомнить невозможно
и вещи старые выбрасывать не мне
кому же? детство юность
осторожность
воспитывать трудней чем убежать
и бегством разрубить вопросов узел
со мною та что называют музой
и в мире нет её добрей
она
мне говорит
ведь это всё стихи
слова
и взгляд её искрится
иронией хитринкой
каждый миг
противоречья жгут её лучинку
вот были и прошли
и не собрать мне пепла
поэты Греции её одели в пеплос
который повторяет формы тел
в него одетых
вроде скрыта грудь
и бедра
но подразумевает
мужчина что под ним
что женщина скрывает
и тела правота лишь в том



что говорил ходил и видел перед собою
а за спиной
лишь крыльев пустота
9.08.21

Пауза

Открытая импрессионистами истина
воздух главный сюжет пейзажа
в стихах
главное пауза
дистанция чтобы дошло
тело звука до корки мозга
которая вроде зло
но после
станет мудрой
только такая сеть
терабайтов пока недоступна людям
что же делать
будем
отсеивать лишнее
впредь соблюдать себя
прослушивать сердца стук
шага ритм
изучая пространство паузы
ведущее в новый какой-то мир
одиночества мнимого
кажется не
переносим
непростителен
и конфликт
расширяется паузой до тех глубин
где богатства больше
и сил всемирного банка
не хватит отдать кредит
ибо не те вложены депозиты
тюрем строй и пустых квартир
не захватят магнатов руки



есть у пальцев предел
и в одной голове лишь одна наука
а там за дверью сидит жена
муж ребёнок собака и попугаи
требуют мяса сапог зерна
бесконечный разум закроет дыры
но чем меньше воздуха
тем пустота страшней
чем короче пауза тем
больше вещей и сказок
просит ребёнок
души моей.

11.08.21

Поэзия

Слова словно камушки по воде
прыг прыг прыг
и утонут
времени вождельень
как провидение
всюду рисует мне
новые похождения
и морали запретный плод
что дубина которой вооружиться
хочется бить других
чтобы с собой ужиться
и ужасаться до собственной формы тела
но бьют слова
по воде шагов неслышную песню
привет вам друзья
и моя нога
снова дождем по крыше

11.08.21



Лариса Чухина
(1913–2002)
Латвия, Рига

Хабилитированный доктор философии (Dr. Habil. Phil.). Выпускница Университета Стефана Батория в Вильнюсе, профессор-эмеритус, ведущий научный сотрудник Института философии и социологии Академии Наук Латвии.



Человек в религиозной философии

Главы из книги (Рига. Zvaigzne ABC, 1996)

Человечество и богочеловечество в религиозно-философской системе В. С. Соловьева

Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) является создателем грандиозной религиозно-философской системы, оказавшей мощное воздействие не только на последующие религиозно-антропологические учения русских философов, но имеющей также и мировое значение.

Он родился в Москве в семье знаменитого историка С. М. Соловьева и сначала окончил физико-математический факультет, но затем увлекся философией и защитил магистерскую диссертацию («Кризис западной философии. Против позитивистов»), а впоследствии – и докторскую («Критика отвлеченных начал»), став доцентом Московского университета. Вместе с тем Соловьев был одаренным поэтом, литератором-публицистом, собеседником Достоевского и Толстого, переводчиком античных мыслителей и поэтов Ренессанса и, кроме того, провозвестником «серебряного века» русской поэзии. Он вел странный, скитальческий образ жизни, не имея ни семьи, ни даже постоянного жилища, и умер в расцвете творческих сил.

Соловьев – философ противоречивый и сложный: его творчество отмечено удивительной широтой проблемно-тематического диапазона, глубокой философской рефлексией, тяготеющей к парадоксальному совмеще-



нию противоположностей, к утонченному анализу и всеохватывающему идейно мировоззренческому синтезу.

Как подчеркивал Н. А. Бердяев, духовный образ Соловьева остается загадочным: есть Соловьев «дневной и ночной». «Про В. Соловьева – писал он, – с одинаковым правом можно сказать, что он был мистик и рационалист, православный и католик, церковный человек и свободный гностик, консерватор и либерал... Но прежде всего и больше всего он был защитником человека и человечества».

Система Соловьева являет собой универсальный теоретико-мировоззренческий синтез, включая в себя важнейшие разделы философского знания: метафизику, космологию, гносеологию, антропологию, этику, историософию, аспекты эстетики и софиологию (т. е. учение о *Софии*) – наиболее оригинальный и непрозрачный компонент соловьевской системы. Несмотря на то, что эта система в процессе своего развития претерпела довольно сложную эволюцию, она смотрится как достаточно органическая целостность.

Например, представитель русской религиозно-философской мысли XX века С. Н. Булгаков характеризует ее как «самый полнозвучный аккорд, который когда-либо раздавался в истории философии». Понимание соловьевской системы как аккорда, состоящего из разных звуков, образно и адекватно схватывает ее сокровенную суть – удивительное созвучие ее многообразных звеньев, образующих целостную мыслительную ткань.

В чем же таится смысловое ядро этой полнозвучной целостности?

Думается, что оно присутствует в самой философской архитектонике соловьевской системы, т. е. в том факте, что она центрирована антропологически, ибо отдельные ее звенья заданы и насыщены философско-антропологической проблематикой, образующей ее теоретическую ось и сообщающей ей концептуальную целостность.

Тем не менее, некоторые исследователи констатируют наличие в философии Соловьева теоретических противоречий и неувязок, ряд не согласующихся друг с другом положений, перегруженность мистически затуманенной рефлексией, нарушающих ее системную и идейно-смысловую целостность. Однако в таких критических оценках далеко не все справедливо, ибо не учитывается соловьевское понимание философии как свободного знания, нацеленного на бесконечные поиски истины и находящегося в непрестанном движении и изменении.

По выражению Соловьева, философия есть высший проект творчества человека, именно она всегда освобождала человеческую личность как от внешнего, так и от внутреннего гнета и насилия. Развертывая идею о



человечности самого философского знания в работе «Исторические дела философии», мыслитель писал: «И если мы спросим, на чем основывается эта освободительная деятельность философии, то мы найдем ее основание в том существеннейшем и коренном свойстве человеческой души, в силу которого она не остается ни в каких границах, не мирится ни с каким извне данным определением, ни с каким внешним ей содержанием... Словом, философия, будучи вечным исканием духовной свободы, делает человека человеком».

Очевидно, в силу своих программных установок Соловьев не стремился к созданию завершенной системы, насыщенной однозначными, непрекаемыми истинами. Напротив, она мыслилась скорее как противоречиво развивающееся целое, подлежащее модификациям и корректировкам. Однако фундаментальные и наиболее оригинальные идеи Соловьева сохраняют свою значимость, функционируя на всем протяжении его философского творчества, насыщая и оплодотворяя последующее движение философской мысли.

Так, соловьевская концепция философии в ряде антропологических аспектов перекликается с идеями крупнейшего мыслителя XX века М. Шелера, развернутыми в его работе «О сущности философии и моральной обусловленности философского знания». А космологические и метафизические идеи Соловьева созвучны не только соответствующим идеям Шелера, но и идеям П. Тейяра де Шардена, выдающегося ученого-палеонтолога и представителя современной религиозно-философской антропологии. Кроме того, как показал Г. Дааль – немецкий исследователь философии Соловьева и Шелера, – именно Соловьев предвосхитил некоторые идеи феноменологии Гуссерля и Шелера, о чем свидетельствуют такие моменты, как критика психологизма и ассоцианизма в интерпретации механизмов мышления, выдвинутое русским мыслителем понятие «философствующего субъекта», устремленного к прорыву в мир смыслов человеческого сознания с помощью интуиции. Все это живо напоминает феноменологическое конституирование априорных (доопытных) миров из сущностных данных сознания, уже отчетливо зафиксированное в труде Соловьева «Теоретическая философия».

В системе Соловьева можно вычлениить три фундаментальные идеи, пронизывающие проблемно-тематическое поле его философии. Это идея всеединства, идея Богочеловечества и мифопоэтическое учение о *Софии* (софийность), активно взаимодействующие друг с другом и определяющие проблемный строй его философии, в центре которой находятся тема человека, человечества и Богочеловечества. Сам Соловьев исходной и



основной идеей своей системы считал концепцию всеединства, называя при этом свое философское учение философией всеединства.

Понятие всеединства, действительно, играет в соловьевской системе огромную роль, охватывая такие ее разделы, как метафизика, космология, историософия и гносеология. Однако по мере дальнейшего развития этой системы на передний план стала выдвигаться идея Богочеловечества.

Это и дало Н.А. Бердяеву резонный повод полагать, что хотя Соловьев и пытался преодолевать возникающие противоречия, исходя из идеи всеединства, тем не менее центральной идеей философского творчества и всей жизни этого мыслителя была идея Богочеловечества, с которой связан его пафос и его своеобразное понимание христианства, его «ночная мистика», «дневная» философия и публицистика.

На соловьевской метафизике всеединства сказывается влияние Спинозы и Шеллинга, и поэтому в ней нет четко выраженной библейско-христианской идеи творения мира как результата актополагающей деятельности Бога, который мыслится в качестве предвечно сущего Абсолютного начала бытия, но сам не именуется бытием. Уже в докторской диссертации Соловьева присутствует различие двух полюсов Абсолюта – Абсолюта как сущего и Абсолюта как становящегося, напоминающего идеальный космос Платона, неспособный быть вне Абсолютно сущего начала. При этом Абсолютно сущее не мыслится вне мира, а мир – вне своей абсолютной основы. Такое раздвоение Абсолютно сущего происходит потому, что оно «нуждается в другом», испытывает желание проявлять себя в нем, и, таким образом, из Единого становится Всеединым.

В развитии мира Соловьев выделяет два этапа: первый – это эволюция природы, второй именуется этапом деятельности человека и являет собой историю. Стоит отметить, что специфической чертой Соловьева как мыслителя было обостренное чувство истории, понимание историчности как главной формы бытия, «цветения» всех его ликов, раскрывающихся в развитии человечества, которые и есть история. На новом этапе создаются предварительные ступени единства мира: царство минералов, царство растений, царство животных (т. е. общеорганические царства) и, наконец, появляется царство человека. Эти царства располагаются иерархически по мере нарастания в них совершенства, ведущего к появлению духовно-нравственного смысла. Так, царство минералов являет собой категорию бытия в качестве инертного самоутверждения; растения уже выходят из состояния инертности и, обретая уровень жизни, безотчетно тянутся к теплу, свету, влаге; животные посредством ощущений и свободных движений стремятся к полноте и радости чувственного бытия, а природное



человечество помимо всего этого устремлено к становлению разумного образа жизни посредством развития науки и искусства, организации общественных учреждений, дабы возвыситься до реализации идеи безусловного совершенства.

Соглашаясь в общем виде с христианской концепцией космоса как Божественного творчества, Соловьев не приемлет, однако, признания его однозначно совершенным, а только лишь идущим к совершенству, поскольку это постепенный процесс, и состоит он во все более полном объединении материальных элементов и анархизированных сил, в преобразении хаоса в космос. В соловьевской теории мирового процесса каждая сравнительно новая ступень развития становится все более высокой в результате роста сознания, при этом внешнее единство в человеке обращается во внутреннее всеединство, основой которого являются нравственные принципы. «Для того, чтобы достигнуть своей высшей цели, – полагает мыслитель, – или проявить свое высшее значение, существо должно быть живым, потом быть сознательным, Далее быть разумным и, наконец, быть нравственно совершенным». В этом процессе каждое предыдущее царство выступает как материал для последующего, развивает структуры и органы будущего, более совершенного, и, поскольку низший уровень не исчезает, а объединяется с более совершенной деятельностью, эволюция «есть не только процесс развития и совершенствования, но и процесс собирания вселенной». Так, растения вбирают в себя окружающую среду, животные питаются растениями и вбирают в себя более широкий круг явлений, человек включает в себя и непосредственно не ощущаемые круги бытия, может объять все в одном, понять смысл всего.

В процессе своего совершенствования человек опирается помимо сверхъестественных начал, прежде всего, на первичные задатки, атрибуты своей природы – стыд, жалость и сочувствие, благоговение. В частности, человек стыдится присущей ему животности, способен испытывать жалость и сочувствие ко всем живым существам, обнаруживает в себе солидарность с ними, что и является неременным залогом общественной жизни. А в чувстве благоговения выражается специфически человеческое отношение к надчеловеческим началам и, таким образом, это чувство является индивидуально-психическим корнем религии. В совокупности этих трех чувств, по Соловьеву, выражается стремление человека к цельности и духовно-нравственной насыщенности своего бытия, нарушаемое раздробленностью человечества на множество враждующих между собой отдельных существ и групп, а также отчуждением от своего Абсолютного центра, т. е. Бога.



Важно отметить, что таким образом соловьевская концепция эволюции существенно отличается от эволюционизма натуралистов, исследующих только эмпирические измерения бытия, тогда как философская теория Соловьева нацелена на схватывание метафизических и аксиологических характеристик эволюционного процесса, нарастания в нем объективных ценностей и сущностных смыслов. При этом он решительно отвергает взгляд, якобы эволюция сама по себе создает высшие формы бытия всецело из низших. Напротив, он выдвигает сверхнатуралистическую концепцию эволюции, полагая, что появление новых типов бытия означает новое творение.

Понятие эволюции, рассматриваемое как повышение рядов бытия в силу желания Абсолютно сущего, играет важнейшую роль в антропологии Соловьева, поскольку означает включение человечества во всеобщий процесс развития. При этом человечество, находясь на вершине бытия, полагается способным – благодаря энергичному напряжению сознания, воли и чувств каждого человека и прогрессу всего общества – преодолеть разобщенность, разорванность своего существования, устранить разрыв между человеком и природой, между идеальным и материальным. В результате соединения человечества с Абсолютно сущим, с Богом и возникает Богочеловечество. А это означает, что одухотворенное свободно-нравственное человечество становится со-творцом Бога, его партнером в выполнении грандиозной задачи – преображения всего космоса, спасения его от гибели и распада, сохранения полноты и многообразия бытия. Богочеловечество, подчеркивает мыслитель, есть итог длительного процесса самосовершенствования личности и подъема духовно-нравственных устоев общества.

Небезынтересно, что некоторые аспекты философской антропологии позднего Шелера близко соприкасаются с соловьевским видением Богочеловечества. В частности, и у позднего Шелера человек мыслится как соавтор Божества в синтезе изначальных онтологических потенций, как партнер Бога в процессе упорядочения сил «порыва» и «духа».

Однако вне контекста с идеей Богочеловечества человек и человечество виделись Соловьеву в паскалевских измерениях. «Человек, – писал он, – совмещает в себе всевозможные противоположности, которые все сводятся к одной великой противоположности между абсолютною и вечною сущностью и преходящим явлением или видимостью. Человек есть вместе и божество и ничтожество». Это положение о двойственности человека, пронизывающие и некоторые антропологические построения Соловьева, вытекает из метафизического дуализма, выраженного мыслителем в фор-



муле: «Двойственность несомненно есть основной факт мировой жизни». Это касается и человека, поскольку он находится между двумя абсолютными началами и, стало быть, тайны и загадки человеческого существования разрешаются и объясняются в нас самих: они заключаются в том, что каждый действительный человек, являясь безусловно сущим, подлежит и природным, эмпирическим состояниям. Впоследствии этот дуализм дополняется еще и дуализмом аксиологического порядка, выраженном в положении о том, что удел человека есть «стояние между добром и злом».

В целом же в философско-антропологических построениях Соловьева парадоксально переплетаются противоположные интенции в оценках человека и человечества, остающиеся зачастую в свете неоднозначной, таинственно непрозрачной рефлексии. Так, полагая, что в человеке природа перерастает самое себя, он писал: «Воплощение Божества... не есть нечто чуждое общему порядку бытия, а напротив, связано со всей историей мира и человечества. К человеку стремилась и тяготела вся природа, к Богочеловеку направлялась вся история». И вместе с тем он характеризует «другое», т. е. мир, к которому принадлежит и человек как несовершенное бытие, ибо в нем есть двойственность – божественная идея как форма всеединства и материальный элемент как множественность природного бытия. При этом второе Абсолютное, сопрягающее в себе эти два полюса, мыслитель считал «загадочно двойственным существом», связывая становление мира с учением о какой-то «домирной» катастрофе и о таинственном «падении», из которых исходят зло и греховность природного бытия, царящие в нем рознь, эгоизм и взаимная борьба. Ситуация человеческого существования иногда представлялась ему предельно драматичной, погруженной в неиссякаемый поток зла, духовно-нравственных конфликтов и искушений. Три формы искушений он считал наиболее опасными для человеческого общежития: «искушение плоти», «искушение духа» и «искушение власти», неизбежно угрожающие земному бытию человека и являющие собой главное препятствие на пути человека к Богочеловечеству. Однако Соловьев не проклинал материю и плоть, напротив, он часто говорил о «телесной духовности» человека и его «святой плоти», мучительно переживая то обстоятельство, что историческое человечество еще не достигло духовно-нравственной высоты, достаточной для приятия откровения, явленного миру христианством.

Далее, как поясняет Соловьев в «Чтениях о Богочеловечестве», зло, не имея физического начала, должно иметь начало метафизическое. «Если наш природный во зле лежащий мир, – пишет он, – есть неизбежное следствие греха и падения, то очевидно начало греха и падения лежит не в том



саду Божиим, в котором коренится не только древо жизни, но также древо познания добра и зла – иными словами: первоначальное происхождение зла может иметь место в области вечного доприродного мира».

Но означают ли эти пассажи антроподицею, т. е. оправдание природного мира совокупно с человеком, и тем самым возложение вины за греховное состояние мира на Абсолютно сущее?

Достаточно ясного ответа на эти вопросы Соловьев не дает, хотя и пытается вырисовать космологическую картину падения мира, суть которой вытекает из метафизического учения об Абсолюте как Первосущем. Согласно этому учению, природное бытие является множественным и единым. С одной стороны, в нем есть темная основа, являющая собой начало хаоса и разобщенности, но с другой – природа способна укрощать бушующие в ней силы и становится подлинным космосом. Это возможно потому, что в своей сущности она не отличается от Абсолюта, ибо состоит из тех же элементов, что и Первоначало, однако в природе эти элементы находятся «в недолжном соотношении», характерном для внебожественного бытия. «Божественное Существо, – поясняет мыслитель, – не может удовольствоваться вечным созерцанием идеальных сущностей – оно останавливается на каждой из них в отдельности, утверждает ее самостоятельное бытие». При этом каждое существо теряет свое непосредственное единство с Богом, обретает свободную волю и свою собственную действительность. Такое самообособление затем становится беспредельным и «получает значение коренной стихии в частных существах, оно есть центр и основа «тварной жизни».

Как явствует из данного контекста, в медитациях Соловьева на тему добра и зла парадоксально сплетены два аспекта – теодицея (богооправдание) и антроподицея (оправдание человека), ибо оказывается, что Бог одарил человека свободной волей для проявления своей любви к нему и, стало быть, этим оправдан. Но и человек, что отчетливо просматривается в мучительных раздумьях Соловьева, подвергается осуждению. Напротив, мыслитель выступал как защитник человека и его «тварного» бытия, его свободы как активной творческой ориентации в мире. Оригинальной чертой соловьевской антроподицеи является признание положительного значения за отпадением природных человеческих потенций от Бога, ибо только после этого появляется возможность свободного соединения человека и человечества с Богом, т. е. Богочеловечества.

Важно отметить, что философствование Соловьева пронизано глубочайшим пиететом к идее свободы и радикальным осуждением насилия и гнета. Идея свободы обретает в его философии статус метафизического



начала и целенаправленно внедряется в антропологию. Эта идея зримо присутствует во всем творчестве мыслителя и во всей его жизнедеятельности, выступая в качестве высочайшей смысложизненной ценности человека. Идея свободы функционирует также как экзистенциальное основание разума в духовно-нравственной жизни человека, предоставляющее ему возможность моральной ответственности за свои деяния, и полагается как изначальное условие подлинно человеческого существования. Она рассматривается как родовое свойство человеческой природы, ибо, только действуя в горизонте свободы, человек может становиться человеком. Только будучи свободным, человек начинает доходить и до понятия нравственного долга, при исполнении которого становится способным совершать прорывы к надчеловеческим областям бытия и, кроме того, у него появляется осознание «несовершенства в нас, совершенства в Боге и совершенствования как нашей жизненной задачи».

О том, сколь высоко мыслитель превозносил идею свободы, свидетельствует его активное неприятие догматических доктрин и церковных канонов, его приверженность к свободе мысли и способов творческого самовыражения. И неудивительно, что, будучи религиозным философом, он не укладывался в традиционные конфессиональные рамки православия, вследствие чего его труды выходили иногда за границы на иностранных языках, и лишь затем переводились на русский (например, трактат «София»).

Соловьев был приверженцем свободного «цельного знания», органически сочетающего в себе религию, философию и науку, знания, совмещающего в себе высшие «умственные способности человека» – веру, разум и опыт. Навести теоретические мосты между этими столь несоизмеримыми величинами он попытался в работе «Вера, разум и знание» на основе идеи всеединства. Вера, на которой основывается религия, полагал он, содержит в себе высокие положительные начала, утверждая существование и действие вещей и существ, лежащих за пределами обыкновенного человеческого разума и опыта. Поясняя специфические различия между верой, философским разумом и опытной наукой, Соловьев констатирует, что разум дает всеобщие и необходимые факты, т. е. законы, общие понятия и отвлеченные начала, тогда как религия дает начала цельные и положительные, а опыт – факты эмпирические, случайные. Человеческое сознание совмещает в себе эти три стороны и, таким образом, по сущности своего предмета они связаны между собой.

Разум, полагает мыслитель, может отрицать определенное вероучение, но он не может отрицать религию как таковую, подобно тому, как не может отрицать факты опытной науки, ибо это было бы убийственно



для самого разума, лишило бы его всякого содержания, и он остался бы при своей отвлеченной пустоте. Существующее в его абсолютности есть предмет религии как «*Ding an sich*» (Вещь сама по себе). Существующее в общих законах своего бытия составляет предмет рациональной философии, а существующее в эмпирических явлениях – предмет положительной науки. Эти три области не должны исключать или заменять друг друга; именно на этом основывается возможность их гармонического синтеза, образующего организм целостного знания. Вместе с тем Соловьев решительно отвергает догматическое отношение к философскому знанию со стороны церковных авторитетов, его насильственное подчинение вере, полагая, что такого вообще не может быть при живой, всецелой религиозной вере. Но если вера является в форме церковного догматизма, «тогда свободное мышление возбуждается, так как внешняя вера не наполняет внутреннего существа человека. Ибо свободное мышление имеет свои внутренние основания или корни, которых церковный авторитет не может уничтожить». «Церковь, – пишет философ, – могла жечь мыслителей и их книги, но она не смогла сжечь самой мысли. Очевидно, что бороться огнем и мечом против мысли и стремлений человеческого духа есть совершенное безумие. Рано или поздно мысль побеждает». Поэтому, заключает он, внешний церковный авторитет должен пасть. И, тем не менее, разум, всесильный против внешней религиозной ограниченности в ее исторических проявлениях, совершенно бессилен против самой сущности религиозного начала, укорененного в таких потребностях человеческого духа, которые лежат глубже разумного мышления.

Неистребимая потребность человеческого духа – напряженные поиски ответа на вопросы: в чем цель человеческого бытия, для чего существует человечество как «единое существо», субъект исторического процесса и действительный «собирательный организм»? В человеке, полагает Соловьев, моральная и интеллектуальная потребности объединяются в единую – «подняться над внешней реальностью, самоутвердиться как высшее существо в непосредственно данной природе...». Эта духовная потребность обозначается как потребность метафизическая, порождающая особую сущность человека и его отличительный характер и, таким образом, человек может быть определен как существо метафизическое. Непосредственным произведением человека как существа метафизического являются религиозные и философские системы, дающие ему всеобщие, взыскуемые им истины, а также высшие принципы и нормы. Кроме того, метафизические свойства человека проявляются и в обыденных феноменах человеческой природы, на первый взгляд не имеющих связи



с метафизикой. В частности, метафизический характер человека, как полагает Соловьев, с особой наглядностью выступает в феномене смеха. Животное полностью поглощено своей наличной реальностью, оно способно плакать, но неспособно смеяться, ибо смех предполагает состояние свободы: раб не смеется.

Концепция всеединства в ее интуитивно-мыслительных срезах поднимается у Соловьева и в его знаменитом трактате «*София*», посвященном образу *Софии* как символу божественной Премудрости. Философские основоположения сочетаются здесь с мистическими прозрениями, в которых мерцают таинственно неясные лики *Софии*. Эти софийные лики парадоксально неоднозначны: *София* мыслится как «душа мира», существо, в котором осуществляется слияние материальности и человечности, как идеальное, софийское человечество, нерасчлененное на отдельные народы, общины и личности, как живое существо, мать «тварного» мира, душа хаоса и символ вечной женственности. В «Чтениях о Богочеловечестве», где наиболее органично тема софийности встречается с темой всеединства, *София* предстает как «вечное тело Божества» и вечная душа мира. Соловьевская *София* имеет глубинный метафизический смысл, однако сущность ее мыслится неизреченной в категориях [35] и понятиях рассудка, ибо она есть сокровенная духовная ценность, личностно укорененная в драматически переживаемой реальности человеческого бытия.

Трактат «*София*» имеет существенную значимость в философском и литературном творчестве самого Соловьева. Вместе с тем он оказал мощное воздействие на русских мыслителей XX века (например, – на Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, С. Л. Франка и др.), приверженных к софийности как к специфическому типу рефлексии, восходящей к неисчерпаемой в своей экспрессивно-эстетической философичности соловьевской *Софии*. Таким образом, Соловьев стоит у истоков нового религиозного сознания и прежде всего богоискательства. Кроме того, соловьевские стихи «софийного цикла», как и эстетическая концепция, оказали громадное влияние на великих русских поэтов А. Блока и А. Белого, воспевавших вечную женственность.

Соловьев критиковал гносеологию, характерную для западноевропейской философии, подчеркивая в данном аспекте достоинство антропологии Фейербаха, утверждающей приоритет человека во всем богатстве его личностного бытия. Наряду с теоретическими вопросами гносеологии, полагал мыслитель, в философии должны ставиться, прежде всего, практические смысложизненные (кантовские) вопросы «что должно быть, то есть чего мне хотеть, что делать, из-за чего стоит жить». Поэтому следует



создавать философию, охватывающую все сферы бытия и способную постигать их в органической целостности, опираясь на высокие христианские начала личностной и общественной жизни.

В данной связи особого внимания заслуживает трактат «Оправдание добра», написанный в последний период жизни мыслителя и посвященный духовно-нравственной проблематике, в центре которой находится личность в ее сложных взаимосвязях с обществом, миром и Богом.

Личность и общество рассматриваются как понятия соотносительные, логически и исторически предполагающие друг друга. Соловьев решительно выступает против их разрыва, называя такой разрыв «болезненным обманом самосознания». По мысли философа, «человеческая личность есть возможность для осуществления неограниченной действительности или особая форма бесконечного содержания». Это положение объявляется аксиомой нравственной философии. Соловьев отвергает позицию «отвлеченного субъективизма», утверждающую самодостаточность отдельной личности, именуя такую позицию «гипнотикой индивидуализма» и «химерой себедовлеющей личности». Но вместе с тем он отвергает и противоположную позицию, т.е. обезличивание человека – «гипнотику коллективизма», сторонники которой видят в человеческой жизни только общественные массы, а это на самом деле являет собой «химеру безличного общества», т.е. признание личности преходящим, ничтожным элементом, которым можно пренебрегать якобы во имя общественных интересов. «Общество, – полагает мыслитель, – есть дополненная, или расширенная, личность, а личность – сжатое, или сосредоточенное, общество». Стало быть, личное совершенствование каждого человека не должно быть оторвано от общественного, а личная нравственность – от общественной. «Степень подчинения лица обществу, – формулирует Соловьев, – должна соответствовать степени подчинения самого общества нравственному добру».

Пытаясь в своих интуитивных прозрениях очертить контуры совершенствования общества, мыслитель связывал процесс всемирного нравственного обновления с богочеловеческим вместе с тем «богоматериальным» процессом, означающим «царство Божие», т.е. «совершенный нравственный порядок». Реализация такого порядка, по Соловьеву, возможна в тесной среде, которой, прежде всего, является семья, «где каждый есть цель и за каждым признается безусловное значение», ибо в семье присутствуют три поколения, связанные рождением. И поскольку будущность семьи нераздельна с будущностью народа, то «почитание отцов переходит в почитание Отечества». Однако поскольку нравственная жизнь семьи немыслима вне народа, то и нравственная жизнь народа невозможна вне человечества. При этом Соловьев рассматривал все народы и расы



как органы в организме Богочеловечества, ибо каждый народ призван по-своему служить осуществлению идеалов христианства – «объединить весь мир в одно живое тело, в совершенный организм Богочеловечества». Однако, сетовал мыслитель, эгоизм существует не только в отдельном человеке. Существует и семейный эгоизм, и эгоизм национальный (народный), противоречащий подлинному смыслу народности, являющейся «особою формой всемирного содержания».

Мыслитель требовал также нравственного отношения к природе как материнскому лону человеческого бытия, призывал прекратить борьбу с нею и пользование ею как безличным орудием, утверждать ее идеальное состояние, т. е. то, чем она должна стать через человека, обретая уровень высокой ценности.

Под конец жизни в мироощущении Соловьева, насыщенном ранее мажорным оптимистическим пафосом, верой в гуманистические потенции человечества, наступил перелом. Возникли сомнения не только в правильности созданной им системы, исповедуемой им идеи «свободной теократии», но и сомнения в том, растет ли действительно в нашем мире «мера добра». Так, в его «Трех разговорах» вырисовывается мрачная картина: мыслителю видится иллюзорность нравственного прогресса человечества, отсутствие благоприятных изменений в универсуме на пути шествия к Богочеловечеству, проявление извращенной сути социальных начал в человеке, а за благостными словесами раскрывается сатанинское торжество зла. И в своих мучительных раздумьях он увидел единственное спасение – в христианской эсхатологии.

Философско-антропологические учения «серебряного века» русской культуры

«Серебряный век» русской культуры, наступивший после «золотого», пушкинского века и охватывающий конец прошлого века и начало нашего столетия, являет собой яркую страницу также и в развитии русской философии. К блистательной плеяде философов этого века принадлежат такие мыслители, как Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, братья С. Н. и Е. Н. Трубецкие, П. А. Флоренский, О. Г. Флоровский, С. Л. Франк, Л. И. Шестов, Г. Г. Шпет и др. Для творчества этих философов была характерна незамкнутость в профессиональных материях, выход в широкую область духовной культуры, прежде всего в литературу и искусство.



Экзистенциальная философия Н. А. Бердяева

Среди названных имен одним из наиболее значительных мыслителей в постижении человека и мира в «его минуты роковые» был Николай Александрович Бердяев, заслуженно снискавший мировую славу.

Он родился в Киеве в 1874 году в дворянско-помещичьей семье и в 1894 году поступил на естественный факультет Киевского университета, но вскоре перевелся на юридический факультет. Однако, окончить университет ему не удалось, ибо в 1897 году он был арестован и исключен из университета за активное участие в марксистском кружке, а впоследствии отправлен в ссылку, где занялся самообразованием. Увлечшись идеалистической философией, он пересмотрел свои прежние марксистские взгляды и приступил к самостоятельному философскому творчеству. В 1922 году Бердяев был выслан на знаменитом «философском пароходе» за пределы СССР и жил сначала в Берлине, а затем в Париже, где в 1948 году скоропостижно скончался за своим письменным столом. В эмиграции Бердяев стал весьма популярным в Западной Европе философом и вошел в историю философской мысли как один из основоположников экзистенциальной философии и персонализма. Его произведения переведены на многие иностранные языки.

Бердяев является одним из наиболее видных и теоретически значительных представителей религиозно-философской антропологии, причем не только в контексте русской философии, но и в мировом масштабе. Будучи философом, приверженным к экзистенциальному способу мышления, он полагал, что философия как учение о духе должна быть сосредоточена на проблемах человеческого существования, ибо именно в духовном опыте человека как личности раскрывается высший смысл бытия, проясняются его онтологические и аксиологические измерения.

Философия Бердяева представляет собой довольно сложное теоретическое образование, поскольку она выстроена не в системном строе мышления, оснащенном традиционным категориальным аппаратом, а развернута в свободной, афористически ёмкой манере экзистенциального способа философствования, нацеленного на вечные смысложизненные вопросы, касающиеся человека, Бога и мира. Это не означает, однако, что бердяевская философия бесструктурна и являет собой поток импровизированных медитаций. Так, её проблемно-теоретическое поле образует совокупность антропологически заряженных фундаментальных идей, а именно: идея свободы как онтологического ядра бытия, идея личности как экзистенциального центра человека, идея творчества как смысла чело-



веческой жизнедеятельности и идея эсхатологического, конечного смысла истории. Впрочем, об этом говорит и сам Бердяев, подчёркивая антропоцентризм своего способа философствования в очерке «Мое философское мирозерцание». «В центре моего философского творчества, – пишет он, – находится проблема человека. Поэтому вся моя философия в высшей степени антропологична. Поставить проблему человека – это значит в то же время поставить проблему свободы, творчества, личности, духа и истории. Поэтому я занимаюсь главным образом философией религии, философией истории, социальной философией и этикой».

Свою философию Бердяев называл дуалистической, подчеркивая, однако, что это – дуализм особого, экзистенциально типа. Данное обстоятельство имеет принципиальное значение для прояснения той картины реальности, которая вырисовывается в бердяевской философии. А картина эта радикально дуалистична, поскольку основана на аксиологически и онтологически заряженном противостоянии двоякого рода начал, в интервале которых движется человеческое существование. Так, с одной стороны, Бердяев вычленяет такие начала, как свобода, дух, ноумен, личность (субъект); с другой стороны, этим началом противопоставляются необходимость, мир, феномен, объект. Важно отметить, что на противостоянии и взаимодействии этих изначальных рядов зиждется и концептуальный каркас бердяевской философии, причем достаточно четко просматривается ее экзистенциальная природа.

Философию Бердяев определяет как науку о духе, раскрывающую смысл человеческого существования через субъект, а не через объект. Именно поэтому она всегда антропологична и антропоцентрична, ибо субъект экзистенциален, тогда как в объекте внутреннее существование скрыто, оно не проясняется. И в этом смысле философия субъективна, а не объективна. Познание, поясняет мыслитель, не есть отражение бытия в познающем субъекте – оно носит творческий характер и являет собой акты постижения смысла. По Бердяеву, объективация, вопреки Гегелю, есть не столько раскрытие духа, сколько его искажение, сокрытие. Философское, метафизическое познание не может абстрагироваться от человеческого существования, и, кроме того, для постижения истины здесь необходима духовная общность людей, тогда как для постижения истин в области конкретных наук (например, физико-математических) она не обязательна. Именно поэтому метафизическое познание вообще не может быть общезначимым в такой же степени, как в области естественнонаучных знаний, имеющих позитивное значение лишь в пределах эмпирического мира. Что же касается истин религиозного порядка, то они требуют



максимума духовной общности между людьми. И хотя эти истины могут казаться самыми субъективными и спорными, но для верующих в них религиозных общин они являются самыми бесспорными и универсальными. «Экзистенциальная философия, – пишет в данной связи Бердяев, – прежде всего определяется экзистенциальностью самого познающего субъекта. Философ экзистенциального типа не объективирует в процессе познания, не противопоставляет объект субъекту. Его философия есть экспрессивность самого субъекта, погруженного в тайну существования. Невозможно экзистенциальное познание объекта. Объект означает исчезновение экзистенциальности».

Исходя из этих предварительных основоположений, Бердяев поясняет, почему в его философии в качестве основной проблемы выступает проблема человека. За человеком и человечеством, заявляет он, должно признать не только земное, но и космическое, вселенское значение. «Человечество, – пишет мыслитель в книге «Философия свободы», – космический центр бытия, высшая точка его подъема, душа мира, которая соборно отпала от Бога и соборно же должна вернуться к Богу, обожиться». Это положение, уходящее в недра бердяевской онтологии, имеет важнейшее мировоззренческое значение, ибо касается онтологического и аксиологического статуса человека (т.е. его положения в бытии), и, кроме того, оно нацелено на прояснение смысла истории, онтологически сопряженной со свободой как глубинной основой человеческого бытия.

Человек мыслится у Бердяева как существо, сотворенное по образу и подобию Бога, но вместе с тем существо природное, ограниченное. Человек отмечен двойственностью и отражает в себе мир высший и мир низший, являясь, таким образом, точкой пересечения двух миров. Он есть существо духовное и физическое, плотское. «В качестве существа плотского он связан со всем круговоротом мировой жизни, как существо духовное он связан с миром духовным и с Богом».

Свою философию Бердяев называл «философией свободы», означающей «состояние философствующего субъекта», исходящего не из необходимости, а из пребывания в свободе, положенного в основу интуитивной философии, способной соприкоснуться с экзистенциальными истинами, данными в мистическом восприятии. «Свободу, – писал мыслитель, – нельзя ни из чего вывести, в ней можно лишь изначально пребывать». Именно в свободу, это безосновное и безначальное лоно бытия, являющее собой иррациональную бездну, погружено человеческое существование с его неисследуемыми, непостижимыми тайнами и загадками.

Далее Бердяев полагает, что человеческая иррациональная свобода коренится в «ничто», из которого Бог создал мир. Это «ничто» не



есть, однако, пустота, а представляет собой некое первичное состояние, предшествующее Богу и миру и являющее собой первичный хаос. Развернутая здесь онтологическая картина восходит к концепции немецкого философа-мистика Я. Бёме, обозначавшего первичный хаос термином «*Ungrund*» (безосновное), и используется в бердяевской философии свободы. Мыслитель пишет: «Из божественного Ничто, или из *Ungrund*, рождается Святая Троица, Бог-Творец. С этой точки зрения можно сказать, что свобода не создается Богом: она коренится в Ничто, в *Ungrund*, извечно. Противоположность между Богом-Творцом и свободой является вторичной; в предмирном акте божественного Ничто эта противоположность выходит за пределы, так как и Бог и свобода выступают из *Ungrund*. Бог-Создатель не может быть ответственным за свободу, которая породила зло». Отсюда явствует, что Бог-Создатель обладает всемогуществом над сотворенным миром, но у него нет власти над несотворенной свободой, которая первична по отношению к добру и злу.

Таким образом, развернутая Бердяевым онтология, в которой отрицается сама возможность возложения вины на Бога за пульсирующее в мире зло, является теодицеей (богооправданием). Тем не менее вопрос, откуда в мире зло и кто несет за это ответственность, требует решения. У Бердяева этот вопрос как бы выпадает из области традиционной онтологии и переключается в плоскость метафизической антропологии, именуемой в экзистенциальной философии онтологией человека.

Решение этого вопроса рельефно просматривается на материале книги Бердяева «Мирозерцание Достоевского», в центре которой находятся проблемы человеческой природы и мирового зла, высвечиваются тайны иррациональной свободы человека и его страданий на путях этой свободы, переходящей в своеволие.

Достоевский предстает здесь как гениальный диалектик, величайший русский метафизик и антрополог, сумевший заглянуть в сокровенную суть человеческого существования так глубоко, как никто до него и после него. Достоевский показан в бердяевском исследовании как величайший экспериментатор человеческой природы: он открыл новую науку о человеке и применил в ней новый, небывалый метод, изображая человека отпущенным на свободу, вышедшим из-под закона, выпавшим из космического порядка. Человеческая природа раскрывается в творчестве писателя во всей своей полярности, антиномичности и иррациональности. Ему удалось, как показывает Бердяев, с неопровержимой достоверностью показать, что у человека есть неистребимая потребность в иррациональном – в безумной свободе и в страданиях.



В бердяевской интерпретации такой показ человека в измерениях иррациональной свободы таит в себе, однако, роковую диалектику и трагедию самой идеи свободы, что связано с антиномически глубинным пониманием зла в антропологии Достоевского. Акцентируя персоналистские интонации, присущие этой антропологии, Бердяев полагает, что зло здесь «есть знак того, что есть внутренняя глубина в человеке. Зло связано с личностью, только личность может творить зло и отвечать на зло... Природа зла внутренняя, метафизическая, а не внешняя, социальная. Человек как существо свободное, ответственен за зло. Зло должно быть изобличено в своем ничтожестве и должно сгореть. И Достоевский пламенно изобличает и сжигает зло». Но это, по Бердяеву, лишь одна сторона отношения Достоевского к злу. Другую сторону мыслитель видит в том, что зло показано в творчестве Достоевского также как «путь человека, трагический путь свободного, опыт, который может обогатить человека, возвести его на высшую ступень».

Очень существенной для антропологии Достоевского, как считает Бердяев, является мысль, что «лишь через страдание подымается человек ввысь. Страдание есть показатель глубины». Проницательно и психологически верно Бердяев вскрывает и тайну парадоксальной потребности человека в бунтарской свободе и сопутствующих ей страданиях, выявленную в антропологических экспериментах Достоевского. Суть этой тайны укоренена в стремлении человека таким странным и жестоким образом продемонстрировать свою индивидуальность, утвердить автономию своей личности, показать – даже ценой страданий, – что человек не просто «штифтик» в общественном механизме и в порядке бытия.

Книга Бердяева, посвященная антропологической проблематике в творчестве Достоевского, обретает особую значимость не только потому, что являет собой исследование, пожалуй, конгениальное творчеству великого писателя, но также и потому что в ней ощущается духовная близость к идеям Достоевского, сквозь призму исследования которых просвечивается философское *credo* самого автора. Это касается не только проблемы свободы, но также проблемы личности и историософских идей Бердяева. Мыслитель писал, что Достоевский имел определяющее значение в его духовной жизни. А направленность его сознания на философские проблемы была связана с «проклятыми вопросами» Достоевского, причем в свою книгу о великом писателе он вложил очень многое из собственного мирозерцания.

На передний план в философии Бердяева выдвигается также идея личности, полагаемой как фундаментальная онтологическая категория.



Истоки личности не в плоти, а в духе, поэтому она способна совершать прорывы духа в вещественную оболочку мира. «Когда личность вступает в мир, единственная и неповторимая личность, – заявляет мыслитель, – то мировой процесс прерывается и принужден изменить свой ход, хотя бы внешне это не было заметно».

Проблема личности рассматривается у Бердяева в координатах экзистенциального способа философствования, а сама личность полагается как экзистенциальный центр человека, в котором сосредоточены его духовно-душевные внутренние способности и силы, центр, посредством которого осуществляется связь человека с миром творчества и свободы. Как экзистенциальный центр человека личность есть спиритуалистическая, а не естественная категория и являет собой не субстанцию, а совокупность творческих актов. Будучи духом, она не есть, однако, нечто самодовлеющее, эгоцентрическое, ибо способна переходить в другое, то есть в Ты, реализуя при этом конкретное, всеобщее содержание, отличное от абстрактных универсалий (всеобщностей). В силу своей неисчерпаемости личность выступает и как регулятивная идея, поэтому Бердяев видит в ней «задание, идеал человека».

Вместе с тем в человеческой личности присутствует бессознательная основа, являющаяся космической и теллургической и состоящая из определенных элементов. Человеческое тело, по Бердяеву, является «вечным аспектом» личности, ее «формой» и подчиняется духовному началу. Далее личность не может рассматриваться как часть целого, и, стало быть, она не есть часть общества. Напротив, общество есть только часть или аспект личности, подобно тому, как личность не есть часть космоса, ибо космос являет собой часть человеческой личности. И поскольку личность есть категория духовно-религиозная, ее следует отличать от индивида как категории натуралистически-биологического порядка. Индивид есть часть природы и общества, личность же – это единое целое, соотносительное обществу, природе и Богу.

Отношения между личностью и обществом Бердяев считает одной из фундаментальных и наиболее острых проблем. Общество, по Бердяеву, не есть организм, ибо представляет собой объективацию человеческих отношений, игнорирующую личность. «Для социологии, – заявляет философ, – личность есть ничтожная часть, подчиненная обществу. Для экзистенциальной философии, напротив, общество является частью личности, ее социальной стороной. В личности имеется духовное начало, глубина... На этом основаны права и свободы человека. Таким образом существуют пределы власти общества над человеком».



Исходя из экзистенциальных позиций, Бердяев отвергает объективированное общество, возникшее в результате разобщенности людей и их греховного эгоцентризма. Такое общество подавляет личность, ибо в нём между людьми существует только коммуникация, но нет общения. Объективированному обществу мыслитель противопоставляет высший, по его мнению, тип общественных связей, основанный на соборности и объединении персоналистически осмысленной идеи личности и принципа общности. Такой тип общества, полагает он, можно было бы назвать персоналистическим социализмом, ибо в нём «за каждой человеческой личностью была бы признана абсолютная ценность и высочайшее достоинство существа, призванного к вечной жизни, тогда как социальная организация обеспечивала бы каждому возможность полноты жизни». Вырисовывая контуры общества нового, социалистического типа, мыслитель призывает к сочетанию в структуре этого общества принципа духовного аристократизма с демократическим и социалистическим принципом справедливости и братского сотрудничества.

Однако на изложенные уже положения зачастую накладываются противоположные высказывания, отмеченные нарочитым парадоксализмом рефлексии, что, по мнению Бердяева, изначально сопутствует экзистенциальному способу философствования. Тем не менее, главным источником теоретических сбоев в бердяевской философии является всё та же насыщенная парадоксами идея иррациональной свободы. И это даёт о себе знать в концептуализации онтологического и аксиологического статуса человека, развернутой в этических и историософских построениях мыслителя. В частности, он пытался оправдать человека как существо, сочетающее в себе божественное и человеческое, будучи при этом глубоко убежденным в божественности человеческого творческого начала. Это нашло яркое выражение в его книге «Смысл творчества. Опыт оправдания человека», в которой он заявляет следующее: «Много писали оправданий Бога, теодицей. Но наступила пора писать оправдание человека – антроподицею. Быть может, антроподицея есть путь к теодицее». Однако важно отметить, что акценты в бердяевской антроподицее смещены с греховности, падшести человека, этих традиционно христианских характеристик человеческой природы, на возвеличивание и прославление человека как творческой, прометеевской силы мироздания, продолжающей дело божественного творения. Человек, говорит Бердяев, был призван Богом к творческой работе в мире, и в своем истоке свободное творчество «есть победа над тяжестью мира».

Тем не менее, остается неясным, каково соотношение добра и зла в творчестве человека в контексте бердяевской антроподицеи. Ведь мыслитель в



своей антропологии ориентировался не только на христианское вероучение, но и на немецких философов, поэтому человек мыслится у него также как обитатель трёх миров – божественного, природного и «меонического» (дьявольского). А это уже может служить показателем присутствия зла в человеке. Небезынтересно, что в работе «О назначении человека» (имеющей подзаголовок «Опыт парадоксальной этики») Бердяев заявляет, что в своих этических построениях он не нуждается в различении добра и зла, ибо свобода есть для него не выбор между добром и злом, а творческая сила, проявляющаяся в созидании добра и зла.

Эти пассажи выглядят довольно странно, ибо в истории этических учений нет таких форм, в которых отсутствовало бы различие добра и зла. В дальнейшем, однако, проясняется, что таким образом Бердяев хочет защитить человека и его ничем не ограниченную свободу, ибо человеку отовсюду угрожает рабство. Поэтому, рассматривая человека как творца самого себя, мыслитель стремится изжить в человеке «рабье» сознание, препятствовать объективации его творчества, т. е. противопоставления субъекту, личности. Но поскольку, согласно принципам христианства, неограниченная свобода человеку как существу несовершенному не дана, Бердяев подвергает критике христианскую этику, которая всегда учила о падении и немощи человека и не сумела полностью раскрыть тайны его божественной природы. И развертывая свою антропологию далее, он пишет: «Человек не простая тварь в ряду других тварей потому, что он Предвечный и Единородный Сын Божий». Более того, в своей антропологии философ делает дерзкий выпад в отношении христианства, заявляя, что «идея грехопадения, в сущности, есть гордая идея и через неё человек выходит из состояния унижения».

Бердяева часто упрекали в том, что он не видит истоков зла в человеке и завышает оценки человеческой природы. Думается, что такой вывод слишком однозначен, ибо проблема зла в человеке занимает в его трудах далеко не последнее место. Так, например, в книге «Самопознание» он говорит, что греховность «составляет собой общий факт человеческой жизни». Интенции мыслителя были нацелены скорее на то, чтобы не сваливать вину за мировое зло только на человека. Подобно Августину его мучила мысль: а не может ли быть и так, что зло в мире «по божественному порядку господствует»?

Бердяева упрекали и за экстремистские выпады против государственности, высказывания против формализма буржуазной демократии и «технизированного мира». Действительно, будучи максималистом, он зачастую выступал как мыслитель проницательный, чутко и глубоко



улавливающий состояние современного мира. И если он требовал упразднения государственности, то нельзя забывать, что прежде всего он был беспощадным противником тоталитарных режимов, обличая их за бесчеловечность и насаждение «рабьего сознания» в людях. Кроме того, по этому поводу он говорил: «Эмоционально у меня есть анархические симпатии. Но это не значит, что я отрицаю необходимость государственных функций в жизни народов».

Тревожные, драматические интонации просматриваются и в бердяевских размышлениях о головокружительном развитии технической цивилизации в современном мире, в условиях которой человек выпадает из органического ритма жизни. Теллургическому периоду его существования приходит конец, наступает период властвования машин, технических структур и организаций. «Человек, – констатирует мыслитель, – живёт уже не среди тел неорганических и органических, а среди тел организованных». Вхождение машины в историю, по Бердяеву, означает кризис рода человеческого. Суть кризиса состоит в том, что машина «не только по видимости покоряет человеку природные стихии, но она также покоряет и самого человека; она не только в чём-то освобождает, но и по-новому порабощает его».

Всемирная история, по мнению Бердяева, эсхатологична, ибо смысл историчности предполагает конечность истории и вместе с тем видение иного, последнего, эсхатологического мира, противостоящего миру отчуждённости, безличности и вражды. Этот мир связан также с появлением обновлённого, эсхатологического христианства.

Итак, Бердяев является крупным и весьма оригинальным представителем русской философии XX века, внесшим огромный творческий вклад в философскую антропологию. Его духовные искания насыщены мучительными, эмоционально взволнованными и глубоко личностными раздумьями о состоянии современного мира и человека. «Меня интересовало, – писал он, – выразить себя и крикнуть миру то, что мне открывает внутренний голос».

Теория реальности у С. Л. Франка

Выдающийся русский философ Семен Людвигович Франк (1877–1950), характеризуя свою философию, определил ее как «христианский реализм», в котором «признание божественной основы и ценности всего конкретно сущего сочетается с усмотрением рокового несовершенства его



эмпирического состояния и ограниченной возможности чисто человеческого совершенствования». Это признание звучит как идейно-мировоззренческий лейтмотив, в значительной мере определяющий философское творчество мыслителя. В целом же философия Франка характеризуется тяготением к созданию стройной системы взглядов, глубиной рефлексии, теоретической продуманностью построений и высоким мастерством литературного слога.

Он родился в Москве в семье врача; учился на юридическом факультете Московского университета, но вскоре был арестован за участие в марксистском кружке и был вынужден продолжать свое образование в Берлине и Гейдельберге, где занимался философией и социологией. Впоследствии Франк стал профессором философии Саратовского, а затем Московского университета. В 1915 году он защитил магистерскую диссертацию («Предмет знания») по философии. В 1922 году был выслан из Советской России и жил в Берлине, где читал лекции по истории русской философии и литературы. Впоследствии философ обосновался во Франции, откуда переехал в Лондон, где и скончался.

В центре философских построений Франка находится проблема человека, исходя из которой, он осмысливает и сущность христианства, – оно видится ему «не как религия поклонения Богу в его противоположности человеку», а как «религия человечности», что и должно приводить к подлинному пониманию человеческой личности, к постижению духовного единства человечества и способствовать преодолению зла.

Метафизика Франка развёртывается в мыслительных координатах идеи всеединства. «На свете нет ничего и немислимо ничего, – пишет он в книге «Непостижимое», – что могло бы быть само по себе без всякой связи с чем-либо иным». Само понятие Бога, доказывает мыслитель, не составляет здесь исключения, поскольку Бог полагается как первооснова, творец и вседержитель мира. Он являет собой Абсолютное бытие. Но если мир по сравнению с суверенным Богом есть нечто совсем иное, то сама эта инакость исходит из Бога и основана в нём. А это означает, что «если мир не есть нечто однородное и тождественное Богу, то он не может быть и чем-то совершенно иным и чужеродным Богу». Поэтому «наряду с Богочеловечеством, нераздельно неслиянным единством нам открывается и богомерность, теокосмизм мира».

Всеединство в интерпретации Франка по характеру соотношения Бога и мира является софиологической конструкцией, специфика которой заключается в том, что диалектика всеединства разворачивается здесь с помощью изобретенного Франком понятия «металогичности», связующего



разнообразные сферы бытия в единое живое целое. Металогичность такого единства означает, что оно принадлежит к сфере единств, не подчиненных логическому закону противоречия и относится к сфере единств, основанных на принципе, сформулированном Николаем Кузанским как *coincidentia oppositorum* (совпадение противоположностей). Поэтому, поясняет Франк, закон противоречия здесь не нарушается – к такому единству он просто не применим.

Свою позицию, касающуюся соотношения Бога и мира, Франк иногда называл панентеизмом. Думается, однако, что решение этого вопроса Франком не вписывается в рамки панентеизма, согласно которому мир пребывает в Боге, тогда как у Франка Бог не есть некое целое по отношению к миру, так же как и мир не есть часть Бога. Мир мыслится у него как «иное» Бога, в котором через человека проявляется божественное начало, придающее ему смысл, значение и ценность.

Будучи приверженцем христианского реализма, Франк создал оригинальную теорию реальности, насыщенную антропологическим содержанием и в ряде аспектов не потерявшую своей философской значимости до настоящего времени. В ней в иерархическом порядке вычленены отдельные слои, или сферы, бытия, важнейшими из которых являются: эмпирическая реальность, сфера идеального и сфера внутреннего мира человека.

Первый, поверхностный слой – это эмпирическая, материальная реальность, существующая независимо от нас, мир, в котором мы живем и частью которого являемся. Более глубинный слой реальности являет собой сфера идеального, к которой относится то, что образует «форму» предметов и находит выражение в их структуре, в числовых и геометрических характеристиках, в логической подчиненности и соподчиненности, в причинно-следственных, качественных и количественных отношениях, в соотношениях противоречия и единства, целого и части, в явлениях добра и красоты вообще.

В идеальном слое бытия Франк выделяет два аспекта: объект, входящий в состав объективной действительности, и аспект идеального, существующего независимо от того, что имеется в составе объективной действительности. И в этом своем качестве идеальные содержания не входят как таковые в состав определенного мира. «Царство идей, – полагает Франк, – может мыслиться «сущим само по себе» не иначе, как на основе металогического единства, т. е. единства слитного, неопределенного, выходящего за пределы всякой определенности и всякого ограничения и, в конечном счете, переливающегося за пределы самого себя». Идеи как универсальный элемент мыслительной деятельности человека находятся



в более интимном отношении к его внутреннему миру, также как и всеобщие категории культуры, которые, будучи продуктом социально-исторического развития человечества, представляют собой наиндивидуальные феномены, лежащие в основе формирования личностного сознания. Но под идеей, уточняет философ, следует разуметь не только чисто интеллектуальное содержание человеческого сознания, а также живую идею, нравственное начало; не только сознание, но и чувство должного. «Из всех сил, – пишет Франк в работе «Духовные основы общества», – движущих общественной жизнью, наиболее могущественной и в конечном счете всегда побеждающей оказывается сила нравственной идеи, поскольку она есть вместе с тем нравственная воля, могучий импульс осуществить то, что воспринимается как правда в общественных отношениях». В общественной жизни, по мнению Франка, идеальное и эмпирически-реальное не противостоят друг другу как отдельные инстанции, а неразрывно слиты, ибо отношение между ними аналогично отношению между душой и телом в человеческом организме.

Третья сфера реальности – это внутренний мир человека, являющий собой реальность, не менее осязаемую и мощную, нежели эмпирический материальный мир. Во внутреннем мире человека далеко не все благобно и ясно. Бывает, что в нем бушуют темные силы зла и низменных страстей, способные при выходе на арену общественной жизни стать более грозными, разрушительными и бесчеловечными, нежели стихийные силы ураганов и землетрясений. Во внутреннем мире человека Франк вычленяет переживания и чувства двойного рода – душевные, периферические, связанные с физическими ощущениями удовольствия, горечи, страха и т. д. и переживания духовные, глубинные, более полно выражающие природу человека как духовного существа. Духовная реальность имеет глубоко интимный, личностный характер и являет собой наиболее подлинное содержание человеческого Я. Эта реальность осуществляется и проявляется в актах трансцендирования, т. е. выхождения человека за пределы предметного и эмпирического мира и означает соприкосновение с высшим, трансрациональным (сверхрациональным) началом. При этом связь «душевного» как непосредственного самобытия с «духом» проходит через ту центральную в пределах непосредственного самобытия инстанцию, которую мы называем самостью. В самости мыслитель обнаруживает двойственность: она есть некая «дверь для духа» и вместе с тем выступает в качестве «носителя, представителя и уполномоченного духа». На этом, полагает Франк, «основана таинственная способность человека – единственный подлинный признак, отличающий его от животного, – соблюдать



дистанцию в отношении самого себя, привлекать свою собственную самость на суд высшей инстанции, оценивать и судить её и все её цели».

Таким образом, трансцендирование сопрягает в себе два полюса: выхождение «вовне» и выхождение «вовнутрь», ибо оказывается, что трансцендирование в глубины своего личностного бытия есть одновременно движение в область духа. На этом основании Франк формулирует и свое определение личности: «Эта высшая духовная «самость» и конституирует то, что мы называем личностью. Личность есть самость, как она стоит перед лицом высших, духовных объективно значимых сил и вместе с тем проникнута ими и их представляет». Трансцендирование есть выхождение за пределы самостного Я и пролагает также путь к Ты и Мы, к межличностным и общечеловеческим связям, оно служит также своеобразной «пружиной», способствующей возникновению феномена любви, являющейся наиболее глубоким и полным выражением человеческого духа, стимулом, побуждающим к бесконечно богатому и содержательному бытию. «Я «расцветаю», «обогащаюсь», «углубляюсь», впервые начинаю вообще быть, когда я люблю... – писал Франк. – В этом и заключается чудо или таинство любви».

В учении Франка постулируется положение о встрече Я, Ты и Мы. При этом речь идёт о специфическом Мы, охватывающем нас в сверхвременном единстве, причём социально-исторический мир предстает как некий космический элемент в составе человеческой жизни. Вместе с тем определённое Мы видится как единство рационального и иррационального, т. е. оно трансрационально. Это и есть соборность, заложенная в основу человеческих общностей. Соборность есть целое, частью которого является личность, и оно само есть живая личность, единый соборный организм. Соборность есть сверхвременное единство, единый великий вселенский человек, как утверждал Паскаль.

Франк полагал, что при сопоставлении материальной реальности с реальностью духовной обнаруживается, что подлинно «первичной» является духовная реальность в особом, аксиологическом смысле, а именно: в смысле своей значимости для человека и человечества. Ведь от эмпирической реальности можно отрешиться, утратить связь с нею, но от реальности своего внутреннего мира, от своей души уйти никуда невозможно. Поэтому, говорит Франк, душевно-духовная сфера бытия есть для человека достояние, более нужное и ценное, чем все богатства и царства мира. Разумеется, внешний, эмпирический мир нам безразличен, но он относительно второстепенный спутник подлинно человеческого существования. Там, где имеет место отсутствие душевно-духовной реаль-



ности, внутренней жизни личности, происходит обезличение человека, наступает духовный паралич. Таким образом, «первичность» духовной реальности полагается не как порождаемость материального духовным, а как приоритетность для человека его духовного начала в сравнении с эмпирией материального бытия. Также и сфера идеального трактуется у Франка как основа эмпирической сферы в том смысле, что она не подчинена временной конечности и являет собой сверхвременные вечные начала и феномены.

В данном контексте Франк рассматривает и проблему бытия Бога, признавая его наивысшим родом особой реальности. Бог не есть бытие, существующее наряду с предметным, материальным и душевным мирами. Не есть он и какое-то особое существо. У Франка Божество мыслится как первооснова, Абсолютная ценность, придающая человеку и миру значение и смысл, как исконное единство ценности и реальности, абсолютной истины и блага. «В отношении этой глубинной, всеобъемлющей, сверхбытийственной реальности, – пишет Франк в книге «Непостижимое», – которая открылась нам в лице первоосновы, все слова, все именованья суть действительно, как говорил Фауст, – звук и дым». Осознавая неадекватность всякого словесного обозначения Божественного начала, мыслитель считает наиболее целесообразным говорить о Боге как о Святыне. В данной связи важнейшей философско-антропологической идеей Франка является положение о том, что не только человек рождается в Боге, но и Бог рождается в человеке.

Предметный слой реальности, по мысли Франка, познается эмпирическим путем, на котором чувственное познание связано с рациональным. Знание, заключенное в понятиях раскрывает также идеальные образования и, таким образом, приобщает человека к вневременному бытию. Однако рациональное знание является вторичным по отношению к переживаниям, данным в непосредственной интуиции, постигающей предметы в их цельности, непосредственности и человеческой значимости.

Говоря об интуиции, Франк прежде всего имел в виду переживания, данные во внутреннем опыте личности. Переживать, чувствовать, пояснял он, это значит не только «быть в себе», но также и «быть во всём», быть изнутри погруженным в бесконечный океан самого бытия. В переживании он видел нечто более значительное, нежели субъективное душевное состояние, ибо пережить, прочувствовать что-либо – значит познать объект изнутри в эмоциональном общении с ним. «Мы познаем в той мере, в какой любим», – говорил Франк. Таким образом, интуитивное познание есть не только душевное, но и духовное состояние, действующее из глубины



открывающейся реальности. В интуитивном познании стихия жизни как бы сама открывает нам себя. Поэтому эмпирически-чувственное и интеллектуально-предметное знания по своей значимости для человека уступают цельному, живому знанию, данному в интуитивных актах, в которых соучаствует всё внутреннее существо человека.

Однако в философии Франка интуитивное познание не объявляется всесильным в постижении человека, Бога и мира – за его пределами остается огромная сфера непостижимого. И не случайно основной и наиболее значительный труд этого мыслителя носит название «Непостижимое». К сфере непостижимого Франк, прежде всего, относит феномен зла, перед осмыслением которого его размышления как бы остановились в безмолвии и тревоге. «Мы стоим здесь, – пишет он, – перед абсолютно неразрешимой тайной... Объяснить зло значило бы обосновать и тем самым оправдать зло». Теодицея (богооправдание), полагал он, в рациональной форме невозможно не только логически, но также «морально и духовно недопустима». Принять библейско-христианскую идею о первородном грехе Франк решительно отказался, но всё же попытался допустить, исходя из метафизики всеединства, возможность, что «зло зарождается из несказанной бездны, которая лежит как бы на пороге между Богом и не-Богом». Но и это, как признавал и сам мыслитель, отнюдь не проясняет тайны мирового зла.

Франк не был приверженцем революционных идей и порывов, не питал утопических иллюзий установлениярая на земле. Призывая к творческому преображению жизни, к «реформе бытия», он считал, что задача общества и государства состоит не в том, чтобы попытаться установить рай на земле, а чтобы не допустить на ней ада.

Теодицея и антроподицея в философии П. А. Флоренского

Среди философов, теоретическое наследие которых принадлежит «Серебряному Веку» русской культуры, следует особо выделить Павла Александровича Флоренского (1882–1937). Духовный облик и творчество его озарены немеркнущим светом искания великих истин человеческого существования, мощным стремлением к раскрытию метафизических тайн мира, пронзительным пафосом цельного философского умозрения и тонченно-эстетического восприятия действительности.

П. А. Флоренский родился в местечке Евлах (Азербайджан) в семье инженера. Его отец происходил из русского духовенства, а мать принад-



лежала к знатной армяно-грузинской семье. После окончания гимназии в Тифлисе Флоренский поступил на физико-математический факультет Московского университета. Его блистательные научные дарования были замечены уже в студенческие годы, и по окончании курса ему было предложено остаться в университете для подготовки к ученому званию в области математики. Однако эти предложения он отклонил, поскольку увлекся философией и богословием. Вскоре он поступил в Московскую духовную академию и, окончив ее защитой магистерской диссертации, стал преподавателем философских дисциплин.

Становление Флоренского как религиозного философа началось уже в годы его «второго студенчества». Именно в эти годы созрел замысел его фундаментального труда «Столп и утверждение Истины», опубликованного в 1914 году. Но уже в 1911 году он принял сан священника. Тем не менее, его интересы к математике и физике, лингвистике и теории искусств не иссякли.

Флоренский – это не только крупный ученый и изобретатель, создавший капитальные труды в области точных наук, но и человек энциклопедических знаний и умений. Творческая мысль этого философа во многом далеко выходила за пределы своего времени. Так, он предвосхитил некоторые идеи кибернетики, лингвистики, семиотики и теории символов. Кроме того, он был полиглотом, тяготевшим к эстетизированию действительности, был одержим порывами к творческим деяниям в области поэзии и живописи. Не случайно его называли «Русским Леонардо да Винчи». Словом, Флоренский – это универсально одаренная личность, отмеченная титанической духовностью, высоко нравственным строем мыслей, чувств и поступков.

Начиная с 1921 года некоторое время Флоренский работал в системе ГОЭЛРО и во ВХУТЕМАСе в должности профессора, где он создал труд о диэлектриках и теорию обратной перспективы. Но жизненный путь мыслителя закончился трагически: в 1933 году, когда в СССР начались гонения на церковь, он не отрекся от священства и обвиненный во враждебности к социалистическому строю, был арестован и осужден на 10 лет заключения, а в декабре 1937 года расстрелян.

Характеризуя личность Флоренского и высоты его духовно-нравственного житнетворчества, близкий его друг и последователь С. Н. Булгаков писал: «Самое основное впечатление от отца Павла было впечатление силы, себя знающей и собою владеющей».

Думается, что вся гамма талантов, присущих Флоренскому, нашла наиболее целостное и яркое выражение в его философском творчестве, где его



мощный интеллект мыслителя сочетался с эмоционально-чувственным, насыщенным экзистенциальными интонациями, каким-то особым «зрением» в восприятии глубинных тайн бытия.

Как отмечает историк русской философии В. В. Зеньковский, глубочайшая ученость Флоренского парадоксально сочеталась у него с тяготением к магизму и оккультизму. Кроме того, метафизические медитации этого мыслителя были исполнены до предела напряженным богоискательством – чертой, в высшей мере присущей русской практике философствования.

Данное обстоятельство имеет особое значение для понимания философии Флоренского, ибо определило тот факт, что теоретические центры этой философии расположены в мыслительных координатах теодицеи (богооправдания) и антроподицеи (оправдания человека и тварного бытия).

Знаменитый труд Флоренского «Столп и утверждение Истины», посвященный главным образом теодицее, исходит из напряженной ситуации поисков Истины, взыскуемой человеком, сознание которого начинает прозревать, что оно находится в состоянии падшего, греховного бытия, «в оковах рабства у всепожирающей смерти», в «болоте относительности и условности». Воспринимая эти свойства падшего мира и потрясаясь этим, наше сознание устремляется к поискам спасительного выхода из подавляющего его духовно-нравственного мрака и становится способным тяготеть к обретению надежных и абсолютных устоев подлинно человеческого бытия, основанных на безусловно достоверном высшем начале – Истине.

Напряженные поиски Истины в философии Флоренского идут через сомнения и насыщены, по его выражению, «скептическим адом», живо напоминая тревожные размышления Паскаля, касающиеся проблемы существования Бога. «Я не знаю, есть ли Истина, – писал Флоренский, – но всем нутром чую, что не могу без неё».

Проблемы, связанные с мыслительными путями, ведущими к обнаружению Истины, разворачиваются преимущественно в контекстах теодицеи, которой посвящен главный труд мыслителя. Однако теодицея и антроподицея не являются обособленными частями философии Флоренского. Соприкасаясь друг с другом, они образуют ее центральное проблемно-тематическое ядро и, выступая в различных концептуальных срезах, функционируют как моменты, скрепляющие отдельные теоретические пласты этой философии, причем главным таким моментом здесь выступает антропологическая тематика.

Движение к обретению Истины проходит три фазы. На первой выявляются критерии истинности и её достоверности, рассматриваемые в ограниченной сфере формально-логического мышления, в рамках рацио-



нальной философии, словом, движение идёт в координатах рассудочного анализа. И неудивительно, заявляет Флоренский, что итоги поисков негативны, ибо в этой плоской сфере нет и быть не может искомым абсолютных начал. Истина здесь вообще не обитает.

Вторая фаза поисков истины именуется «пробабилизмом» т. е. приближением к раскрытию сущностных измерений истины. Флоренский констатирует, что по своей внутренней природе Истина не может быть одномерно дискурсивной, то есть схватываемой средствами формально-логического мышления. И если Истина существует, то она есть «интуиция-дискурсия» и, таким образом, является «совпадением противоположностей». А это означает антиномизм разума – наличие в нём непримиримых противоречий.

Чтобы ответить на знаменитый вопрос Понтия Пилата, что есть Истина и существует ли она, полагает далее Флоренский, необходимо «выйти из области понятий в сферу живого опыта» – опыта религиозной, духовной практики. И тогда воссияет идея Истины, станет неопровержимо ясным, что Истина реально существует, бытийствует и опознается как христианская Троица. Но восхождение человека к утверждению Истины предполагает огромное духовно-нравственное усилие, оно требует напряжения всех духовно-умственных потенций, самоотречения и самообладания, такого состояния души и сердца, которое делает возможным «подвиг веры». Все это, однако, полагает мыслитель, лишь предпосылки религиозного акта, ибо глубинная его суть есть любовь, которая в философии Флоренского истолковывается онтологически – как «благодатная единящая сила бытия».

Таковы главные очертания созданной Флоренским теодицеи, в контексте которой особую теоретическую значимость обретают гносеологические проблемы, связанные с выдвинутой мыслителем идеей антиномичности разума. Само понятие разума, полагает он, антиномично, ибо выступает не только в форме рассудка, но и в форме умозрения. Стало быть, оно динамично, а не статично. Кроме того, антиномичности разума противостоит извечная потребность человека обрести всецелую и вековечную Истину, заглянуть в экзистенциальные тайны вещей и явлений, понять, что есть Бог, человек и – в особенности – «горний мир». Но поскольку бытие Истины, подчеркивает философ, не выводимо логически, а лишь показуемо в живом опыте веры, то органом восприятия и утверждения «горнего мира» является человеческое сердце. «Разум расцветает и благоухает», – говорит философ, – только тогда, когда оно вступает в действие. Ибо только освобождаясь от раздробленности и



неверия через просветление сердца, мы «научаемся зреть корни твари в Боге», поскольку тогда исчезают границы разума и веры, сливаясь воедино. И только так открывается возможность преодоления антиномизмов разума и приобщения к тайне всеединства. В философии Флоренского разум полагается как умозрение, открывающее человеку недра вещей и определяемое актом веры, «который зависит от целостной системы нашей мысли, или точнее и глубже, – от строения нашего духа, определяемого в последней глубине Абсолютного реальностью, на которую ориентируется наше сердце».

Для философского миропонимания и жизнетворчества Флоренского характерна многогранность отношения к эмоционально-чувственным началам, особая утонченность красок в восприятии человека и мира, заряженная уникальным двуединством духовно-чувственного «зрения». Это имело основополагающее значение для становления самого типа рефлексии мыслителя, способа его философствования и наиболее отчетливо выступает в период его зрелого творчества, ознаменованного созданием «конкретной метафизики».

После завершения труда, посвященного теодицее, главной темой которого были поиски возможностей утверждения истины, Флоренский приступил к созданию антроподицеи, связанной с выяснением двух важнейших проблем его философии, требующих ответов на глубоко волнующие его вопросы – что есть горнее, не ущербное бытие и каковы связи земного, ущербного бытия с горним, запредельным бытием. И, чтобы ответить на эти вопросы, философ выстроил оригинальную теорию реальности, основанную на понятии символа. Суть этой теории заключена в положении, гласящем, что две неразрывные реальности – внешнее и внутреннее, чувственное и духовное, явление и смысл, феномен и ноумен, – несмотря на свойственную им противоположность, находятся в сущностных, онтологически неразрывных взаимосвязях. Насколько важной и таинственно-притягательной была для Флоренского эта проблема, явствует из следующего его признания: «Всю жизнь я думал, в сущности, об одном: об отношении явления к ноумену».

Основные постулаты конкретной метафизики гласят, что вообще не существует никаких чисто эмпирических явлений, так же как нет чисто отвлеченных, абстрактных идей, ибо духовные, сущностные предметы находят свое зримое выражение в чувственном. Феномен и ноумен являют собой неразрывное и зримое выражение друг друга, образуя, таким образом, конкретное двуединство, которое, по определению Флоренского, и есть символ. Стало быть, конкретность являет собой не что иное, как символич-



ность. Следовательно, реальность, рассматриваемая во всей своей целокупности, представляет собой специфическое бытие, состоящее из символов. При этом чувственные реальности феноменального порядка являют собой ту сторону бытия, которой соответствуют идеально-смысловые сущностные содержания ноуменального порядка. Таким образом, весь мир есть не что иное, как совокупность феноменально-ноуменальных сторон реальности – таково главное положение конкретной метафизики Флоренского.

Но эти истины открываются в опыте религиозной веры. Именно так нам открывается и существование «горнего мира» как Абсолютного начала бытия. «Наш земной мир, – полагает Флоренский, – есть всегда только текучее, всегда только бывающее и дрожащее полубытие, а за ним... чуткое ухо прозревает иную действительность... Все имеет свое тайное значение, двойное существование и иную заэмпирическую сущность... И перед всеми настежь открываются двери потустороннего».

Наш мир, полагает Флоренский, весьма далек от совершенства и полноты бытия. Это объясняется тем, что в мире существуют градации возможностей проявления и выражения ноуменальных начал в феноменальных формах бытия. Сами модусы символов бывают неоднородны, поскольку чувственные начала, хотя и насыщены духовно-смысловым, однако степени насыщения различны по своей интенсивности и возможности ноуменальной выразительности. Кроме того, есть особая форма духовного зренья, ярко проявляющаяся, например, в иконописи, которая способна давать высокую возможность прозревать духовные сущности. «Икона, – пишет Флоренский в книге «Иконостас», – есть наглядная онтология, и иконопись есть конкретная метафизика бытия».

Антроподицея Флоренского была разработана на основе философского символизма и являет собой ядро конкретной метафизики. Суть этой концепции в том, концептуальное что духовные начала человека рассматриваются не отвлеченными, а воплощенными в явлениях, данными конкретно, т. е. переведенными на «язык» символов. Словом, человек здесь пребывает в реальности, в которой нет ни чистого бытия, ни чистого мышления. В ней есть только два своеобразных полюса, существующих в слитном символическом единстве. Феноменальный и ноуменальный миры совмещаются, образуя один, но парадоксально двойной мир – физический и духовный. В физическом мире предметы видятся посредством физического зренья как явления, тогда как в ноуменальном мире мы созерцаем с помощью духовного зренья.

Флоренский полагает, что явления способны совершенно выражать ноуменальные начала только в совершенном, безгрешном бытии. Но в



нашем падшем мире, пораженном грехом и смертью, происходит разрушение символической архитектоники реальности, нарушается должное соотношение феноменального и ноуменального миров. Поэтому в явлениях падшего мира ноумены получают искаженное, ущербное выражение. Кроме того, здесь имеет место искажение человеческого восприятия ноуменальной реальности, ибо оно поражено способностью терять свои духовные возможности и силы. Поэтому человек должен стремиться воссоздавать, укреплять свою духовность с помощью религиозной практики, прибегая к церковному культу, освящающему и восстанавливающему заложенные в нём духовные силы. Человек должен быть устремлённым к исцелению от своих грехов и своей падшести, освободиться от присущей ему онтологической порчи, осознать свое предданное священное всеединство с реальностями высшего порядка.

В конкретной метафизике Флоренского человеческие органы чувств полагаются соотнесенными с символической реальностью и находятся «в соответствии с метафизическими линиями мира». В символическом порядке, пишет Флоренский в трактате «У водоразделов мысли», «метафизическое выражается в психологическом, психологическое выражает метафизику». В данной связи Флоренский отмечает, что надлежащее восприятие и понимание тварного мира, и в том числе человеческого существования, стало возможным благодаря всемирно-историческому по своей значимости явлению христианства.

В своей космологии Флоренский акцентирует бесконечную мощь действующих в природе сил, доказывая, что она является «не мнимым феноменальным бытием, не тенью какого-то иного бытия, а живой реальностью». Природа виделась мыслителю как живое целостное естество, части которого связаны в мистическое единство, являющее собой конкретное общее, созерцаемое в вещах. Это и есть «идея, лик вещи, в которых открывается незримая ноуменальная сила». Идеи мыслятся здесь не как отвлечённые начала, а как живые энергетические силы космоса, в котором всё связано со всем и всюду действует симпатическое сродство. «Идеи, – пишет Флоренский в работе «Смысл идеализма», – суть малые облики горних основ». В них содержатся ноуменальные силы, «нетленные *логосы*», из которых вырастает тварное бытие.

Как не без оснований отмечает 3.3. Зеньковский, космологическая концепция Флоренского восходит к стоическому витализму и, сочетаясь в ряде моментов с идеей Николая Кузанского о соотношении целого и частей, дает яркое чувство Космоса как живого целого. На этой концепции зиждется положение Флоренского, раскрывающее картину энергетиче-



ской взаимосвязи космических процессов. «Энергия вещей, – пишет он, – втекает в другие вещи, каждая живёт во всех, все – в каждом». Отсюда явствует, что Флоренский выдвигает идею всеединства, обретающую своеобразные очертания. Эта идея восходит к Соловьеву, однако сближается с онтологическими построениями неоплатоников и развёртывается в мыслительной плоскости теории символов. В конкретной метафизике эта идея именуется ступенчатым всеединством и выстраивается в оригинальную концепцию-схему, отображающую процесс движения энергийных сил ноуменальной выразительности в феноменальном бытии (т. е. в процессе выражения духовного в чувственном). Эта концепция приложима к реальности здешнего мира, поясняет Флоренский, поскольку символы «суть органы нашего общения с реальностью», они суть «отверстия, пробитые в нашей субъективности». И хотя структура символов насквозь антиномична (они не функционируют в плоскости рассудка), мыслитель усматривает именно в этом «залог их истинности».

Идея ступенчатого всеединства обретает в философии Флоренского пространственные очертания и вырисовывается как оригинальная концепция-схема, представляющая собой образ круга с концентрическими периферийными оболочками, исходящими от центрального ядра. В этой схеме образ ядра полагается как символ, в котором его феноменальная и ноуменальная стороны пребывают в совершенном единстве. Стало быть, именно ядро обладает максимальными потенциями ноуменальной выразительности, тогда как оболочки круга по мере своего удаления от ядра наделены всё убывающей энергией ноуменальной насыщенности и выразительности духовного в чувственном.

Флоренский считает, что предложенная им концепция-схема, приложимая к реальности нашего мира, является основной парадигмой конкретной метафизики, поскольку эта реальность в своих основных измерениях является символической, состоящей из обобщённых символов. Задача конкретной метафизики в данной связи усматривается в распознавании и изучении смысловой сути символов. Мыслитель даже предлагает организовать курс практического символизма, нацеленного на выявление духовных начал, действующих в падшем мире, исследование всего круга, изображающего процесс нисхождения энергийных сил всеединства, их убывания по мере отхождения от ядра на периферийные оболочки.

По глубокому убеждению Флоренского, высший смысл человеческого бытия связан с богоданной ему возможностью «узрения» «горнего» мира, с тем экзистенциальным напряжением в моменты соприкосновения со священным, когда человеку открываются связи двух миров – феноменального



и ноуменального, «дольнего» и «горнего». Мыслитель полагает, что способность соприкосновения двух миров человек обретает в практике культа. Именно отправление культа способно снимать (хотя и не целиком) с человека его онтологическое «повреждение», именуемое грехом, создавать предпосылки для активизации в людях особого, «духовного зрения», специфического налаживания связи двух миров.

Ноуменальную реальность Флоренский называл мнимой в том смысле, что она являет собой истинный, но скрытый в особом, надэмпирическом пространстве лик символа и имеет особую смысловую структуру, родственную архаическим формам мышления. Мнимое пространство имеет устройство и законы, отличающие его от пространства чувственных вещей и явлений, и служит вместилищем ноуменальных начал. Устройство мнимого пространства находится в соотнесённости с законами эмпирического пространства, а их соотношение определяется принципом инверсии, взаимной обратности.

На этих положениях основана гипотеза Флоренского о двойственном, двуслойном строении реальности, существующей в двух формах пространства – реально-эмпирической и мнимой. «Все пространство, – пишет философ, – мы можем представить себе двойным, составленным из действительных и из совпадающих с ними гауссовских координатных поверхностей». Таким образом, ноуменальный мир существует, но это – потусторонний мир, трансцендентный здешнему миру. Такова, по Флоренскому, парадоксальная структура реальности. Отсюда вытекает, что ноумен есть тот же феномен, но созерцаемый в ноуменальном пространстве в своей смысловой структуре, а феномен есть ноумен, созерцаемый в своем чувственном облачении.

Возникает, однако, вопрос: как, какими способами и через какие врата приходят к нам символы, каковы формы их восприятия? И как осуществляется связь двух миров, составляющих символическую реальность?

В этюде «Философская антропология» Флоренский полагает, что специфика различных восприятий должна находиться в соответствии с метафизическими линиями мира. А метафизические плоскости «спайности бытия» выражаются в своеобразиях психологического устройства нашего опыта. Это означает, что в символическом порядке метафизическое выражается в психологическом, а психологическое выражает метафизику. «Поэтому семь чувств есть семь врат знания», а «семь способов чувственного отношения к миру суть семь осей самого мира». И если в чувствах мы находим глубокое различие, то это объясняется тем, что в самой действительности мира уже содержатся эти семь параметров. А отсюда явствует,



что «антропология не есть самодовлеимость уединенного сознания, но есть сгущенное представительное бытие, отражающее собою бытие расширенно-целокупное: микрокосм есть малый образ макрокосма, а не что-то само в себе».

Флоренский разработал классификацию символов, в основу которой положен принцип зависимости их от различных органов чувств, и выяснил, «через какие врата они к нам приходят».

В трактате «У водоразделов мысли» Флоренский особо выделяет зрение и слух как способности, издревле наиболее почитаемые и благороднейшие, полагая, что зрительный символ в своём совершенном выражении есть непосредственное изображение духовных начал. Таким примером являются иконы, от которых исходит священное сияние ноуменального мира. Поэтому-то в конкретной метафизике имеется специальный раздел, посвящённый иконописи. Также и слуховой символ в своём совершенстве есть священное имя Божие. В данной связи в конкретной метафизике разработаны некоторые центральные разделы семиотики, до сих пор сохраняющие свою теоретическую актуальность.

Однако, как справедливо отмечает С.С. Хоружий, главными проблемами Флоренского были отнюдь не семиотические изыскания, а онтологические основы реальности и пути связи с нею, в контексте которых всплывали тревожные ключевые темы конкретной метафизики, темы о Боге, человеке и мире. Флоренский стремился углубиться в недра самой концепции символа для того, чтобы вчувствоваться и проникнуть в онтологию таинственного механизма, производящего непроницаемую связь и взаимодействие феномена и ноумена, характеризующие неистовую устремлённость мыслителя в метафизические выси. И здесь интенции Флоренского были поразительно глубоки и выходили за пределы своего времени, ибо касались энергийных начал, заложенных в символическую реальность, сокрытых причин нисхождения ноуменальных сил и ступенчатого угасания их на периферийных оболочках круга.

Ещё ранее Флоренский полагал, что символ живёт энергиями, точнее, слиянием энергий своих сторон. Но в трактате «У водоразделов Мысли» он выдвигает новую дефиницию символа: «Символ, – определяет мыслитель, – есть такая сущность, энергия которой, сращённая или, точнее, срастворённая с энергией некоторой другой, более ценной в данном отношении сущности, несёт таким образом в себе эту последнюю». Данная дефиниция означает, что Флоренский создал новую, синэнергетическую концепцию символов, в контексте которой возникают и вопросы, касающиеся нравственной и антропологической природы этого нисхождения в аспектах



антроподицеи. И прежде всего – позиции Флоренского в мыслительной плоскости соотношения добра и зла, а также причин падшести человека.

«Истоки добра и зла затеряны во мраке», – сказал поэт И. Бродский. И надо признать, что эта проблема – одна из центральных и наиболее жгучих в истории философской мысли – не нашла да и не могла найти своего разрешения и в философии Флоренского, ибо она является вообще неразрешимой и мучительно-таинственной. Тем не менее, в теодицее и антроподицее Флоренского она поставлена оригинально и развернута в нестандартных мыслительных срезам и способах философствования.

Проблему истоков добра и зла в философской антропологии Флоренского предвзвешивает мифологема Эдема. В конкретной метафизике Эдем означает изначально совершенное состояние человека и мира, утрачиваемое вследствие грехопадения и вновь обретаемое в зависимости от способности и духовно-нравственных усилий твари преодолевать свою греховность. «Космическая история, – писал Флоренский, – начинается Эдемом и... Эдемом же кончается».

Небезынтересно, что мифологема Эдема имеет у мыслителя и свои персональные корни. Так, в его сочинении «Воспоминания детства» она ассоциируется с миром эллинской культуры. Это связано с тем обстоятельством, что детство Флоренского прошло на Кавказе, в колхидском «краю Медеи и Золотого руна». Первозданный Эдем вырисовывается здесь в чарующих пейзажах роскошной южной природы, сквозь которые просвечивает мистическое чувство единения с ней, острота восприятий и зоркость будущего мыслителя, его способность улавливать сокровенный смысл окружающего мирового целого. Интенсивное общение с природой способствовало также развитию его таланта естествоиспытателя, стимулировало пылкость ума.

Второй, Новый Эдем Флоренского был связан с его житетворчеством в период пребывания в Троице-Сергиевой лавре, являющей собой средоточие православной церковности. Свой приход в Лавру он рассматривал как благостное возвращение на свою истинную родину, пребывание в которой насыщено ноуменальным содержанием и дарует ему возможность подлинно христианской жизнедеятельности. Стало быть, в интерпретации мифологемы Эдема у Флоренского сплетаются два мотива – эллинский, платонический, и христианский, прообразом которых является библейская мифологема Эдема.

Однако возникает вопрос, что же властвует в стихии человеческих судеб? Как и почему райское непорочное бытие в Эдеме, не ведающее ни греха, ни смерти, может сменяться бытием смертным и пораженным гре-



ховностью? И вообще, почему в сознании человека происходит крушение видения эдемского бытия, исчезают сама идея и образ Эдема?

Эти вопросы решаются у Флоренского в духе традиционной христианской метафизики в её православном варианте. Ответ на них мыслитель связывает с явлением христианства в истории, ибо христианство дало истинное понимание человека как тварного бытия. Лишь благодаря христианству, полагает философ, когда «люди увидели в твари не пустую скорлупу демона, не какую-то эманацию Божества и не призрачное явление Его, подобное явлению радуги в брызгах воды, только тогда стало мыслимо понимание твари как самостоятельного, само-законного и само-ответственного творения Божия».

И здесь вступает в действие наиболее тревожная, мучительно напряженная тема русской философии – загадочно-таинственный феномен человеческой свободы. Разумеется, проблемой свободы занимались не только русские мыслители, она пронизывает всю историю философской мысли, но особую напряженность она обрела в философии Аврелия Августина, Ф.М. Достоевского и Н.А. Бердяева. Достаточно напряжённо звучит она как постулат онтологической свободы и у Флоренского.

Проблема свободы разветвляется у Флоренского в двух аспектах – традиционно-христианском и в нетрадиционных измерениях теории нисхождения символов на периферийные оболочки круга. Обращаясь к традиционно-христианской трактовке свободы, он задается вопросом, является ли богоданная человеку свобода подлинной, дающей ему возможности самоопределения, самостояния в своих деяниях. «Если свобода человека есть подлинная свобода само-определения, – размышляет философ, – то невозможно прощение злой воли, потому что она есть творческий продукт этой свободы... Но если свобода не подлинна, то неподлинна и любовь Божия к твари, то нет и реального самоограничения Божества при творении, нет «истощания» и, следовательно, нет любви. А если нет любви, то нет и прощения». Но поскольку для Флоренского Бог есть только свет, любовь и благо, то возложить вину на Бога за своевольные деяния человека он не может. И при решении этих во многом недоуменных вопросов он вынужден обращаться к проблеме человека как личности, являющей собой бытие, сотворенное Богом.

Суть связи Бога и тварного бытия в человеческой ипостаси в том, что в ней реализуется замысел Бога о смысле тварного бытия и его любви к Богу как своему прообразу. На этом положении покоится выдвинутая Флоренским идея совершенной личности как идеальной монады, воплощающей в себе образ Божий. Множество этих монад являет собой



аналог ноуменального мира, образуя «единство в любви». Это многоединное существо, представляющее собой совокупность идеальных личностей и принадлежащее божественному совершенному бытию, и есть *София*, именуемая у Флоренского также «ипостасной системой миротворческих мыслей Божиих». *София* полагается и как «Великий Корень целокупной твари», как «первозданное естество твари», «творческая любовь Божия», «Ангел-хранитель твари» и «идеальная личность мира». Она мыслится в двух аспектах – земном и небесном, т. е. как церковь в её небесном лике – хранительница вечной Истины.

Постулат богоданной онтологической свободы рассматривается у Флоренского как неотъемлемый индивидуальный атрибут человеческой личности. Но не менее сущностным ее атрибутом полагается направленность личности на общее, выход за пределы своего индивидуального существования. «Личность в общении», говорит философ, есть ее атрибутивная характеристика.

В данной связи, как отмечает С.С. Хоружий, «проявляется одна из главных антиномий его философского и личного стиля: крайняя тяга к особенному, даже своевольному и одновременно – к стоянию во всеобщем, в традиции, под её защитой».

Человеческую самость, индивидуальность и личностную самобытность Флоренский оценивал как великое благо, как смысл её экзистенциального бытия. Но вместе с тем он характеризует личность как самость, состоящую из двух Я, которые могут отделяться друг от друга, внося разлад и духовно-нравственную смуту в её существование. Чрезмерная, эгоистическая погружённость личности в свою самость приводит не к большей целостности, а к гибели, к разрушению её субстанциального единства. При этом, заявляет Флоренский, её организм, как телесный, так и духовный, из целостного и стройного орудия, из органа личности превращается в случайную колонию, в сброд не соответствующих друг другу механизмов. Словом, всё оказывается свободным, всё, кроме самого». Окончательная степень сосредоточенности личности на себе самой приводит её к невропатологическому стоянию: ощущению «тьмы» и отделению от всего мира. Может наступить, говорит Флоренский, и окончательная смерть – отделение души от духа, т. е. отделение самости, которая стала окончательно злой, сатанинской, оторванной от первоначально присутствующей ей субстанциального образа Божия. А самость, лишенная образа Божия – своей субстанциальной основы, – определяется «вечной идеей собственного греха и обрекается на вечные муки».



Символический способ жизни, по Флоренскому, есть житнетворчество, покоящееся на сочетании феноменальной и ноуменальной сторон реальности, на одновременном сочетании всеобщего и индивидуального начал в человеческом существовании. Однако, над Флоренским всё же довлеет традиция русской философской мысли – тяга к всеобщему – к соборности, в которой он видел силу, способную объединять социум. Без этой силы «личность рассыпается, утверждая отвлеченное единство своей деятельности». Соборность есть общность, которая не подавляет индивидуально-личностные начала. Это особая, подлинная общность, составные части которой взаимосвязаны и все сливаются в единое общечеловеческое. «Живя, – писал Флоренский, – мы соборujemy сами с собой и в пространстве и во времени как целостный организм... Мы собираемся в семью, в род, в народ и т. д., соборуюсь до человечества и включая в единство человечности весь мир».

Флоренский подвергает острой критике современную культуру и цивилизацию (именуемые у него «возрожденскими»). Культуру он определяет как среду, растящую и питающую личность. «Но если личность в этой среде, – заявляет он, – голодает и задыхается, то такое положение вещей свидетельствует о «каком-то коренном «не так» в культурной жизни. Культура есть «язык», должный объединять человечество, но ныне мы находимся в «вавилонском смешении языков», люди не способны понимать друг друга. Происходит взаимное отчуждение, которое «закрадывается» в самое единство отдельной личности, ибо самое себя личность не понимает, с самою собой утратила возможность общения». Отвлечённые структуры и идеологизированные схемы «вытеснили из жизни личность, и ей приходится полузаконно ютиться где-то на задворках, работая на цивилизацию, её губящую и её порабащивающую». Но человек, считает Флоренский, не может быть порабащён окончательно, он свергнет современную цивилизацию, и близок час глубочайшего переворота в самих новациях культурно-цивилизационного состояния современного падшего мира. Вся сложная система обездушенной цивилизации станет разваливаться. Она поражена позитивизмом, прагматизмом и сциентизмом. Наука ныне и вовсе не ищет истины – «она хочет быть удобством и пользой». Нарастает и бесчеловечная субъективность, лицемерно провозглашающая себя объективностью.

Итак, констатирует Флоренский, первозданный Эдем разрушился. И у мыслителя возникает тревожная мысль: «Не есть ли история мира, во мраке греховном протекающая, – одна лишь ночь, один лишь страшный



сон, растягивающийся на века, – ночь между тем, полным грустной тайны вечером и этим, трепещущим и ликующим утром?»

Суть этой ночи Флоренский видит в том, что на современном этапе истории, растянутым между Первозданным Эдемом и Новым Эдемом, нарушилась онтологическая связь двух миров – земного, «дольнего» и «горнего». Повреждение этой связи вносит порчу в явления, создавая преграды между феноменальной и ноуменальной сторонами реальности и внося, таким образом, несоответствие между явлениями и их метафизическим смыслом, превращая явления в несовершенные, ущербные символы. И, задаваясь вопросом, каковы возможности преодоления онтологического разлада между двумя мирами, Флоренский вновь обращается к теме культа. Именно в культе он видит уникальный и активный фактор, способный снимать заслоны между двумя сторонами реальности, налаживать между ними онтологические контакты. Флоренский, обладавший даром глубинного метафизического «тайнозрения», в своём фундаментальном труде «Философия культа» выявил заложенные в культе мистико-магические начала, способствующие исцелению реальности человеческого бытия, испорченной разрывами между феноменом и ноуменом, что приводит к истощению ноуменальной выразительности.

Кстати, знаменательно, что Флоренский, ощущая в самом себе присутствие магических начал, говорил: «Я казался «учёным», будучи внутри магом». В налаживании онтологических связей между «горним» и «дольним» мирами, именуемом в конкретной метафизике «освящением реальности», философ видел бытийную миссию культа. В религиозно-философских пассажах уже упомянутой знаменитой книги Флоренского культ окружён ореолом мистериальной таинственности и, таким образом, русское православие зримо сближается здесь с эллинской мистерийной религией.

По Флоренскому, возможности исправления исторического пути Космоса совокупно с человеком заложены и в мифологеме Эдема. Ведь история рассматривается здесь как путь с промежуточными интервалами между Первозданным Эдемом и Новым Эдемом, то есть путь, ведущий от историчности к сакральным, внеисторическим началам Бытия. В этюде «На Маковце» вселенская ночь видится Флоренскому как «не-сущая», её «как будто и не бывало», ибо наступило лучезарное утро. И последний пассаж этого этюда заканчивается вопросом, вселяющим в души человеческие надежду: «И кончина мировая – не рождение ли это Земли при Звезде Утренней?»



С. Н. Булгаков: человек как «око мировой души»

В центре философской мысли Сергея Николаевича Булгакова (1871–1944) находится антроподицея, т. е. оправдание земного бытия, утверждение ценности и смысла материального космоса и материально-телесной сферы человеческого существования во всей их конкретной наполненности.

С. Н. Булгаков родился в городе Ливны Орловской губернии в семье кладбищенского священника. Его детство прошло в обстановке строгой православной церковности. В духовной семинарии он пережил глубокий религиозный кризис (длвшийся у него до 30-летнего возраста), бросил семинарию за год до её окончания и поступил в последний класс гимназии. Впоследствии в своей «Автобиографии» он писал: «Я сдал позиции веры, не защищая их, и воспринял нигилизм без боя». Поступив в Московский университет, Булгаков увлекся марксизмом и своей специальностью избрал политическую экономию. Сразу после окончания университета он сдал магистерский экзамен и выехал за границу для работы над диссертацией, после защиты которой стал профессором на кафедре Киевского политехнического института. Там он проработал пять лет и в это время пережил второй духовный кризис, о чём поведал в своей работе «От марксизма к идеализму». Вместе с Н. А. Бердяевым и С. Л. Франком он примкнул к русской интеллигенции, ищущей религиозно-философского обновления. В 1912 году он издал свою знаменитую книгу «Философия хозяйства», а в 1917 году выходит его фундаментальный труд «Свет Невечерний», являющий собой очерк системы его новообретенного мирозерцания. В 1918 г. Булгаков принял сан священника, на чём и заканчивается его философское творчество, ибо он всецело посвящает себя богословской тематике. В 1923 году Булгаков изгоняется из России и обосновывается в Праге, а затем – в Париже, где прослужил бессменным деканом русского Богословского института до конца своих дней.

Главным мотивом в булгаковской антроподицее выступает оправдание материи, развёрнутое в тесной связи с философско-антропологическими построениями в горизонте экономической и космологической проблематики и оснащённое онтологическими постулатами. Своё философское учение Булгаков назвал «религиозным материализмом», ссылаясь при этом на В. С. Соловьева, который иногда также употреблял этот необычный для религиозных мыслителей термин.

Выстроенная Булгаковым антроподицея движется в мыслительных координатах трёх основных тем его философии – космоса, материи и софийности. Она находится в рамках ортодоксально-христианского



мироистолкования, предполагающего, что ценность и осмысленность всего сущего исходит от Бога и обретается в Боге. Главный онтологический тезис булгаковской космологии гласит: «Миру не принадлежит его бытие – оно ему дано Богом». Это означает, что премирное Начало, давшее миру бытие, есть Бог, ибо первоначальным актом Его было творение мира. Сам мир, по Булгакову, радикально отличен от Бога и характеризуется своей тварностью. Мыслителю, по его собственному выражению, был чужд «соблазн божественности мира», причём различие Абсолюта и мира сохраняется в его онтологии до конца его философской деятельности.

Булгаков отвергает не только философские системы откровенно пантеистического типа (Дж. Бруно, Б. Спиноза), но также оспаривает и правомерность монистических учений, отмеченных пантеистическими интонациями, характерными для Плотина, Бёме и Шеллинга. Опираясь на космологию Платона и отрицая божественность мира, он пытается отстоять относительную самостоятельность мира и подчеркивает, что акт творения радикально отличен от платиновской эманации. В этом акте присутствует некое указание на определённую автономию тварного мира, наличие в нём собственных потенций. Мир, полагает Булгаков, не есть лишь пассивное истечение Единого, в нём просматривается наличие «собственного задания и смысла». Мировое целое, по Булгакову, не есть ни чистое «ничто», ни чистое бытие, но является специфическим образованием, таким «ничто», которое наделено бытийными потенциями. Как тварное бытие оно есть «ничто», ибо подвержено уничтожению. Но творческим актом Бога оно превращено из «укона» (радикального небытия) в «меон» (т. е. относительное небытие).

В этом онтологическом горизонте вырисовывается центральная и наиболее оригинальная тема булгаковской философии – тема материи как особой категории, выстроенная в форме мифологемы.

Все тварное бытие, по Булгакову, погружено в водоворот возникновения и уничтожения, оно являет собой цепь неустанных переходов и превращений, рождений и смертей. Оно есть лишь «бывание», однако множественность и многоликость феноменов «бывания» предполагает некую всеобщую подоснову, некий субстрат, в материнском лоне которого возникают все превращения и изменения, рождаются все события тварного мира. Как универсальный субстрат материя являет собой некий «третий род», присутствующий в картине бытия наряду с вещами чувственно-телесного мира и их идеальными прообразами. Она есть нечто неоформленное, потенциальное, какая-то особая способность животворного проявления в телесно-чувственном. «Великая мать-земля» – мифологема,



свойственная древним языческим культам и библейскому креационизму. Она родственна булгаковским пассажам на тему материи, в которых превозносятся её рождающие, плодоносящие потенции. Так, у Булгакова материя изображается как мировая мощь, «насыщенная безграничными возможностями», как «всематерия, ибо в ней потенциально заключено всё, – таковы характеристики материи в трактате «Свет Невечерний». Философ поясняет, что в процессе творения эти потенции материи были ей уделены Богом. Творческие силы материи получают свое обоснование и в булгаковской софиологии, где они отождествляются с женственным началом. Возвеличение материи обретает у Булгакова глубоко религиозный пафос. Она, рождающая всё живое, объявляется Богоземлей и ассоциируется с Богородицей. Апофеоз Матери-Земли мыслитель видит в том, что из недр её происходит Пресвятая Дева Мария. «Богородица, – говорит Булгаков, – великая мать сыра-земля есть, и великая в том заключается для человека радость».

Булгаков был знаменитым софиологом, причём понятие *Софии* имеет у него две ипостаси: есть *София* божественная и *София* тварная, космическая. Тварная *София* именуется также «душой мира», поскольку она есть энергетическое начало мирового целого, и, стало быть, ощущение творческой энергии мира укоренено в его софийности. «Душа мира, – пишет он, – содержит в себе всё, является единым центром мира». Она проявляет себя «как сила единящая, связующая и организующая мир... феноменально она многолика, пребывая субстанциально единой». Булгаков говорит и о мудрости «мировой души», полагая, что она есть органическая сила, которой присуща инстинктивная закономерность бытия в его эволюционном развитии, сила, осуществляющая внутренний план бытия в его возможных вариантах. Душе мира свойственна самопроизвольность движений, тварная свобода и самопроизводительность. Именно она есть начало житнетворения. Мир осуществляет себя в эволюции жизни, восходя к высшим формам свободы как живое существо. Булгаков вслед за В. С. Соловьёвым и П. А. Флоренским именует это существо *Софией* как Вечной женственностью и материнским лоном бытия. *София*, по Булгакову, занимает место между Богом и миром, являя собой также идеальную основу мира.

Булгаков создал оригинальное учение о телесности, в котором устанавливается различие материи и тела и – что особенно существенно – выдвигается понятие духовной телесности. «Материя, – заявляет он, – не есть субстанция тела (как полагают материалисты), а только лишь его качество, делающее тело плотью». «Духовная телесность», по Булгакову,



выражает не изначальную сущность тела, но лишь его модальность, т. е. определенное состояние телесности. Сущность телесности философ видит в чувственности как самостоятельной стихии жизни, отличающей её от духа, но не чуждой и не противоположной духу.

Антропология Булгакова разворачивается в контексте онтологических и космологических построений, встраиваясь также в экономические и богословские его труды.

В «Философии хозяйства» – наиболее оригинальном его труде – тема человека рассматривается в горизонте экономической проблематики, опирающейся на онтологические постулаты. Само понятие хозяйства носит здесь универсальный характер: так, культура, например, показана как сфера хозяйственной деятельности человека, а сам человек – как управляющий хозяйством. Для хозяйственного мироощущения Булгакова характерно и то, что у него хозяйственная деятельность есть труд, сближающийся с творческой деятельностью человечества.

Как комментирует Н. А. Бердяев, Булгакову присуща своеобразная «хозяйственная религия». «Хозяйство, – отмечает Бердяев, – превратилось для него в целую метафизику бытия, даже в своеобразную мистику. Булгаков чувствует мир как хозяйство и Бога – как Хозяина. Человек – управляющий этого Хозяина, которому поручено возделывать землю. Человек не имеет своей собственности. И он может лишь управлять, возделывать, хозяйничать на господской, хозяйской земле, но не может быть творцом, не может быть оригинальным художником жизни».

Думается, однако, что, подметив некоторые черты, действительно присущие хозяйственной философии Булгакова, Бердяев обошёл молчанием глубинные пласты булгаковской антропологии, врезающиеся в его метафизику и философию истории. Тем не менее, Бердяев прав и в том, что булгаковская *София* есть рождающая хозяйственница, а хозяйство является софийным. Но он не учёл столь существенного момента, что *София* у Булгакова выступает в нескольких ипостасях и полагается как «душа Мира», о чём говорится уже в «Философии хозяйства».

В «Философии хозяйства» Булгаков показывает человека как «мирового хозяина» или демиурга, причастного к творящей душе природного мира, т. е. способного к творческому процессу преобразования природы. Но главное и ценное, что сказано о человеке в онтологии Булгакова, – это полагание его как «ока мировой души». Для мыслителя самым существенным в человеке было то, что он есть «центр мироздания», что природа только в человеке и через человечество «осознаёт самоё себя», становится зрячей и очеловечивается. Однако в отдельном человеке постоянно дает



знать о себе самость, «которая набрасывает свой тяжелый флер на всю жизнь». По Булгакову, эта самость может быть «исторгаема и побеждаема лишь трудом человека над самим собой или религиозным подвигом. Так и самость в природе побеждается трудом хозяйственным в историческом процессе». Этой самости противостоит также идея соборности.

В булгаковской антропологии тема зла в тварном мире, и прежде всего в человеке, обретает глубинные измерения и является одним из ведущих мотивов в его философии истории. В трактате «Свет Невечерний» зло показано как «ничто», которое врывается в осуществленное уже мироздание как хаотизирующая сила. Оказывается, что Бог дал место и бунтующему «ничто». Таким образом, «возможность зла и греха как актуализации «ничто» была заранее дана мирозданием».

Злу и хаотизации падшего мира противостоит всё же хозяйство, в котором наиболее полно выражен специфический образ человеческого существования в тварном мире. К сфере хозяйства, по Булгакову, относится не только экономическая, но и научно-техническая деятельности человека. Хозяйство не порождено падшим состоянием мира, ибо существует и райское хозяйство. Оно «софийно в своём метафизическом основании», являясь исполненной любви бескорыстной трудовой деятельностью человека, направленной на познание природы и усовершенствование жизни людей. Однако хозяйство подвержено власти «ничто», и труд в падшем мире может становиться тяжким бременем; он опорочен нуждой, ущербностью и радикальным извращением смысла и мотивов хозяйствования. Однако в этом падшем состоянии хозяйственная деятельность человека может сохранять в себе некие «низшие формы» софийности. И – более того, в своей хозяйственной деятельности человек утверждает своё главенствующее положение в мироздании. В духе христианской традиции Булгаков называет активность софийного преображения мира теургией (богодеянием) и постулирует изначальное единство хозяйства, искусства и теургии, которое в падшем мире раскалывается и становится ущербным подобием теургии, утрачивая изначальную софийность. Хозяйство есть средоточие устройства жизни, «домостроительство» тварного мира, а искусство – вершина этого домостроительства, наиболее приобщенная к теургии. И в этом «исключительное значение» и «иерархическая высота искусства» как творческой деятельности, доступной человеческим силам. Искусство таит в себе Красоту, в которой, по Булгакову, наиболее зримо выражен аспект *Софии* как идеальной сублимированной чувственности и телесности. Ибо Красота «есть духовная чувственность, осязаемость идеи».



Историософия Булгакова представляет собой учение о Богочеловеческом процессе, суть которого заключается в сочетании действия божественной благодати с духовно-нравственными усилиями человека. В своем позднем труде «Невеста Агнца», написанном в годы Второй мировой войны, мыслитель полагает, что богочеловеческий процесс носит нерукотворный характер, и связывает это с церковным учением о «синергии», т. е. сотрудничестве человека с благодатью, которая есть действие божественных энергий. Поэтому в центре Богочеловеческого процесса находится Церковь, которая «действует в истории как творящая сила», ибо она выступает здесь как *София* в своих обоих аспектах – божественном и тварном. Церковь должна иметь глобальный, вселенский масштаб, ибо является двигателем Богочеловеческого процесса. «Границ Церкви, – заявляет Булгаков, – не существует... Церкви принадлежит всё мироздание, которое есть её периферия, её космический лик».

Историософия Булгакова пронизана новозаветным эсхатологизмом. Он отвергает эволюционное понимание прогресса, противопоставляя ему «эсхатологический прогресс», суть которого – внутреннее движение мира к своему концу, неизбежность крушения истории в её эмпирическом состоянии видение катастрофического, отнюдь не благополучного, а трагического исхода истории.

Публикацию подготовил Dr. hist. Григорий Смирин (1955–2017)



Светлана Ковальчук *Латвия, Рига*

*Доктор философии. Ведущий исследователь
Института Философии и социологии
Латвийского Университета.
Автор монографий и статей по истории
российской эмиграции в Латвии, культуре
и образованию этнических меньшинств
Латвии.*



О Ларисе Алексеевне Чухиной...

* * *

Кто знает – вечность или миг
мне предстоит бродить по свету.
За этот миг иль вечность эту
равно благодарю я мир.

Что б ни случилось, не клянусь,
а лишь благословляю лёгкость:
твоей печали мимолётность,
моей кончины тишину...

Белла Ахмадулина

...Ей было суждено появиться на свет в городке Пружаны Гродненской губернии (по другим сведениям – в Рязани). Родители служили учителями в местной школе. Отец – Алексей Лукич Стовбуник (Stowbunik), мать – Екатерина Иосифовна, оба – православного вероисповедания. Со времени Первой мировой войны сохранились фотографии, на одной из них – маленькая Лариса на коленях отца... Рядом стоит мама...

После Октябрьской революции семья Стовбуников перебралась в Польшу, которая в ноябре 1918 г. обрела – через много томительных десятилетий – долгожданную, выстраданную независимость.

Поселились в Пружанах. Конечно, жили трудно – у матери, рано овдо-



вешей, на руках оказалось трое детей.

Лариса училась в Пружанах, затем в Вильно – в белорусской гимназии.

Несмотря на все экономические трудности, одной из задач молодого польского государства стало восстановление высшего образования и налаживание научной жизни. В период между двумя мировыми войнами действовало шесть университетов. Лариса остановила выбор на Гуманитарном факультете Виленского университета имени Стефана Батория (*Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie*). И она не просто получила хорошее образование в Виленском университете! На годы учебы Ларисы Стовбуник в университете (с 1932 по 1938 гг.) и на начало ее работы в качестве ассистента на философском отделении пришлась пора расцвета и международной признательности Львовско-Варшавской философской, подчеркну – национальной – Школы. Исследователь Львовско-Варшавской философской школы Борис Домбровский привел в своей книге перечень требований, которые предъявлялись к философу из этой школы: «Во-первых, он должен иметь философское образование, а также обладать знаниями в объеме университетского курса по одной из дисциплин, желательно естественнонаучной. Философское образование должно быть историческим и систематическим. Особое внимание обращалось на знакомство с современным состоянием философских знаний, так необходимых философу-аналитику. Вместе с тем истории философии уделялось особое внимание, а членов Школы среди приверженцев аналитической философии особенно выделяло как раз знание истории, которое может служить знаменем школы. Согласно принятому в Школе стандарту, философ должен свободно себя чувствовать во всех областях систематической философии, а в одной из них ориентироваться особенно основательно. К сказанному остается добавить знание иностранных языков, непременно включающих древнегреческий и латынь».

В зачетной книжке студентки Ларисы Стовбуник записаны имена профессоров, составивших добрую славу Львовско-Варшавской философской Школы. Назову первое имя – проф. Тадеуш Ипполит Чежовский (*Tadeusz Czeżowski*; 1889–1981). В исследованиях по истории Львовско-Варшавской Школы он называется в ряду основных ее представителей, и не только как ученый, но и – педагог. В его начальном научном творчестве преобладали онтология и семантика, позже он занимался логикой и методологией, семиотикой, этикой. Разнообразные курсы по аксиологии, этике индивидуализма, философии поэзии вел Генрих Элзенберг (*Henryk Józef Maria Elzenberg*; 1887–1967) – выпускник Сорбонны, специалист по истории философии, этике, эстетике, аксиологии. Блестящий классический



филолог, переводчик проф. Стефан Сребрений (Stefan Srebrny; 1890–1962) увлекал студенческую аудиторию лекциями по греческой философии, греческой хоральной лирике, поэзии Сафо. Молодой проф. Богдан Завадский (Bohdan Zawadzki; 1902–1966) читал разнообразные курсы по психологии, вел практические занятия по психологии. Проф. Богумил Ясиновский (Bogumił Jasinowski; 1883–1969) – историк философии и науки, теоретик культуры, читал лекции и проводил семинарские занятия по истории философии.

1 декабря 1937 года на студенческом научном собрании прошло выступление студентки Ларисы Стовбуник «Любовь к дальнему как основа этики Фридриха Ницше», закрепившее за ней добрую славу восходящей звезды Школы. С октября 1938 года она начала работать ассистентом кафедры истории философии гуманитарного факультета. К 1 сентября 1939 года были сданы магистерские экзамены, получены документы, предстояла научная работа в Сорбонне – в библиотеке, шлифовка текста магистерской диссертации.

Но 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу, что привело к территориальному переделу Польши между СССР и Германией, завершившемуся 28 сентября 1939 года. Вильно (Вильнюс) отошел Литве, другие земли отошли в пределы иных «братских» республик. Фактическое начало Второй мировой войны круто изменили судьбу самой Ларисы, перечеркнув все надежды, планы на карьеру в науке более чем на 25 лет.

В 1962 г. уже почти в 50-летнем возрасте, благодаря содействию истинных доброжелателей, ей удалось подать документы в Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова. Экзамены на заочном отделении сдавались один за другим, вместо шести лет проучилась два года. Летом 1964 г. документ о высшем образовании советского образца был наконец-то получен. Диплом был так называемым. красным, поскольку все оценки в нем были «5». Кафедра философии пригласила недавнюю студентку написать статью для коллективной монографии «Проблема ценностей в философии», в которой в 1966 г. увидела свет статья Ларисы Чухиной «Феноменологическая аксиология Макса Шелера». На протяжении последующих многих лет плодотворной научной карьеры Лариса Алексеевна не раз будет размышлять над философскими идеями М. Шелера, переводить его тексты, последняя публикация о нем выйдет в Москве в 1994 г.

С февраля 1966 г. Лариса Алексеевна пришла на работу в академическую систему. Сначала работала старшим лаборантом в секторе философии Института истории Академии Наук Латвийской ССР. постепенно



поднимаясь по профессиональной лестнице. В январе 1981 г. она перешла в новый Институт философии и права, где проработала до конца 1990-х гг. Как для крупнейшего русского мыслителя двадцатого столетия Алексея Лосева история античной эстетики стала прибежищем от гнетущей марксистско-ленинской философии, так для Чухиной – история философии (античная, западная, латышская), этические учения, аксиология. Круг любимых авторов был немалый: Аврелий Августин, Фома Аквинский, Блез Паскаль, Сёрен Кьеркегор, Федор Достоевский, Карл Барт, Жак Маритен, Мартин Бубер, Габриэль Марсель, Карл Ранер, Екаб Осис, Гарлиб Меркель, Иоганн Безеке. Свободно владея древними и современными европейскими языками, она работала в жанре философских портретов, предложила свою авторскую интерпретацию близких ей по духу религиозно-философских учений, решавших, как она подчеркивала, жизнесмысловые вопросы. И навсегда осталась верной лейтмотиву своего философского творчества – проблеме человека, тайне, которую разгадывал Достоевский, вечному страннику Августина, мыслящему тростнику Паскаля в пучине безмерного мироздания, или, напротив, – человека-кентавра, неспособного уразуметь, как божественный дух соединяется с его материальным телом. Своими философскими текстами учила тех, кто жаждал быть ею наученным. Текстами, отличавшимися архитектурной стройностью, выделением смысловых ядер и выразительных деталей, ясностью, строгостью изложения. Текстами эмоционально напряженными, наполненными прекрасным русским языком – сочным, ёмким, изящным, метафоричным.

Мне хочется привести строки из письма доктора философских наук, ведущего научного сотрудника Института философии РАН Тамары Андреевны Кузьминой: «Своим студентам я всегда рекомендовала её работы, и по их ответам и рефератам видела, что не просто читают, а находятся под обаянием, если можно так сказать по поводу теоретических работ, её статей и книг, через которые проглядывала её личность – щедрая и великодушная. Всегда чувствовалось, что философия для неё – не просто профессия, а то, без чего нет человека. Для Ларисы Алексеевны понятия заниматься философией и быть человеком были однозначны. И всё это присутствовало в ней без всякого внешнего, а потому ложного, пафоса, без всякой позы».

В 1980 г. вышла монография Ларисы Алексеевны «Человек и его ценностный мир в религиозной философии». Рига, Зинатне, 1980 (переиздание осуществлено в 1991 году).

Назову ещё несколько публикаций, посвященных Максу Шелеру: Чухина Л. А. Феноменологическая аксиология М. Шелера // Проблема цен-



ности в философии. М., Л., 1966; Чухина Л. А. Проблема личности в аксиологии Макса Шелера // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Труды по философии. 1968. № 11; Чухина Л. А. Макс Шелер: Онтология трагического // Проблемы онтологии в современной буржуазной философии. Рига, Зинатне, 1988; Чухина Л. А. Концепция эмоционального априори в феноменологической философии М. Шелера // Феноменология в современном мире. Рига, Зинатне, 1991; Чухина Л. А. Человек и его ценностный мир в феноменологической философии Макса Шелера // Макс Шелер Избранные произведения. М., Гнозис, 1994.



Андрей Бронников

Нидерланды

Автор двух книг стихов и многочисленных статей и эссе по философии. В 2017 г. опубликовал первый полный русский перевод эпической поэмы Эзры Паунда «Cantos». Кандидат физико-математических наук. С 1993 г. живёт и работает в Нидерландах.

Сакральность искусства

Согласно Юргену Хабермасу, «постсекулярное» общество сталкивается с проблемой перевода смыслов с языка секулярных понятий на язык религиозных субкультур, и наоборот. Некоторые виды человеческой деятельности оказываются подготовленными для этого лучше, чем другие. Таково, например, искусство. Оно шире любых конфессий и не знает границ. Искусство изначально несет на себе отпечаток сакральности благодаря давней и прочной связи с эстетикой ритуала и религиозным нарративом. Искусство схоже с религией. Вдохновение, овладевающее художником, более всего похоже на религиозный экстаз; художник с готовностью посвящает и подчиняет свою жизнь высшему служению, а посетитель музея испытывает чувство благоговения перед шедеврами прошлого. В чем же заключается сходство и различие между религией и искусством? И почему этот вопрос вообще может быть задан? Ответы на эти и другие подобные вопросы могут быть найдены на путях новой эстетики, в которой классические понятия красоты и гармонии уступают место категориям бытия и самоидентичности. Основы такой эстетики были заложены в трудах Хайдеггера, Гадамера, Ингардена и других мыслителей XX века, обративших внимание на то, что произведения искусства обладают собственным самодостаточным бытием, не зависящим ни от автора, ни от реципиента. Но какое отношение к этому могут иметь вопросы секулярного и сакрального искусства, и каким образом мы собираемся поговорить здесь о русской религиозной философии?

Настоящее искусство в определенном смысле всегда сакрально. Сказав так, придется сразу определить, что же такое «настоящее» искусство. Проще



всего определить это как искусство, выдерживающее проверку временем.¹ Сакральность при этом становится синонимом вечности, внетемпоральности. И действительно, искусство – это, пожалуй, единственный пример человеческой деятельности, не имеющей временных пределов. Древнее искусство не менее интересно и захватывающе для нас, чем самое новое. Искусство – это вид деятельности, в котором человек способен ощутить вкус бессмертия. Произведения искусства надолго переживают своего творца. Занятия искусством дают человеку связь с тем, что больше него. Искусство создает символы и открывает пути к вневременному и внепространственному трансцендентному. Обыденные вещи обретают в искусстве свое бессмертие. Будучи раз созданным, произведение искусства остается навсегда неизменным и уходит в своей целостности и самотождественности в большое время, в вечность.

Русская религиозная философия дает примеры рассуждений о связи искусства и трансцендентного. Несмотря на различия в деталях и акцентах, эстетические построения В. Соловьева, Н. Бердяева, В. Вейдле, П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева, С. Н. Булгакова и других русских мыслителей основываются на общем понимании искусства как деятельности, имеющей своей целью раскрытие высшего бытия и приобщение человека к нему. Художник здесь играет роль проводника красоты и гармонии, а результаты его работы оцениваются с точки зрения соответствия идеалу. Такого рода эстетика может быть названа «теургической». В рамках этой эстетики искусству придается особый сакральный смысл. Заметим, что подобный смысл присутствует в искусстве и без допущения о его религиозной направленности. Настойчивое и глубокое целеполагание творческого акта и предстояние перед высшим бытием, рассматриваемые теургической

¹ Такое определение искусства сразу же разрешает проблему современного искусства (contemporary art), выводя его за рамки обсуждения. То, что понимается под «современным искусством», это, как правило, искусство *события*, «перформанс», имеющий своей целью обратить внимание публики на ту или иную актуальную личностную, социальную или политическую проблему. Сюда же относится и большая часть современной беспредметной живописи и искусство инсталляции. Все эти формы имеют большее родство с методами и практиками рекламы и дизайна (в том числе технического дизайна), чем с искусством в его классическом понимании. Такое искусство довольно далеко отстоит от целей и задач религии, приближаясь к политике. Современное искусство, вероятно, является зародышем и предвестником политических методов ближайшего будущего. Исследование генезиса и ускоренного послевоенного развития современного искусства как общественной реакции на опыт тоталитаризма и двух мировых войн XX века представляется отдельным и чрезвычайно важным вопросом.



эстетикой как непрменные атрибуты искусства и творчества вообще, позволяют установить связь с эстетикой, основанной на утверждении автономной и вечной реальности искусства.

1. Искусство и религия

Исторические корни религии и искусства теряются в глубине тысячелетий. Общеизвестна гипотеза о возникновении искусства как инструмента культа. Пещерная живопись палеолита, предметы, найденные при раскопках стоянок древних людей, – все свидетельствует в пользу того, что то, что мы называем «искусством», служило частью ритуального механизма. Но достоверно здесь ничего нельзя сказать. По крайней мере, до появления письменности у нас нет источников, способных подтвердить или опровергнуть любую гипотезу. Вероятно, наше понимание искусства должно как-то отличаться от того, чем искусство могло быть в момент времени, близкий к его зарождению. Здесь можно говорить скорее об эстетической деятельности, свойственной человеку во все времена. Искусство как обособленная форма такой деятельности возникает в значительно более позднюю эпоху. Как бы то ни было, религия и искусство идут рука об руку с самых ранних времен.

Зачем религия обращается к искусству? Ответ лежит на поверхности. У человека не было и нет никаких других способов выразить свои идеи на уровне образов и символов, то есть перенести их из мира практики в мир воображаемого. Религия и искусство существуют как внеприродные (входящие в мир через человека, но не порождаемые самим миром) формы. Они проявляются как развитие человеческой способности, и эта способность *надприродна*. Формы бытия, проявляющиеся в искусстве, недоступны и непонятны миру, находящемуся вокруг человека. Все остальное, что делает человек, этому миру понятно и доступно. Природа вхожа в наш дом, многие из элементов которого непосредственно связаны с ней и подчинены ей. Но природа не может понять замысел и цели религии и не воспринимает искусство. С точки зрения природной необходимости оба занятия совершенно бессмысленны.¹ Но это, собственно, и есть то, что

¹ Здесь, вероятно, необходимо упомянуть терапевтическую и психотерапевтическую функции искусства и религии, о которых стали много говорить в последние десятилетия благодаря появлению и развитию психологии как отдельной научной дисциплины. Отдельным направлением развивается и так называемая арт-терапия. Подобные подходы заявляют о наличии прямой и непосредственной связи между мирами религии и искусства и человеческой природой. Как



объединяет их. Во всем этом проявляется какая-то игровая (или, как позволял себе говорить Й. Хейзинга, *speelsch*, «игровая») природа человека. К тому же религия и искусство обязаны языку; они, собственно, являются его последствием и продолжением. Стремление давать имена и сочинять и передавать другим истории о будущем и прошлом лежит в основе и той и другой деятельности.

Религия обращается к искусству, а искусство – к религии в первую очередь потому, что они составляют одно по отношению к миру природы. И там и здесь создается действительность, которая, будучи выключенной из насущных целей природной необходимости, представляет собой земное осуществление некой абсолютной ценности. Эта ценность является непонятной, чуждой и в известной степени ненужной природе.¹ Искусство и религия обращены к трансцендентному. Они обращены к душе. Но если религия прямо заявляет об этом, то искусство делает это самым своим существованием.

Культ использует искусство для продвижения своих идей и практик. Есть ли здесь вообще какой-либо выбор? Похоже, что нет. Лишенная искусства, религия превратилась бы в доктринерство, в сухой остаток идеологии и морали. Идеология, общественная мораль, политика – вся эта,

правило, все это является продолжением фрейдистской традиции психоанализа. Будучи основанными на концепциях из арсенала З. Фрейда, К. Г. Юнга и Ж. Лакана, эти воззрения относятся к достаточно произвольным литературным (то есть языковым) интерпретациям и обработкам действительности и, таким образом, сами находятся в области искусства (можно назвать это «прикладным искусством»), не соприкасаясь с природой напрямую, как это делает, например, физиолог или хирург. Использование жаргона, непонятного непосвященным, ритуалы инициации (начинающий психоаналитик должен побывать на приеме у более опытного), ссылки на авторитет основателей и многие прочие признаки делают фрейдистские и неофрейдистские подходы подозрительно похожими на своеобразное сектантство.

¹ Определение «религия есть коллективное безумие» (М. А. Бакунин) может быть распространено и на искусство. Оба вида человеческой деятельности противопоставляют себя утилитарности и ограниченной рамками этой утилитарности рациональности. Для постороннего наблюдателя поведение реципиента художественного и адепта религиозного подозрительно близки к проявлениям безумия. Последнее, вероятно, связано с моментом проживания и отстаивания истины как момента прозрения и откровения, переживаемого глубоко индивидуально и не поддающегося рациональному объяснению с точки зрения постороннего наблюдателя. Такое встречается и в науке, особенно в момент отстаивания новообретенной истины перед лицом закостенелых представлений.



говоря обобщенно, «педагогика» – представляют собой то, чем могла бы стать религия, откажись она от искусства. Но все идеологии непрерывно обращаются к искусству как единственному источнику образов, способных оживить и актуализировать сухие схемы. Религия овладевает искусством прочно, тщательно и надолго. Подавляющее большинство произведений искусства, созданных до наступления эры секуляризации общества, относятся к религиозному искусству. Что же это такое – «религиозное искусство»? Этот вопрос очень широк. Можно попробовать сузить его до рамок европейского контекста. Поначалу здесь не возникает противоречий. Наше искусство, каким мы знаем его и передаем по эстафете в будущее, зародилось в античности. Это искусство было призвано раскрывать миф и повествовать о взаимодействии мира богов и мира человека. Оно обращалось в своих сюжетах и формах к проблемам взаимодействия мифа и мира человеческой практики. Античным художникам удалось разрешить эту проблему самым наилучшим образом. Искусство, подобно неисчерпаемому резервуару, сохранило мельчайшие подробности мифа. Боги Олимпа продолжили свою жизнь в искусстве, сохранившем не только их черты, но и всю драму, весь текст их жизни. Обращаясь к этому тексту, словно музыкант к партитуре, мы проигрываем эту пьесу, вызывая к жизни древних богов и героев. Это происходит в воображении. Впрочем, они всегда и жили в нем. Искусство дарует богам земную жизнь. Так было тогда, когда им поклонялись, так же обстоят дела и сейчас, когда они утрачены для культа. Еще не известно, когда их бытие было более полным. В эпоху, когда присутствие богов утверждалось через культ, доступ к ним имело ограниченное число людей. За все время существования произведений искусства о них узнаёт и к ним прикоснется гораздо большее число людей. Искусство генерирует бесчисленное количество копий и интерпретаций мифа. Это ли не вечная жизнь богов?

С приходом христианской традиции в европейском искусстве появляются не только новые темы, но и новые образы. Человек «природный» в лице Одиссея и его товарищей уступает образу сына человеческого, – образу, попирающему смерть как торжество природной необходимости, образу, канонизирующему личность нового типа. Библейские мотивы и христианизация западноевропейского искусства – это особая тема. Здесь необходимо сказать, что религиозные концепции накладывают отпечаток на развитие искусства в целом, не только трансформируя старые жанры, но и давая возможность развиваться новым видам искусства. Например, музыка, особенно нотная музыка, расцвела как обособленный и чрезвычайно важный вид искусства именно в сфере христианской культуры. Это связано



с особенностями ритуала, требующего образа надприродной реальности и внеприродного поведения, что, в свою очередь, потребовало искусства, которое было бы адекватно этой реальности и этому поведению, искусства, которое смогло бы выйти из дома природы. То же самое относится к живописи, особенно – к портретной и масляной живописи, ставшей наследницей храмовой живописи и иконописи. Помимо музыки и живописи христианская традиция вызвала к жизни необычайный расцвет литературы.

Если иудаизм – религия книги, то наследующее ему христианство – религия слова. Начальные строки Пятикнижия рассказывают, как Бог сотворил мир за одну рабочую неделю. Мотивация Бога и структура ограничений, которые сопровождали этот первичный акт творения (а любое творение – это в первую очередь создание формы и, стало быть, создание границ, эту форму очерчивающих), не проговариваются в библейском сюжете. Единственное ограничение, о котором нам сообщают авторы этого текста, связано с методом: «и сказал Бог». Это ограничивает действие сферой вербального, причем в его активном виде. Это «сказал» и есть тот наивысший принцип, тот императив, который, согласно библейской традиции, и творит реальность. Вся ветхозаветная традиция и наследующая ей традиция новозаветная есть традиция выговоренности, проговоренности – отсюда, в частности, христианские таинства, разворачивающиеся в мире как воплощение *слова*, как сакральное действие, непременно сопровождающееся словом сказанным и словом услышанным, воспринятым.

Благая весть христианства стала благой вестью художественной литературы, утвердившей и развившей образцы и образы Писания. Западно-европейское христианство настолько укоренено в искусстве, что о нем можно сказать, что оно является религией искусства. Шеллинг говорил: «Церковь надлежит рассматривать как произведение искусства».¹ Но и искусство можно рассматривать как своего рода «церковь», как можно говорить и о том, что дух и дело христианства оказались продолжены в европейском искусстве, которое было возвращено и воспитано на нем. Текст Писания и его многочисленные интерпретации в литературе, музыке, архитектуре, скульптуре, живописи и т. д. – все это создавало и продолжает создавать некую особую действительность на пересечении идей и образов христианства и мира художественных форм. Религия использует искусство не только как кратчайший путь к эмоциям и чувствам человека, но и как среду, в которой ее собственные образы и концепции представляются наиболее реалистичными. На картинах средневековых художников библейские исто-

¹ Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. С. 158.



рии пересказаны в самых непосредственных, живых образах, взятых из непосредственного окружения художника. Для средневекового человека библейские персонажи и сюжеты не мыслились иначе, как в виде фигур, сошедших с картин, или оживших скульптур. Человек в своем воображении создает и удерживает оба мира – мир религии и мир искусства. И оба мира окружают его своей особой, ни на что не похожей реальностью, реальностью *человеческого* бытия. Ни у Бога, ни у богов не может быть ни религии, ни искусства. И то и другое – раскрытие во времени трансцендентных идей и форм. Это раскрытие не может быть делом одиночки. Народ обращается к художнику, но и художник обращается к народу. Их связь неразрывна, и более всего она проявляется в той точке, где пересекается религия и искусство. Р. Вагнер говорит об этом так: «Произведение искусства – это живое воплощение религии, но религия не придумывается художником, она порождается народом».¹

Народом порождается и искусство, и оба они – искусство и религия – являются откликом на те испытания, которые этому народу было суждено вынести.

Если интерес религии к искусству как механизму овеществления образов и эмоций вполне понятен, то зачем искусству обращаться к религии? Ответ не так очевиден, как кажется. Искусству нетрудно идти рука об руку с религией, поскольку обе эти формы деятельности человека призывают к образам и их чувственному восприятию. Они говорят об одном и том же. К тому же, делая то, что они делают, можно говорить только об этом. Их язык похож не случайно. Искусство использует религию как материал. Собственно, оно использует ее как язык. Будь то архаичный миф или теистические религии – искусство берет историю и стремится пересказать ее каждый раз заново. Именно так ведет себя язык. Чтобы говорить, нам не надо выдумывать слова, они у нас всегда есть. Искусство находит свои слова в религии. Оно выстраивает эти слова в определенном порядке. Искусство создает стиль. Крайнее проявление стиля в искусстве – это канон. Канон возникает не на пустом месте. Он появляется как элемент ритуала. Религиозное искусство – это искусство, построенное на каноне. В религиозном искусстве канон пронзает все и проявляется повсюду. В архитектуре, скульптуре, живописи, музыке и литературе канон создает возможность участия произведения искусства в ритуале. Исторически христианский храм становится и на долгое время остается чуть ли не единственным местом, где находит себе место произведение искусства, созданное профессиональным художником. Сам ритуал церковной служ-

¹ Вагнер Р. Избранные работы. М.: Искусство, 1978. С. 161.



бы становится эстетически окрашенным. Искусство заявляет о себе в малейших нюансах, связанных с проявлением религиозности.

Ритуал недвусмысленно указывает на то общее, что есть между искусством и религией. И ритуал и искусство искусственны. Ритуал не хочет и не может быть сведен к некоей утилитарной деятельности. И даже если древние зачатки ритуала обнаруживают практические корни, связанные, например, с желанием задобрить богов для увеличения урожая, умирения природных стихий или проводов умерших, они давно позабыты. Со временем ритуал приобрел свойства сложной, понятной лишь посвященным игры. Так же и искусство. Оно не стало бы тем, чем является в нашем обществе, если бы не несло в себе практику и форму игры. Для того чтобы играть, надо обладать определенной степенью наивности. Наивность, незамутненность взгляда – одни из ключей к искусству (это же относится и к религиозной вере и принятию ее ритуалов). Художник не может не быть несколько наивным, потому что то, чем он занят, в конце концов есть *игра*, времяпровождение, свойственное детям (или богам). О различиях между наивной и сентиментальной поэзией говорил Шеллинг. Под первой он понимал поэзию греческую, изображавшую деяния богов и героев. Сентиментальность – удел Нового времени, когда поэт остается один на один со своими чувствами. Основу такой поэзии составляют описания душевных движений – это расцвет лирики. Но делить поэзию на наивную и сентиментальную по признаку ее появления было бы не совсем точно. Греческая поэзия также дает высокие образцы лирики, например у Сапфо, в то время как в новой и новейшей поэзии мы замечаем попытки внеличностного подхода.

Искусство и ритуал взаимотождественны. Искусство – это ритуал и ритуал – это искусство. Как и во всяком ритуале, в искусстве возникает сакральное напряжение. Появляется фигура жреца. Его роль берет на себя художник. Появляется сакральное пространство. Это произведение искусства. Кто, как ни художник, обладает наиболее полным знанием ритуала искусства, пониманием его высшего, надприродного смысла и способен трансформировать этот смысл в окружающую действительность? Творения жрецов искусства – произведения искусства – священны. Мы не в силах не только повредить или разрушить произведение искусства, но не можем и сколько-нибудь существенно вторгнуться в его пространство, что-то изменить в нем. Это пространство сакрально. Любое вторжение или его попытка способны создать лишь копию, еще одну интерпретацию, тогда как само произведение искусства остается самоотождественной, неизменной реальностью. В западноевропейской культуре появляется фено-



мен музея. Сакральное пространство произведения искусства расширяется до пространства музея, выставочного зала. Всем знакомо чувство благоговения, охватывающего посетителя музея. Пространство музея сакрально. Именно этим воспользовалось новейшее искусство, артефакты которого не обязаны быть тщательно сделанными работами. Они вообще могут не быть искусством в классическом понимании. Достаточно того, что они выставляются в сакральном пространстве, причастном к искусству. Пространство музея становится подобием рамы, внутри которой любой объект начинает восприниматься как произведение искусства.

2. Необходимость сакрального и его упадок в искусстве

Русская религиозная философия не оставила законченных и тщательно разработанных эстетических теорий. Тем не менее в работах В. Соловьева, Н. А. Бердяева, В. Вейдле, П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева, С. Н. Булгакова и других русских мыслителей мы находим многочисленные отсылки и обращения к эстетическим проблемам и вопросам искусства. Как правило, все эти проблемы разрешаются религиозными философами в сопоставлении искусства с религией. Искусству здесь отводится подчиненная роль. Многие авторы прямо заявляют о губительности для искусства разрыва с религией. Так, например, В. Вейдле отмечает:

«Не искусство служит человеку, а человек через искусство, на путях искусства, служит божественному началу мироздания. Искусство «...» всеми корнями своими уходит в религию, но это совсем не значит, что оно может религию заменить; наоборот, оно гибнет само от длительного отсутствия религиозной одухотворенности».¹

В этой небольшой цитате можно отметить парадокс, свойственный подобному мировоззрению в целом. Здесь говорится, что человек служит через искусство божественному, то есть искусство все же выполняет некую сакральную функцию, но в то же время оно не способно ни стать религией, ни существовать отдельно без религиозной одухотворенности. Парадоксальность этого утверждения раскрывается перестановкой слов «религия» и «искусство». После такой перестановки первая часть фразы полностью сохраняет свой смысл (искусство тождественно религии), а вторая, хоть это и прозвучит для многих спорно, тоже кажется исполненной некоего глубокого реформаторского смысла.

Как и многие его современники, Вейдле видит признаки культурного кризиса в наступлении техники. В частности, он противопоставляет

¹ Вейдле В. Умирание искусства. Путь Жизни. Париж, 1937. С. 68.



художника и машину, рассуждая об упадке искусства в век машинной цивилизации. Гибель искусства предсказывалась многими в первой половине XX века. Собственно, как и гибель классической науки и культуры в целом. В чем же были правы авторы подобных высказываний о закате искусства, а в чем они ошибались?

Одним из русских мыслителей, неоднократно обращавшихся к проблемам искусства, был П. А. Флоренский. Обладавший разнообразными талантами, Флоренский оставил ряд оригинальных работ в различных областях. Его искусствоведческие работы, посвященные русской средневековой иконе, остаются актуальными до сих пор. Его заинтересованность проблемами знака и символа и умение сочетать, казалось бы, несочетаемое во многом предвосхитили методы современной семиотики. Но почему Флоренский придавал исключительное значение искусству иконописи? Не только ведь потому, что был глубоко верующим человеком и имел сан священника. Нет, он был действительно убежден, что средневековая русская икона является наивысшим и непревзойденным образцом живописи. Это убеждение было основано на двух предпосылках.

Первое, на чем основывается Флоренский, – это деление культур на два типа: созерцательно-творческую и утилитарно-механическую. Первый тип культуры представлен культурой средневековой, а ко второму типу Флоренский относит, в частности, западноевропейскую культуру Нового времени начиная с эпохи Ренессанса. По его мнению, секуляризация культуры и позитивизм науки способствовали деградации искусства и культуры. В живописи, например, это проявилось в использовании законов и инструментов оптики, в частности – линейной перспективы и камеры-обскуры. Флоренский много и подробно пишет о достоинствах обратной перспективы русской иконы перед «механистической» линейной перспективой, ставшей ключевым живописным приемом в эпоху Возрождения. Очевидно, что речь здесь идет об абсолютизации некоего формального признака, который необязательно несет всю приписываемую ему нагрузку. Внутри самой живописи нет критерия, по которому можно установить однозначное преимущество одного из многочисленных способов отображения трехмерного пространства на двумерное. Такое предпочтение можно сделать, только исходя из каких-то внешних (как говорил Бахтин – «внеэстетических») соображений. Флоренский делает свой выбор, опираясь на тип культуры. На чем же он основывает этот выбор? Это выглядит несколько парадоксально, но Флоренский ссылается на данные современной науки. В частности, он упоминает психофизические эксперименты, утверждая, что эти эксперименты доказали естественность обратной пер-



спективы для зрения человека. Указывая на негативное влияние позитивистского подхода в одном случае, Флоренский склонен опираться на него, когда это служит подтверждению его собственных гипотез.¹

Второе положение, из которого исходит Флоренский, рассуждая о преимуществах иконописи, заслуживает пристального внимания. Искусство определяется у Флоренского как деятельность по организации пространства. Такое искусство – это *технэ* в широком, платоновском смысле. Сюда включается вся практическая деятельность (техника, производство, транспорт) и наука с философией (в этом случае речь идет об организации ментального пространства). Как способ организации пространства одни виды искусства тяготеют к технике (очевидным образом это – архитектура, скульптура), а другие – к философии и науке (литература). Эти идеи достаточно оригинальны. На них, в частности, в свое время обратили внимание советские семиотики, открывшие для себя Флоренского. Согласно Флоренскому, живопись, основанная на обратной перспективе (и вообще, живопись, далекая от фотографического копирования действительности), имеет высший разряд в классификации искусств хотя бы потому, что этот способ изображения находится ближе к духовным способностям человека и дальше от техники и методов пространственных вычислений. Чем является такое изображение? Не связанное с действительностью напрямую, лишь опосредованно, через сознание человека и его воображение, оно является *символом*.

Если искусство есть способ организации пространства, то создаваемый им *образ* – из-ображаемый (или во-ображаемый) символ – есть некая точка пространства, особое место среди миров, где действительность пересекается с миром невидимых сущностей. Очевидно, что для религиозного мыслителя наиболее подходящим местом для осуществления такой связи представляется искусство религиозное, в частности иконопись. Заметим, что, несмотря на весь накал религиозного отношения к символу и миру инобытия, здесь делается шаг в сторону освобождения искусства от обязательств перед религией как таковой. Символ, сопрягающий действительность и мир вечных сущностей, самодостаточен, онтологичен. Такой символ являет собой некую *материальную* точку, пространственный излом, через который мир невидимых сущностей проникает в плоть действительности. Символ в таком понимании есть как бы фрагмент одушевленной природы. Но тогда все искусство есть не что иное, как способ бытия одушевленной природы.

Идея двойственности символа находит дальнейшее развитие в работах

¹ Здесь и далее обсуждается работа: Флоренский П. А. Обратная перспектива // Собр. соч.: В 4 т. Париж: YMCA-Press, 1985. Т. 1.



А. Ф. Лосева. Скрытый у Флоренского платонизм здесь обнаруживается в полной мере. Действительность искусства у Лосева соотносится с творимым им образом, а мир вечных сущностей (форм) – с первообразом. Творение формы – процесс ускользающий, не полностью подчиняющийся воле художника:

«Художник творит форму, но форма сама творит свой первообраз. Художник творит что-то определенное, а выходит две сферы бытия сразу, ибо творимое им нечто есть как раз тождество двух сфер бытия, образа и первообраза одновременно».¹

Созданная художником форма сама «творит свой первообраз». Эта фраза не имела бы смысла (была бы тавтологией), если бы речь шла о первообразе конкретной художественной формы. Но речь здесь, по-видимому, идет о диалектике образа и первообраза в самом широком смысле. «Творимое», то есть произведение искусства, оказывается не чем иным, как символом в понимании Флоренского, то есть пересечением двух сфер бытия одновременно. Искусство приобретает черты ритуального действия, сопрягающего сферы бытия. Художник, являясь участником ритуала, не в силах управлять этим ритуалом до конца, будучи обращенным лишь к одной его стороне, а именно – к образу.

Комментируя приведенную выше цитату из Лосева, В. В. Бычков полагает, что первообраз соответствует здесь «глубинному смыслу» образа.² Получается, что эта самовозникающая, не зависящая от художника глубинная суть произведения есть некая совершенная форма, «первообраз формы», *идея* формы. Произведение искусства у Лосева состоит как бы из двух форм: одна создается художником, а другая (первичная, истинная, идеальная) прорастает из этой только что созданной формы. Сложная конструкция, которая тем не менее неплохо иллюстрирует двойственность и самоотждествленность символа, его ускользающую суть. В форме нет ничего, кроме формы, как в символе нет ничего, кроме символа. От искусства не требуется быть чем-то иным, но только – искусством. Проводя читателя через нагромождения тезисов и антитезисов, Лосев приходит к синтезу понятия художественной формы в соединении противоречий, проявляющихся как «необходимость и свобода». Первое подчиняет форму строгим законам, сравнимым с законами природы, а второе оставляет место для работы воображения как художника, так и рецепиента его творчества. Подобные идеи близки к подходам, разрабатывавшимся примерно

¹ Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. М.: Академический проект, 2010. С. 123.

² Бычков В. В. Русская теургическая эстетика. М.: Ладомир, 2007. С. 337.



в то же время в феноменологической эстетике и герменевтике, например у Х.-Г. Гадамера.¹

Другим мыслителем, близким кругу Флоренского, был С. Н. Булгаков. В книге «Свет невечерний» Булгаков разрабатывал основы эстетики, которую можно назвать «теургической» или «софийной». Оба понятия заимствованы из философии Вл. Соловьева и сводятся к пониманию деятельности художника как осуществлению божественного замысла в действительности (теургия) посредством восприятия и изображения неких высших *софийных* сущностей. Цель искусства С. Н. Булгаков видит в «служении красоте», причем не искусство творит красоту, а «красота создает искусство, призывая к алтарю своему его служителя».²

По мнению Булгакова, искусство является «наиболее религиозным элементом внерелигиозной культуры». Развивая идеи Флоренского о том, что культура обязана своим происхождением культу, Булгаков рассуждает на темы близости религии и искусства. Здесь мы встречаем весь набор идей, характерных для многих представителей русской религиозной философии.

«Между культом и искусством существует особенно тесная связь. Их сближает общая им благородная бесполезность пред лицом мира сего с его утилитарными ценностями, одинаковая их хозяйственная ненужность и гордая расточительность. <...> Искусство, посвящая себя религии <...> скоровано было аскетическим послушанием, которое не вредило ему лишь до тех пор, пока выполнялось искренно и свободно, но стало невыносимым лицемерием и ложью, когда аскетический жар был им утрачен. Это мы можем наблюдать в эпоху Ренессанса, когда религиозные сюжеты нередко трактовались без всякого религиозного настроения, причем в действительности в них разрешались задачи чистой живописности. <...> В эпоху «культуры», т. е. всяческой секуляризации, область культа уже не получает художественного обогащения, не знает новых обретений. <...> Из всех «секуляризованных» обломков некогда целостной культуры – культа искусство в наибольшей степени хранит в себе память о прошлом в сознании высшей своей природы и религиозных корней».³

Основой эстетической концепции Булгакова является декларирование утраты целостности культуры, понимаемой исключительно как «культ». При этом предполагается, что расцвет культуры/культа наблюдался в эпоху европейского Средневековья, а после Ренессанса начался глубокий и продолжительный спад. Искусство рассматривается в качестве помощни-

¹ Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного.

² Булгаков С. Н. Свет невечерний. С. 330.

³ Там же. С. 326–327.



ка культа, обогащающего его образами, поэтому роль и качество искусства закономерно снижаются в секулярную эпоху. Остается только ждать, когда общество вернет культ на подобающее место, а искусство, снова став религиозным, получит шанс на настоящее возрождение. В целом здесь сохраняется пессимизм, отмеченный уже у Вейдле и Флоренского, заявлявших об упадке искусства в секуляризованной культуре.

Книга «Мир как осуществление красоты. Основы эстетики» Н. Лосского представляет собой курс лекций, прочитанных автором в Париже в 1930–1940-х годах, и является одной из немногих попыток создать законченное эстетическое учение в рамках русской религиозной философии. Центральным в эстетике Лосского становится понятие *красоты*, понимаемой им как «чувственно воплощенное духовное или душевное бытие». «Духовное бытие» здесь неразрывно связано с христианским пониманием истинного бытия и опирается на понятие абсолютной ценности.

«Красота никогда не существует сама по себе, без других положительных ценностей, она всегда координирована с какой-нибудь другой положительной ценностью, но вместе с тем она глубоко отличается от каждой из них: красота есть особая специфическая ценность, присущая чувственному воплощению положительных ценностей».¹

Эстетика Лосского имеет черты аксиологии. Искусство объявляется связанным с религией: «Великое искусство состоит в связи, сознательной или подсознательной, с проблемами религии и со всеми абсолютными ценностями».²

Лосский говорит о красоте как о «чувственном явлении идеи», ссылаясь на Шеллинга и Гегеля. Искусству отводится роль изображения идеала красоты, причем идеала, согласованного с христианскими ценностями. Это не так сильно отличается от типичных идей русской философии. Новизна появляется, когда Лосский обращается к проблемам «эстетического созерцания». Он начинает с рассуждений о гегелевском освобождении от конечного в момент созерцания прекрасного и приходит к выводу, что для постижения красоты необходимы все три вида *интуиции*: «чувственная, интеллектуальная и мистическая». Заметим, что все эти три вида интуиции соответствуют трем видам воображения, связанным с искусством, наукой и религией. За специфичным стилем и лексикой религиозного философа мы находим у Лосского мысль о том, что искусство, дающее человеку возможность выхода за пределы конечного, предполагает одновременное

¹ Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М.: Прогресс-Традиция, 1998. С. 118.

² Там же. С. 301.



обращение ко всем трем видам воображения. В момент взаимодействия с произведением искусства человек становится художником, ученым и религиозным мистиком в одном лице.

Уже у Лосского при обсуждении идеала духа появляется термин «свободная бесконечность», но наибольшее развитие тема творчества и свободы получает в работах Н. Бердяева. «Свобода» для Бердяева – наивысшая положительная ценность. В некоторых моментах учение Бердяева отличается от основного русла русской религиозной философии и напоминает европейскую философию. Бердяев расходится в оценке Ренессанса с большинством современных ему русских мыслителей. Он не считает создание произведения искусства в рамках канона подлинно творческим актом, который для Бердяева есть акт преодоления «мира сего». В частности, Бердяев замечает:

«Каноническое искусство имманентно этому миру, не трансцендентно. Оно хочет лишь культурной ценности, не хочет нового бытия. <...> Мировой кризис творчества есть кризис канонического искусства, он предваряет творческую религиозную эпоху».¹

Бердяев критикует Ренессанс не за излишек индивидуализма и зарождение секулярного искусства, а за то, что, по его мнению, творческая энергия Ренессанса была растрочена, но рождение истинно нового искусства так и не произошло. Это ожидаемое, новое искусство Бердяев относит к некоей будущей «творческой религиозной эпохе». Здесь, как и большинство русских философов, он опирается на понятие «теургия», полагая, что новое, истинно творческое искусство будет найдено на путях обновленной религиозности и это новое искусство создаст не просто новую красоту, но новый мир. Строки из его книги «Смысл творчества» звучат как манифест нового искусства:

«Теургия не культуру творит, а новое бытие <...> Теургия – искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее. <...> В теургии слово становится плотью. В теургии искусство становится властью. <...> Теургия есть действие человека совместное с Богом – богодействие, богочеловеческое творчество».²

Концепция теургии первоначально была предложена в трудах Вл. Соловьева, который был вдохновителем для многих философов русского Серебряного века – времени последнего русского духовного ренессанса в начале столетия. По замечанию известного исследователя работ Вл. Соловьева, он «не имел равных себе по глубине разработки принципа пан-

¹ Бердяев Н. Смысл творчества. М.: АСТ, 2007. С. 231.

² Там же. С. 252.



религиозности бытия».¹ Соединение природного и духовного в рамках символистского отношения к миру становится у Соловьева основанием для понимания теургии как культурной деятельности, неразрывно сопряженной с деятельностью религиозной, – как сотрудничество человека и Бога.

Любопытно, что все приведенные выше заявления об упадке искусства у русских мыслителей идут на фоне необычайного подъема как европейского, так и русского искусства в первой половине XX века. Это свидетельствует о недопонимании процессов, происходящих в современной культуре. С другой стороны, эти люди сами были яркими представителями русского модернизма начала века. Их модернистский проект заключался в попытке реформации православия на путях совмещения его с идеями символизма и специфичным модернистским мифотворчеством. Суть современных процессов – секуляризация культуры, и как следствие – эклектичность, фрагментация, появление новых форм и направлений были верно уловлены русскими мыслителями, но негативные выводы и бесчисленные упреки в разрыве традиционных культурных связей делались с позиций прежней, уходящей культуры. Парадокс заключается в том, что работы С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева и т. д. несут на себе яркий отпечаток эпохи, являясь примерами эклектичного модернистского творчества. Ни о какой стилистической и семантической целостности тут не может быть и речи. В то же время проявления целостности (концепция всеединства) и целостность как таковая являются неизменным предметом этих работ.

3. Искусство как пространство сакрального

Не будет преувеличением сказать, что вся человеческая деятельность направлена на разграничение и освоение пространства. В случае хозяйственной деятельности это очевидно. В случае умственной деятельности речь идет о разграничении ментальных пространств и методов мышления. То же самое относится ко всей культурной деятельности человека, которая в основе своей есть деятельность по установлению и охране границ.² Эти мысли кажутся достаточно очевидными, но существенным дополнением к ним будет то, что человеку свойственно объявлять отгороженные пространства *сакральными*. Это нетрудно заметить повсюду. Семья, дом, город, страна, образование, профессия, конфессия, партия, национальность,

¹ Ермичев А. А. Имена и сюжеты русской философии. СПб.: Наука, 2004. С. 119.

² В этом проявляется сходство с природной жизнью, подчиненной интересам рода, когда самец ограничивает доступ других самцов к самкам, обеспечивая продолжение *своего* рода.



раса, пол – все это примеры тех областей и зон, где каждый из нас хотя бы раз в жизни был способен почувствовать, а может быть, и чувствует постоянно присутствие неких особых и священных смыслов и правил, недоступных и несвойственных *другому*.

Сакральное, *sacrum*, есть отношение пространственное. Речь идет не только об очевидной оппозиции верх/низ, хотя и это немаловажно, но вообще – об установлении границ, очерчивании и выделении территории, наполненной смыслами. Внутри сакрального пространства действуют законы ритуала, принятого его адептами, здесь царит закон и эстетическая цельность, в то время как снаружи властвуют обыденность и эклектика. Искусство, наука и религия создают сакральные пространства. Но если в науке и религии есть внутренние перегородки, обусловленные теми аспектами, о которых мы говорили выше, то в искусстве таких перегородок нет. Искусство открыто всем и всему. Границы искусства прочерчены не столь однозначно и резко, как у науки и религии. И все же искусство отделяет и выгораживает себя из природы. Будучи помещенной внутрь рамы, картина отделяется от окружающего пространства и начинает восприниматься как искусство (Ю. Лотман). Рамой может служить не только физическая перегородка, подобная раме картины или сцене театра, но и, например, название произведения. Оно выделяет произведение из безмолвия окружающего мира, создает возможность самодостаточного, замкнутого бытия. Нет искусства без имени. Если у произведения искусства нет имени, то его заменой становится имя художника, или первая строка стихотворения, или порядковый номер музыкальной пьесы, или дата и место создания произведения. Все это – знаки разграничения, пограничные столбы искусства. Но это лишь внешнее разграничение. Более глубокие линии раздела идут вдоль границ того, что мы называем «формой».

Искусство есть направленная деятельность по созданию формы. Этим оно отличается от всего остального, что делает человек. Идея П. А. Флоренского о том, что «вся культура может быть истолкована как деятельность организации пространства»,¹ при ближайшем рассмотрении приводит к

¹ Продолжение этой цитаты позволяет, в частности, понять типологию деятельности по Флоренскому: «В одном случае это – пространство наших жизненных отношений, и тогда соответственная деятельность называется техникой. В других случаях это пространство есть пространство мыслимое, мысленная модель действительности, а действительность его организации называется наукою и философией. Наконец, третий разряд случаев лежит между первыми двумя. Пространство или пространства его наглядны, как пространства техники, и не



далеко идущим последствиям. Не только культура, но и вся деятельность человека (если и можно выделить какую-нибудь человеческую деятельность, не относящуюся к *культуре*) имеет характер пространственной активности. Умственная деятельность, как известно, может происходить при полной неподвижности, но любой результат умственной деятельности проявляется в мире как некое пространственное различие, будь то ряд письменных знаков или звуковых волн речи. Человек занимается организацией (то есть упорядоченным преобразованием) пространства. «Организация» объединяет процессы упорядочивания и преобразования. Предполагается, что организованное пространство будет иметь некие другие свойства по сравнению с пространством неорганизованным. И это действительно так. Все, что лежит за границей нашего знания, не является упорядоченным и организованным в системе знания, сохраняя черты первозданного хаоса. Человек очеловечивает окружающую действительность, вписывая ее факты в систему своих представлений. Не важно, что эта система постоянно нуждается в корректировке под давлением новых фактов, важно то, что она никогда не меняется целиком, сохраняя преемственность. Это определяет единство человеческого мира. Это может быть понято и телеологически, как признак того, что истинное знание, которое, вероятно, является нашей целью, хоть и остается принципиально недостижимым, все же существует в виде некой конечной цели, частные, ограниченные пространством и временем приближения к которой и составляют цепочку всего нашего прогресса.

Мы ограничены в наших представлениях о мире хотя бы потому, что наши чувства и способности восприятия ограничены нашими физическими возможностями. Это ограничение имеет характер более глубокий, чем может показаться. Рассмотрим, казалось бы, простейшую, первичную способность к ориентации в пространстве. Не вдаваясь в подробности анатомии и физиологии, располагающих знаниями о наличии специфических органов ориентации, как, например, внутреннего уха или мозжечка и всего отдела мозга, отвечающего за восприятие визуальных образов, мы можем отметить, что способность к ориентации обязана самой структуре тела, имеющего невидимую снаружи, но чувствительную для каждого асимметрию. Какие возможности нашего рассудка позволяют нам отличать правое от левого, верх от низа и понимать, что впереди и позади нас?

допускают жизненного вмешательства – как пространства науки и философии. Организация таких пространств называется искусством» (*Флоренский П. А. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях // Собр. соч.: В 4 т. Париж: YMCA-Press, 1985. Т. 1).*



Очевидно, все это не может не быть связанным с природной асимметрией тела, задающей асимметрию наших чувств и пространственных представлений.

Если «верх – низ», «вперед – назад» задаются структурой тела и расположением органов чувств, то понятия левой и правой сторон представляются более тонкими. И все же, ориентируясь в пространстве, сверяемся ли мы каждый раз с сигналами и положением внутренних органов? Очевидно, что нет. Эта способность, по-видимому, определяется тем, какое воздействие тело человека имеет на сознание, или, говоря иначе, видение мира. Благодаря этому видению мы отличаем правое от левого. Схожая с этим интуитивная ориентация характерна для человека и в других основных вопросах бытия. Как человек различает правое и левое, так он способен отличить истину от лжи, добро от зла. Ориентация в мире нравственном непременно должна иметь атрибуты ориентации человека в мире физическом, поскольку речь идет о самых изначальных, глубинных свойствах человеческой природы. Не потому ли мы соотносим все доброе в человеке с сердцем, поскольку сердце определяет нашу внутреннюю, независимую от мира способность к ориентации? Не потому ли мы соотносим все высшее в человеке с его разумом, поскольку мозг находится в самой верхней части тела?

Все это не может быть случайным, и человек является лишь подтверждением принципа разумности всего сущего. Поскольку если бы мы и могли представить себе шарообразное существо, лишенное всякой асимметрии (о таком существе говорил Платон), то вряд ли это существо соотносилось бы в нашем понимании с образом человека, каким мы знаем его не только из своего опыта, но и из всего огромного собрания артефактов культуры и истории. Асимметрия, таким образом, становится чуть ли не первичной основой человечности. В каком-то смысле это и не может быть иначе. Что пользы от всех слов и теорий, если бы они содержали только одно, заведомо известное с точностью до геометрической симметрии, знание, оперирующее понятиями, зеркально выводимыми одно из другого? Особенность нашего разума проявляется в его отношении к миру. Вот, есть мир. Но есть и разум, который не довольствуется простым симметричным отражением этого мира, находя новые, подчас парадоксальные пути освоения, познания и построения картины этого мира. Внутренняя сущность всего этого процесса явлена в нашей способности ориентации. Эта способность есть и у животных. Но только в человеке она достигает своей наивысшей силы, давая ему способность ориентироваться в тех пространствах, которые не доступны органам чувств.



Боги и произведения искусства самотождественны и неизменны. Теряя свою сакральность частично или полностью, боги продолжают жить в искусстве. Искусство способно хранить сакральное, потому что его объекты внеприродны. Искусство – это не только прямой вход в трансцендентное, но и единственно доступная всем нам реальность трансцендентного. Образы искусства стоят по другую сторону границы между действительностью и воображением. Воображение – вот корневой признак, выделяющий человека из мира природы. Большая часть деятельности современного человека обособлена от природы и не зависит от нее напрямую. Но в этой деятельности есть две особые формы, два направления, которые всецело обязаны своим существованием воображению. Это – религия и искусство. Сюда можно было бы записать и науку, но она не захочет такого соседства. Наука, по крайней мере в ее чистом, позитивистском ключе, несет в себе нечто такое, что существенно отличает ее от религии и искусства.

Религия, наука и искусство, как и все виды человеческой деятельности, обязаны воображению и его использованию для проникновения в действительность и взаимодействия с ней. Отношение к действительности оказывается тем барьером, который разделяет искусство и религию, но главным образом отделяет науку. В отличие от религии и искусства наука не только признает действительность как независимую данность, но и декларирует постоянную изменчивость как этой действительности, так и своего представления о ней. Последнее происходит таким образом, словно наука не доверяет воображению (она действительно ничего не принимает на веру), требуя все новых и новых подтверждений конструкций разума и воображения, опровергая и улучшая старые и создавая на их месте новые, которые снова будут подвергнуты последующему пересмотру и обновлению в свой черед.

Религия и искусство действуют прямо противоположным образом. Перефразируя известный афоризм, можно сказать:

«Боги не умирают». Уходит культура, когда-то породившая их, но боги продолжают жить, они неизменны и вечны. Это же относится к религии и искусству. Культ не может отказаться от своей основы, переосмыслить, улучшить ее. Искусство не может отказаться от своих творений, неизменность и *всевременность* которых близки к абсолютным. Раз появившись, боги и произведения искусства остаются неизменными. Наука не хочет и не может входить в круг тех видов деятельности, где признается и пестуется абсолютное, неизменное бытие. Только боги и произведения искусства обладают способностью являть собой абсолютное.

Является ли европейское искусство продолжением христианства?



– Да.

Готово ли христианство принять искусство как свое дополнение и продолжение?

– Да.

Все это возможно, но только если и искусство и религия станут тем, чем они призваны быть, – вместилищем, домом и пространством трансцендентной реальности, единственной реальности и единственным подлинным домом человека в окружающем его космосе.

*Бронников А. В. Третье бытие. СПб: Владимир Даль, 2020.
(Серия книг «Слово о сущем», том 125). – С. 90–113*

* * *

Я узнаю поэта не по рифме, а по особой стати.
Попробуй быть вулканом, через который хлещет
Расплавленный металл из недр земли.
Попробуй быть пером, в руке зажатым у Того,
Кто всё здесь сотворил. Я вижу этот блеск.
Я слышу это слово. Неважно, сколько лет
Или веков прошло, я знаю – нас немного.
И каждый из нас знает, что и другой здесь есть.
Зачем же повторять из века в век слова?
Зачем нам эта мука – искать разбросанные вещи Бога?
И подносить, и говорить: возьми.
Как будто Бог-малыш разбрасывает камни,
Машины, города, дома, людей, моря, животных, звезды –
Свои игрушки. Поэт – их собирает, отстраивая мир.

Андрей Бронников. ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД. СПб: Владимир Даль, 2016. Стр. 47.



Светлана Передереева
Канада, Квебек

Кандидат химических наук, автор ряда научных статей в области химических технологий (Россия, Канада). Серьёзно интересуется поэзией – автор публикаций в альманахах Международного научно-творческого семинара «Школа сонета». Участница Крымских Международных Шмелёвских чтений (Музей И. С. Шмелёва в г. Алушта, Крым).



**Фрагменты истории русской православной
церкви за рубежом по переписке
И. С. Шмелёва с Раисой и
Людмилой Земмеринг**

*Архив «A Register to the Raissa G. Zemmering Papers
(Hoover Institution Archives, Stanford University, 2008)» [1, 1-a]*

Представляется интересным рассмотреть, каким образом в переписке Ивана Сергеевича Шмелёва, певца православия, с Раисой Гавриловной Земмеринг и её дочерью Людмилой Земмеринг, выявляются фрагменты истории русской православной церкви за рубежом.

По политическим, экономическим и культурным причинам Франция, где прошли годы эмиграции И. С. Шмелёва, стала одной из главных стран, принявших поток русских после революции 1917 года и разгрома Белой Армии. Церковь – остаток потерянного, рухнувшего мира, – выдержала это крушение. Будучи иногда использована как политический инструмент, она была для беженцев, прежде всего, источником сил, необходимых, чтобы пережить особо тяжёлые условия эмиграции и сохранить свою духовную идентичность. Такой источник находила для себя Р. Г. Земмеринг в переписке с И. С. Шмелёвым, оказывая ему насущно-жизненную, душевную поддержку в поздний период жизни и творчества писателя.

Глубокое упование православных эмигрантов, верящих в то, что их изгнание промыслительно, что они призваны возродить на Западе издревле



присущее ему Православие, – вызывает глубокое уважение. Основатели Братства святителя Фотия были убеждены – Господь допустил революцию, чтобы очистилась Церковь, и Православие распространилось по всему миру. В письме № 6 от 13.VI.36 [2] И. С. Шмелев пишет Раисе Гавриловне: *«...что ж, в беде нашей есть и доброе, проникает наше и в чужие души. Недавно узнал, что в Сорбонне франц. проф. Жюль Легра дает своим студентам, изучающим русскую литературу, для перевода на франц. яз. отрывки из моих книг. И сам, мастер, как же перевел из «Рождества» отрывок! <...> Не о себе говорю Вам, а о н а ш е м, проникающем в мир. Много помогло сему горе наше».*

Временное Высшее Церковное Управление (ВВЦУ) Русской Православной Церкви за рубежом (РПЦЗ) назначило управляющим западноевропейскими русскими церквями архиепископа Евлогия (Георгиевского) на правах епархиального архиерея временно, впредь до возобновления правильных и беспрепятственных сношений означенных церквей с Петроградом, каковое назначение было подтверждено Указом Патриарха Тихона (указ № 424 от 8 апреля 1921г.). Имя архиепископа Евлогия всего лишь один раз упоминается в материалах архива, и даже не в тексте Шмелева., а в Примечаниях к письму № 22 от 7.X.1937, сделанных при перепечатке машинописи И. С. Ш., однако результаты подвижнической деятельности архиепископа, в том числе, и по поддержанию существующих православных храмов, и по открытию новых, так или иначе отмечены в текстах писем И. С. Шмелёва.

Вот как писатель описывает в письме № 15 от 28.IV.1937 празднование Пасхи в Париже: *«Христос Воскресе, милья-чудесная, – Воистину Воскресе.<...> Говеть надо, но – какое моё говенье! Возьму Ивушку¹ и в Аньер, в четверг, и там и покаемся и причастимся...».* В г. Аньер, близ Парижа, в 1931 г. был создан приход, благодаря деятельности которого во главе со священником о. Мефодием (Владимир Кульман), храм превращается в один из важнейших духовных центров русского зарубежья. Об отце Мефодии писатель пишет в год, когда сын Раисы Гавриловны Коля, выбирает жизненный путь служения Богу. Из письма № 59 от 6.II.47: *«Да, п р и з ы в а е м ы е на путь отречения от себя и несения Креста в о – И м я, для очищения потрясающе грязной жизни, ныне нужны сугубо. Знаю: ма-ло достойных <...> Лишь одного достойного знаю – о. Мефодия, при церкви в Аньер, д е л а т е л я истиннаго.»* В Юбилейном сборнике прихода [3] упоминается о собрании, посвященном столетию кончины

¹ Ивушка – Ив Жантийом – сын Ю. А. Кутыриной, племянницы жены писателя О. А. Шмелёвой



А. С. Пушкина, и об участии в нём маститого писателя И. С. Шмелева с чтением отрывка из «Старого Валаама» и о собрании в мае 1941 г., в котором с большим интересом были прослушаны прочитанные Шмелевым его произведения. При храме существовала женская монашеская община, многие члены которой подвизались позднее в монастыре Покрова Пресвятой Богородицы в Бюси-ан-От (последнем пристанище Шмелёва).

Далее в письме № 15 от 28.IV.1937: *«На первый день Христ. Воскр. буду в С-Жен. Но ночью не смогу там быть, т.к. кладбище по франц. прав. отпирают только в 6–7 утра. Мне трудно сидеть там между чужими – и где там! – после заутрени, до 6 ч.! Я буду в Серг. Подв. потом у проф. Карташева¹, у кумы моей – Ивика крестили! – до первого метро, и – на автобусе, кот. уходит в 8.30.»* Речь идёт о кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где была похоронена жена Шмелёва, Ольга Александровна. Русских православных послереволюционной волны эмиграции начали здесь хоронить с 1929 года. Пребывая в Ментоне в октябре 1937 г. в ожидании визы в Италию и визита в Леванто к Александру Амфитеатрову Иван Сергеевич пишет в письме № 22 от 7.X.1937 г.: *«Тоскую по Ste-Genevieve».*

Сергиево Подворье – это Свято-Сергиевский православный институт богословия, учреждённый в 1925 году, после проведения Второго съезда Русского студенческого христианского движения, и ставший одним из духовных центров русской эмиграции. Именно на Свято-Сергиевом Подворье в 1927 г. впервые было проведено богослужение на французском языке.

В письме № 50 от 5.V.1943 встречается упоминание Александроневского собора на рю Дарю, где было венчание Ивика и его французенки-невесты: *«В Вел. Субботу крестили (я за крестного) невесту Ивика <...> Она – милая, <...>, сама ознакомилась с ветвями христианства и выбрала православие.<...> Венчали в соборе на rue Dariu, пышно, с хор. Афонского. Я – за посаж. отца (2 мая).».* Статус кафедрального собора храм имеет с 1922 г., когда митрополит Евлогий учредил центр епархии русской эмиграции в Париже. В соборе отпевали многих известных людей русской эмиграции, в частности, И. С. Тургенева, И. А. Бунина, Ф. И. Шаляпина, В. И. Кандинского.

В этом же письме № 50 И. С. Шмелёв упоминает хор Николая Петровича Афонского, талантливейшего регента Русского Зарубежья, основателя знаменитого «Парижского митрополичьего хора», который наполнял пространство храма гармонией, украшая строй богослужений.

¹ А. В. Карташев – церковный и общественный деятель, профессор Свято-Сергиевского богословского института.



В переписке прослеживается, своего рода агиография европейского православного священнического арсенала. В первом письме архива (№ 1 от 13.II.1933) Шмелёв сообщает Раисе Земмеринг, что он «...позволил себе написать, не зная его лично, арх. Иоанну, на собор, предполагая, что он может знать Вас: Вы писали, что были в соборе и молились. Увы, не все чутки, и уважаемый пастырь не ответил мне, очевидно сочтя письмо мое за пустяк и блажь; очевидно не проникся серьёзностью моих мотивов. А я ему – извиняюсь – изложил все ясно». Однако, следует оправдать Архиепископа Иоанна (Поммер), зная его труды во имя православия и его последующую судьбу. Многие годы спустя была оценена колоссальная роль Архиепископа Иоанна в получении автономии Латвийской церкви в составе Русской Церкви и в открытии Рижской духовной семинарии. Его деятельность встретила ярое недовольство многочисленных разного толка врагов. Архиепископ был убит на архиерейской пригородной даче в ночь с 11 на 12 октября 1934 г. За свою мученическую смерть Иоанн Рижский в 1981г. был прославлен РПЦЗ как священномученик, а позже – в 2001 г. – решением Священного Синода РПЦ имя Владыки Иоанна было включено в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века.

В связи с упоминанием латвийской церкви уместно заметить, что семья Земмеринг проживала в Риге на ул. Кр. Барона. На этой же улице находится Троице-Сергиев монастырь (основан в 1891 г.) с расположенным на его территории Свято-Троицким собором, который посещал Император Николай II. В письме № 6 от 13.VI.36 Шмелёв пишет Раисе Гавриловне: *«Непреренно побываю в Вашем монастыре. Мне это особенно нужно, нужно зарядиться духовно – для работы над 2-ой, ответственной частью “Пут. Неб.” Поговорю-повидаюсь со старцами...»*

Год 1937-й для русской эмиграции был особым – годом чествования 100-летия смерти А. С. Пушкина. Владислав Ходасевич писал, что чествуя Пушкина, «мы уславливаемся, каким именем аукаться, как нам передвигаться в надвигающемся мраке»[4]. Время пушкинского юбилея обернулось для Шмелёва весьма бурными событиями, отражающими историю русской православной церкви за рубежом. В уже упомянутом письме № 15 от 28. IV.1937 он сообщает: *«Дважды отклонял приглашение в Прагу, – сказать о русской культуре и о Пушкине, и не удалось отмахнуться. 13 мая, в «День Рус. Культ.», буду говорить, а 14 – мое литерат. чтение, по просьбе Союза Писателей. А оттуда, дня через 2–3 предполагаю поехать в обитель преп. Иова, что на Пряшевской Руси, к монахам... – там издаётся “Правосл. Русь”.<...> И трудная там колония наша, многие очешились, много – левых.*



<...> *От этой поездки вряд ли что у меня останется, и потеряю месяц, но ... м. б. облегчу душу в обители в Карпатах...*». Однако же – Прага весьма впечатлила Ивана Сергеевича. Из письма № 19 от 22.V.37, написанного уже из монастыря Св.Иова на Карпатах: *«Привет из русской обители на Подкарп. Руси. <...> Здесь отдыхаю с 18.V, после тройного выступ. в Праге, где меня слушало около 2000 народу. В “День культ.” 13. V. говор. о П-не, – победил Прагу, гнездо эс-эров и демокр. Неожд. для меня, все собрание встало в овациях, даже эс-эры /нерзб./ Счастл., что мог послужить нац. делу. Обласкан, одарен любовью и дарами. Чудесный Владыка Сергей.»* Шмелев осчастливился встречей с архиепископом Сергием Пражским (Королев), выдающимся пастырем XX века. Главное послание владыки: *«Царство Божье начинается здесь, на земле»*. В приписке к этому же письму № 19 упомянут игумен Исаакий: *«В соборе иг. Исаакий, говоря о /неразб./ и Пушкине, – свел на меня, чем очень смутил. Правда, через 2 часа, на торж. выступ. я постарался оправдать церковную аттестацию»*. Иг. Исаакий, впоследствии архимандрит Исаакий (Виноградов), на протяжении 17 лет был ближайшим помощником архиепископа Сергия (Королёва); в конце 1957 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I благословил архимандрита Исаакия нательным образом Божией Матери и вручил ему посох – принадлежность епископа, знак высшей пастырской власти.

В письме из Ментоны № 21 от 24.IX .1937 И. С. объясняет Р. Г., что болел после блистательной поездки в Прагу и на Карпаты, и для смены парижской обстановки он совершает поездку по Французской Ривьере. Из этого же письма: *«Здесь меня одолели читатели, и я д.б. два раза читать для бедных аристократов, устроившихся в Рус. Доме и Рус. Очаге. Тут «разделение церквей», и надо было удовлетворить обе стороны <...> Изъявила желание меня слушать гостившая здесь Вел. Княг. Ксения Алекс., сестра покойного Государя»*. По воспоминаниям митрополита Евлогия [5], приходская жизнь в знаменитой церкви иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» и Николая Чудотворца в Ментоне некоторое время была в разладе из-за разделения на «евлогиан» и «карловчан». «Карловчане» выступали против постановлений Синода РПЦ безбожной матери-церкви, подвергающей гонениям православных священников и верующих, и только себя они считали носителями «канонической правды» русской церкви. «Евлогианцы» видели свою правду в том, чтобы поддерживать Патриарха и не выходить из лона матери-церкви, понимая, что Патриарх вынужден поддаваться давлению новой власти, дабы сохранить остов церкви.

Длительное пребывание осенью в Ментоне в ожидании визы в Италию, где планировались чтения о Пушкине в Милане, не радовало Ивана



Сергеевича; он пишет (письмо № 21 от 24.IX .1937): «Устал. <...> Быв. дни – не могу и молиться. <...> Эта Ментона, море вызыв. тяж. воспоминания – Крым»; однако в следующем письме № 22 от 7.X.1937 Шмелев выражает удовлетворение сопричастностью к православной жизни юга Франции: «Познакомился с чудесным Владыкой архиеп. Владимиром...». Архиепископ Ниццкий Владимир (Тихоницкий), управляющий викариатством Южной Франции, являлся последовательным евлогийцем: после отстранения, решением Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) митрополита Евлогия от управления русскими церквами в Западной Европе, он отказался от временного управления ими и, как и митрополит Евлогий, перешёл в 1931 г. в юрисдикцию Константинопольской церкви. В письме Раисе Гавриловне № 59 от 6.II.47 Архиепископ Владимир Тихоницкий упоминается в его бытность ректором Свято-Сергиевского Богословского института в Париже; И. С. Шмелев просит Л. Г. Земмеринг посодействовать в издании на русском языке карманного формата «Богомолья»: «Пособите, милые, чистому делу. На-до. <...> книг этих нет уже годы ... а оне становятся «подарочными», их ищут для «елок», их ищут для школ ... – мне говорили знающие, – посл. раз – арх. Владимир, бывший у меня.»

В Архиве Раисы и Людмилы Земмеринг, кроме Арх. Иоанна Рижского, Владыки Сергия Пражского, Владимира Тихоницкого упоминаются и другие архипастыри РПЗЦ.

Так, в письме № 46 от 2.I.1943 И. С. Шмелев вспоминает о Митрополите Антонии, который «...в последние дни, перед кончиной, приказывал келейникам читать ему “Богомолье”...». На заседании ВРЦУ (Высшее русское церковное управление за границей, образованное Карловацким Собором 21 нояб.- 2 дек. 1921 г. в г. Сремски-Карловци в Сербии) под председательством Митрополита Антония (Храповицкого) было заслушано обращение «К чадам Русской Православной Церкви, в рассеянии и изгнании сущим», которое носило чисто политический характер, содержало призыв к восстановлению на российском троне «законного православного царя из дома Романовых». Неудивительно, что по Указу Москвы Заграничные русские архиереи Карловацкой группы были запрещены в священнослужении, и прежде всего, – митрополит Антоний и архиепископ Анастасий (Грибановский)... (Архиепископ Анастасий упоминается в переписке И. С. Шмелёва и Р. Г. Земмеринг наиболее часто в 40-е годы).

С архипастырем РПЗЦ Виталием (Максименко) И. С. Шмелёву не приходилось общаться, но заветная мечта писателя, – монастырь Св. Иова в



Ладомирово на Пряшеской Руси с типографией при нем, куда стремился писатель, – результат подвижнического служения архимандрита Виталия. Из письма на почтовой открытке № 19 от 22.V.37: «...Здесь чудесно, тишина, иноки – ...<...>... Диву даюсь. Русь. Бабы и девки – балерины, по 20 юбок / нерзб./ и голоногия – чудеса. Говор. – по-русски. Поля, луга, кукушки, баня... – и труд и молитвы. Это не Печеры, а Русь Святая. Останусь здесь по 5. VI.» Будучи монархистом по своим убеждениям, архимандрит Виталий прибыл в царскую ставку в Могилёв, чтобы умолять Государя взять своё отречение назад. В 1934 г. архимандрит Виталий был хиротонисан в Белграде во епископа Детройтского, управляющего приходами РПЗЦ в Северной Америке, с местопребыванием в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле. К нему желал бы Шмелев обратиться, обсуждая с Раисой Гавриловной выбор жизненного пути её сына, Коли (письмо № 60 от 29.VII.47): «А я писал о Коле. Да, – думается, его путь – по его духу – верный... Почему бы не просить благословения у Владыки – в мон-рь Арх. Вит. – “к Троице”? <...> Обитель уже отпочковала силы миссиан.-творящие: о. Иова – Леонтъева и Ростислава¹. Я их знал. Они ныне в служении. Дивлюсь промыслению, провидению арх. В.! Уготовал “кровь священный” для птенцов своих... о, какой же дивный избранник влад. А-сия! ... За 16–17 л. принял послушание и – приготовил ... И ныне с в е т и т Обитель св. Троицы. Спросите же совета мудрого вл. Ан. Я с волнением прочел его жизнеописание: н а з н а ч е н на путь великий и наитруднейший... и не оставил п о л о с ы ... ведёт и сеет, – как все планомерно, как все в Божием Плане!» Монашеское братство преп. Иова Почаевского существовало в 1923–1946 гг. на территории Пряшевской Руси, населенной в значительной степени русинами. Упомянутый в приведенном выше письме о. Иов (Леонтъев) – игумен, во главе с которым не уехавшие в США монахи создали в пригороде Мюнхена новую обитель прп. Иова Почаевского. В этом же письме № 60 от 29.VII.47 упоминается еп. Серафим: «Посл. месяцы я в смуте и тревоге. <...> И я стал помышлять – не за Океан ли, где вольно дышать, где мысль и дух не связан, где я м.б. ещё успею завершить «Пути небесные»? <...> Думал об обители ... – и вот, п-о: еп. Серафим, со слов Арх. В. Пишет: «скажите, – и есть уверенность, что В. пойдут навстречу, без обяз. с В. стороны ... «хоть пока на один год.». Еп. Серафим (Иванов), настоятель монастыря Св. Иова Почаевского, в мае 1946г. эмигрировал вместе с братией в США, в Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле; именно он дал знать Шмелёву о беспокойстве Архимандрита Виталия за судьбу писателя.

¹ Неустановленное лицо.



И. С. Шмелев эмоционально реагирует на то, что отношение к русской православной церкви меняется в 1937–38 гг., что начались запреты на русские издания (письмо № 24 от 2.XI.37): «...Пишут мне горестное – и неожиданное. Оказыв., в Латвии запретили “Прав. Русь”! И никогда не разрешат, если изд-во не изменит заглавия, которое для них /латв. власти/ “совершенно одиозно”!! Что это – анекдот? Если – да, то – очень дурной. И, конечно – жалкий. Полагаю, что это – недоразумение. Кого может пугать заглавие? <...> Кому нужно сие? Страх перед словом – Русь? Но она есть, и – будет. Ничего подобного нет – и не было – в Чехословакии, где газета выходит, где Карп.Русь, вся почти, /неразб/ носит трехцвет. Флаг, р у с к и й, – где я публично говорил свободно о России и Православии <...> Буд. Россия должна жить-стоять на высоте духовной, на любви и братстве...». В следующем письме № 25 от 19. I. 38. он пишет: «Запретили даже “Детство во Христе”! Это чудовищная несправедливость. Зачем это?! Или не думают они, что подобное отзовется в будущем! Думают, что вечно будет СССР? <...> А вот и еще нелепость... в Германии запрещена “Няня <...> “Как не отвечающая нем. духу!” Буду писать Альфреду Розенб(ергу). или Геббельсу. Это же недоразумение!».

По этому письму вырисовывается обстановка в Европе перед началом Второй мировой войны по отношению к русским, русскому православию, – соответственно. Как трудно было разобраться в движущих силах европейской жизни! Разумеется, И. С. Шмелев не мог предвидеть, что в феврале 1938 г. будет издан декрет правительства Германии о переходе всех церковных имуществ в ведомство Рейхсминистерства церковных дел. В апреле 1936 г., Рейхсминистерство церковных дел Германии сообщило митрополиту Антонию, незадолго до его кончины, о решении правительства о строительстве нового кафедрального собора Воскресения Христова в Берлине на Гогенцоллерндамм частично на средства министерства. В ответ митрополит Антоний отправил министру письмо, в котором выражает чувство глубокой благодарности германскому народу и его славному вождю Адольфу Гитлеру. Так православие стало использоваться на службе Третьего Рейха против большевизма [6].

В это смутное время социально-политической жизни, Шмелев, ощущая свою неустроенность, ищет благоприятных условий для работы; после пребывания в Ментоне уже в январе 1938 г. он отправляется в Швейцарию, чтобы спокойно писать, находясь на пансионе друга-переводчицы. В письмах к Р. Г. З. из Швейцарии он мечтает о монастыре Св. Иова; так в письме-открытке № 26 от 6.II.38: «...Здесь я побуду до ½ апр., а там, если силы не изменят – в обитель, на Карпаты...». В следующей открытке № 27



от 18.IV.38: «В Праге, если Бог даст, задержусь дн. на 5–6 /Пасху бы встретить в Церкви! – стосковался, а затем – в Обитель на Карпатах. Там, если буду в силах, должен бы много писать. Этого и хочу.»

Известно, как неоднозначно православные эмигранты реагировали на событие нападения фашистской Германии на СССР. Митрополит Анастасий, глава РПЦЗ, воздержался от какого-либо послания пастве в связи с началом войны на территории СССР, но в своём пасхальном послании в 1942 г. он пишет о дне воскресения, используя образ карающего германского меча, который рассекает оковы русского народа. В таком же духе И. С. Шмелев пишет Р. Г. Земмеринг почти сразу же после начала войны в письме № 32 из Парижа от 12.VII.1941: «...Эти дни я не могу ни писать, ни думать, все во мне бьется радостной надеждой. Да благословит Бог поднявшего меч на дьявола! Пришло время «Солнцу мертвых» гореть Солнцем Воскресения. Я живу моей Правдой: я 20 лет писал, отдавал всю душу, чтобы раскрыть человечеству глаза на ад, готовый все поглотить, книги мои читались на десяти языках...– и сколько было горьких дней отчаяния... – и вот, волею неповторимого в истории Гения, близится Общее Вокресение...».

По поводу начала войны Германии и СССР первым из духовенства выступил архимандрит Иоанн (Шаховской) 29 июня 1941 г. в газете «Новое слово»: «Промысл избавляет русских людей от новой гражданской войны, призывая на землю силы исполнить свое предназначение. Право на операцию свержения 3-го Интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу. <...> Операция началась. Неизбежны страдания, ею вызываемые. Но невозможно было провидению долее ожидать свержения 3-го Интернационала рукою сосланных и связанных на всех местах русских людей. <...> Новая страница русской истории открылась 22 июня 1941 года, в день празднования Русской Церковью памяти всех святых, в земле русской просиявших» [7]. В приписке к письму № 38 от 1.XII.41 Шмелев с восторгом просит Раису Гавриловну: «Мой горячий привет о. Иоанну Шаховскому! Он для меня – к.б. посланник Провиденья!». В среде русских эмигрантов проявлялось двойственное восприятие гитлеровского нашествия: с одной стороны – как нападение на большевистское зло, а с другой стороны – нападение на русскую землю. Сам Шмелев в этом же письме № 38 определяет эту двойственность как русский духовный катаклизм: «...Но все рвет душу, все – отвлекает. Как тут писать?! <...> Совесть зовет меня делать нужное, не могу б. в стороне в такую неизмеримую эпоху – “русская душа на крайнем изломе” – и мне, рус. пис-лю, надо ее узнать и осветить посильно. Я дам <...> ряд очерков – они д. иметь б. значение для постижения “русского духовного катаклизма”...»



В ходе военных лет отношение к событиям меняется, и уже в письме № 43 от 2.XI.42 И.С. пишет: «...Я почти 4 мес. болен. Это – итог моего вечера чтения: я слишк. напряг силы. Да и другие причины... – все эти события, история – апокалипсич. масштаба...»

В разгаре войны, ближе ко времени Сталинградской битвы, Шмелеву не разрешают писать много о русском, соответственно, о православии. В письме № 44 от 29.XI.42 он жалуется: «...грустно, что не могу изложить своей “системы” отношения к жизни, к миру... а главное – “о строительстве н о в о й жизни”, для чего необходима Вера, Божия помощь...».

Позже, в письме № 57 от 26.XI.46 пишет, как был укрощён гадаринский бесноватый: «Страдалицы милыя... конечно, – чудо. Страшной всех зверей сбесившаяся горилла. Но есть и на него управа – одна: Божьего “хлыста” страшится аки бес. “Ужас страны окрестной“, гадаринский бесноватый кротко сидел у ног Христа. Чудо. Вашими молитвами, вдохновеньем сердца М. – Бог сотворил сие. Славьте. Я перекрестился. <...> Только из “дикаря степного” можно высечь святую искру. Хотел бы слышать, чем бесноватый б. Укрощен. Чем? ... Конечно, с в е т о м, с в я т ы м чем-то...».

После войны И. С. Шмелёва упрекали в коллаборационизме. Однако писатель справедливо утверждал, что публикациями своих православных произведений он стремился показать истинный лик России в контрасте с немецкой голой антибольшевистской и антирусской пропагандой.

Ситуация после окончания войны привела к массовому исходу русских из Европы за океан – в США или Канаду. Огромное содействие выехать за океан оказывал Владыка Анастасий. Бедный-бедный Иван Сергеевич метался между желанием уехать и каждодневной привычной работой. Из двоянного письма (Раисе Гавриловне и Людмиле Земмеринг) № 59 от 6.II.47, в ходе хлопот по изданию «Богомолья» на русском языке, видится благолепное отношение Шмелева к Владыке Анастасию: «Передайте мою просьбу Владыке: он – чуткий и з н а е т, что такое “Богомолье“. <... > Моя мечта, чтобы “Богомолье” открыло с в е т темным о т т у д а! И я верю, что так будет: оно уведёт их к истоку благочестия, в обитель нашего Водителя – Преподобного!..». Огромно было влияние Владыки Анастасия на молодежь. Брат Людмилы Земмеринг, Коля, выбрал в жизни стезю священства; в письме № 60 от 29.VII.47 Шмелёв сопереживает, одобряет, взывает к советам Владыки: «Я понимаю Вас и Колю. Думаю, что К. путь н е на Афон! Там – замыкание в узком кругу. <...> Не мне судить. У Вас – какой свет-совет! – Владыка. Ему судить, и – его слушать. Он – весь наполненный; он глубоко талантлив. Мудрокультурен, и – подвижник. Он Вам – Апостол, следуйте ему. <...> Я счастлив, <... > что по письмам и житию-подвижу з н а ю Владыку А.».



Писатель умер от сердечного приступа во время посещения обители Покрова Божьей Матери Бюсси-ан-Отт (140 км от Парижа), чтобы взять благословение на продолжение работы над книгой «Пути небесные». В мае 2001 г. по инициативе русской общественности супругов Шмелевых перезахоронили в некрополе Донского монастыря в Москве.

Владыка Анастасий 24 ноября 1950 г. переехал из Мюнхена в Нью-Йорк, затем отбыл в Троицкий монастырь в Джорданвилле, где он и похоронен под алтарём.

17 мая 2007 года был подписан Акт о каноническом общении РПЦЗ и РПЦ. Никаких догматических отличий в вероучении и практике РПЦЗ никогда не было, что связано с тем обстоятельством, что её руководство всегда видело своей задачей сохранение православного вероучения и практики в неизменности и чистоте. Ввиду такой консервативной линии, РПЦЗ всегда жестко осуждала всё, что она считала отступлением от чистоты православия: софианство, «сергианство», экуменизм, «латинство». На страницах переписки И. С. Шмелева тема «разделения церквей» отмечена несколькими штрихами. Упоминалось о «разделении церквей» в Ментоне (№ 21 от 24.IX.37) и в письме № 57 от 26.XI.46 во время начала жизни после войны, когда даже выбор текста для печати в издательстве требовал крайней осторожности: «*“Острога” не издавайте, – пришьют. Мы несвободны. Тут не С.Ш.А. Не мешаюсь и в церковное неустройство*». Что касается отношения к разного рода «ересям», этого Шмелев в письмах практически не касается, разве что в письме № 59 от 6. II. 47 пишет: «*...надо много прочесть...<...> как побеждается “ум” сердцем, верой. Пример – С. Булгаков*». Учение Сергея Булгакова о Софии было осуждено на Втором Всезарубежном Соборе (1938 г.) в Сремских Карловцах.

15 сентября 2019 г. Русская Православная Церковь приняла главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции вместе с клириками и приходами в юрисдикцию Московского Патриархата. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провозгласил: «Это не просто церковное деяние – это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа» [8].

Примечания

1. Архив «*A Register to the Raissa G. Zemmering Papers*» (Hoover Institution Archives, Stanford University, 2008) в виде фотокопий был получен из Стенфордского университета (Hoover Institution Archives, Stanford University) по заявке автора эссе для использования в исследовательских целях.



Оригиналы всех бумаг по переписке И. С. Шмелёва с Р. Г. Земмеринг и Л. Г. Земмеринг хранятся в архиве Свято-Троицкой Семинарии в Джорданвилле. Более подробные данные об архиве и некоторые опубликованные письма можно найти в статье: Письма Раисе и Людмиле Земмеринг. Новый мир, № 11, 2004.

1-а. Настоящая статья в сборнике «ПОКРОВА, выпуск № 3» является перепечаткой оригинальной работы, опубликованной с согласия Администрации Библиотеки Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле, в Сборнике Конференции XXIV Крымские международные Шмелёвские чтения: «И.С. Шмелёв и писатели русского зарубежья» (Изд. АНТИКВА, Симферополь, 2020, С. 81 – 92).

2. В настоящем эссе номера писем соответствуют нумерации, указанной в архиве на полях рукописных текстов или перепечатанных на машинке копий. В эссе текст писем выделен курсивом. При приведении цитат из писем сохраняются грамматические особенности писем И. С. Шмелёва, авторские разрядки и пунктуация. Сокращения слов, встречающиеся в переписке, сохраняются; автор эссе полагает, что они легко поддаются расшифровке читателем. Необходимые лакуны текста при цитировании указываются, как принято, угловыми скобками. В тексте иногда, вместо указания полных имён «Раиса Гавриловна Земмеринг» и «Иван Сергеевич Шмелёв», встречаются их инициалы: И. С. Ш., И. С., Р. Г. З., Р. Г.

3. «Приходъ храма Христа Спасителя въ Аньерѣ. 1932–1957» (составитель П. А. Беклемишевъ). *France*, 1957, С. 26

4. Выставка «Материалы о А.С.Пушкине в фондах Дома русского зарубежья» – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.bfrz.ru/index.php?mod=static&id=1021>

5. Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной. *Adobe Acrobat Reader DC*, С. 277.

6. М. В. Шкаровский. «Крест и свастика. Нацистская Германия и Православная Церковь». – М.: Вече, 2007.

7. Митрофанов Георгий. Пастыри и пасомые под игом коммунизма. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.kievorthodox.org/site/personalities/660/>

8. Евгений Ломов «Теперь мы вместе». Историческое воссоединение части «Русского экзархата в Европе» с РПЦ. – Электронный ресурс. –

Режим доступа: <http://narpolit.com/kulturnyj-sloj/teper-my-vmeste-istoricheskoe-vossoedinenie-chasti-russkogo-ekzarkhata-v-evrope-s-rpts-moskovskogo-patriarkhata>

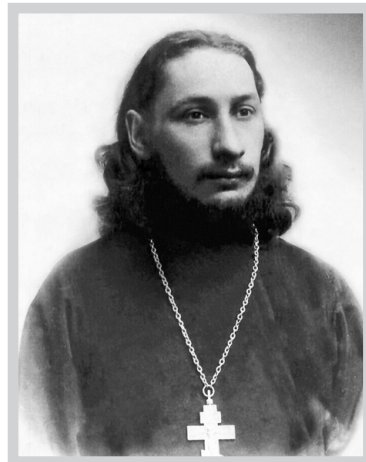
alberdperesvetov@yandex.ru



Павел Флоренский (1882–1937)

Россия

Священника и богослова Павла Флоренского называют Вторым Леонардо. Диапазон его научных интересов был фантастическим: математик, физик, изобретатель, филолог, философ, историк религий, поэт, знаток истории искусств.



Горизонт его интересов был безграничен: кому-то Флоренский известен как инициатор спасения святыни Троице-Сергиевой лавры – главы преподобного Сергия. А для тех, кто читал его письма семье, отец Павел, прежде всего, – человек: удивительный отец, муж, сын. Знаменитое духовное завещание своим пятерым детям было им начато ещё в 1917 г. в предчувствии скорой катастрофы. Но основным памятником любви к близким стали его письма из тюрем и лагерей. «Это была последняя из созданных Павлом Флоренским наук – наука расставанья, – пишет публицист Д. Шеваров. – И эта наука – самая понятная для всех нас. Она о том, как, находясь в разлуке с детьми, можно чувствовать их рост, влиять на их устремления, питать их ум и душу, имея в распоряжении лишь клочок бумаги, карандаш и любящее сердце».

Павел Флоренский родился 9 января 1882 года в Закавказье. В 1899 году поступил на физико-математический факультет Московского университета, а в 1904 году – в Московскую Духовную Академию. В 1911 году принял священный сан. В 1928 году впервые был выслан, но вскоре освобождён. Сознательно отказался от эмиграции. В 1933 году был арестован и отправлен на Дальний Восток. В 1934 году переправлен на Соловки, где занимался проблемой добычи йода и агар-агара из морских водорослей и сделал ряд запатентованных научных открытий. 8 декабря 1937 года отец Павел был расстрелян, о чем его родные узнали лишь в 1989 году.



Завещание...

*Моим детям: Анне, Василию и
Кириллу и Олечке –
на случай моей смерти*



1917.IV.11 Сергиев Посад

1. Прошу вас, мои милые, когда будете хоронить меня, – приобщаться Святых Таин в этот самый день, а если уж будет никак нельзя, то в ближайшие дни. И вообще прошу приобщаться вскоре после смерти моей **чаще**.

2. Обо мне не печальтесь и не скорбите по возможности. Если вы будете радостны и бодры, то мне этим доставите успокоение. Я всегда буду с вами душою, а если Господь позволит – буду часто приходить к вам и смотреть на вас. Но вы уповайте на Господа и на Его Пречистую Матерь и не печальтесь.

3. Самое главное, о чем я вообще прошу вас, – чтобы вы помнили Господа и ходили пред Ним. Этим я говорю всё, что имею сказать. Остальное – либо подробности, либо второстепенное. Но этого не забывайте никогда.

4. Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти.

1917.V.8.

Старайтесь записывать всё, что можете, о прошлом рода, семьи, дома, обстановки, вещей, книг и т. д. Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, к роду, знакомых, родных, друзей. Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме и пусть всё около вас будет написано воспоминаниями, так чтобы ничего не было мертвого, вещного, неодухотворенного.

5. Дома, библиотеки, вещей не продавайте, без самой крайней нужды. Главное же мне хотелось бы, чтобы дом оставался долго в нашем роде, чтобы под крылом Преподобного Сергия вы, и дети, и внуки ваши долго-долго имели крепость и твердую опору.



1917.VII.6. Сергиев Посад

6. Моё убеждение – что роду нашему должно иметь представителей у Престола Божия. Моё чувство – что тысячи вразумлений Божиих и тысячи подстерегающих враждебных глаз направляют наш род к одной цели – не изменять назначенному нам стоянию в олтаре Господнем. Отказ от этого стояния, бегство олтаря поведет к тяжелому року над нашим домом.

Мне думается, то тяжёлое, что пережил наш род, начиная от деда, есть следствие уклонения от олтаря Господня. Пусть же в каждом поколении хоть один будет иерей, лучше всего – как я, то есть иерей для себя, иерей ради службы Божией, имеющий ремеслом что-нибудь особое! Подумайте об этом, сыны мои!

7. Мне думается, что задачи нашего рода – не практические, не административные, а созерцательные, мыслительные, организационные в области духовной жизни, в области культуры и просвещения. Старайтесь вдуматься в эти задачи нашего рода и, не уклоняясь от прямого следования им, по возможности твердо держаться присущей нам деятельности.

8. Не ищите власти, богатства, влияния... Нам не свойственно всё это; в малой же доле оно само придёт, – в мере нужной. А иначе станет вам скучно и тягостно жить.

1919. VI. 26. Сергиев Посад

9. Дети мои милые. Это время революции было так тяжело, как только можно было себе представить; было – и есть, и Бог знает, сколько еще продлится. Эпидемические болезни, голод, невероятная дороговизна, бесправие, возможность всякого насилия – всё, что только можно представить себе тяжёлого, не отсутствовало кругом нас. Но Милосердие Божие, Покров Пречистой Девы и Помощь Преподобного Сергия, а также молитвы Иеромонаха Исидора и Епископа Антония, а может быть – и Архимандрита Пимена – не оставляли нас, и великим чудом мы не терпели недостатка, хотя по человеческому разумению должны были бы тысячу раз умереть от голода, холода и болезней, а также претерпеть все виды насилий. Милые мои дети, Господь хранил нас, мы не оставались без Его Покрова. Не забывайте никогда, прошу вас и завещаю вам, этого времени вашего детства и всегда обращайтесь за помощью к Господу, Божией Матери, угоднику Божию Сергию, и ещё святым Николаю Чудотворцу, преподобному Серафиму и своим Ангелам. Обращайтесь с горячею просьбою и мольбою о помощи к друзьям и покровителям нашего дома Иеромонаху Исидору и Епископу Антонию и Архимандриту Пимену. Не забывайте этого, помните, опытами многими убедился я, убедились мы в



действенности молитв и просьб к ним. И ещё раз скажу, не забывайте их, милые мои, обращайтесь к ним с каждой нуждой, помните, что в лице их вы имеете домашних покровителей, знавших нас и любивших нас и заботившихся о нас при жизни своей.

1920.VI.3

10. Мои милые, в это тяжёлое время друзья и знакомые много помогали нам, и без помощи их нам не выжить бы. Многие проявляли доброту и внимание, нами не заслуженные. И вы, мои хорошие, будьте всегда в жизни добры к людям и внимательны. Не надо раздавать, разбрасывать имущество, ласку, совет; не надо благотворительности. Но старайтесь чутко прислушиваться и уметь вовремя придти с действительной помощью к тем, кого вам Бог пошлёт как нуждающихся в помощи. Будьте добры и щедродательны.

Когда же вам самим будет плохо, то воззовите к Богу, обратитесь к святым угодникам – к Николаю Чудотворцу, к преподобным Сергию и Серафиму, обратитесь к покровителям нашего дома, о которых я говорил вам уже. Верьте, мои милые, что я говорю по многому опыту, – они не оставят вас без помощи.

Много-много раз я убеждался в действительности молитв к ним и не бывал не услышан, когда просил их. И вот, мои родные, мои родимые, никогда не забывайте молиться и обращаться за помощью к небесным покровителям. Из друзей же, помогавших нам, в особенности назову: Наталию Александровну Киселеву, Софию Сергеевну Тучкову, Софию Ивановну Огневу, некоторых моих учеников по Академии.

11. Мои милые, грех, который особенно тяжело было бы мне видеть в вас, это зависть. Не завидуйте, мои дорогие, никому. Не завидуйте, это измельчает дух и опошляет его. Если уж очень захочется что-то иметь, то добывайте и просите у Бога, чтобы было желаемое у вас. Но только не завидуйте. Мещанство душевное, мелочность, дерзкие сплетни, злоба, интриги – всё это от зависти. Вы же не завидуйте, утешьте меня, а я буду с вами, и сколько можно мне будет, буду молить Господа о помощи вам.

И ещё – не осуждайте, не судите старших себя, не пересуживайте, старайтесь покрывать грех и не замечать его. Говорите себе: «Кто я, чтобы судить, и знаю ли я внутренние побуждения, чтобы осуждать?» Осуждение рождается большей части из зависти и есть мерзость. Воздавайте каждому должное почтение, не заискивайте, не унижайтесь, но и не судите дел, которые вам не вручены Богом. Смотрите на своё собственное дело, старайтесь сделать его возможно лучше, и делайте всё, что делаете, не для



других, а для себя самих, для своей души, стараясь из всего извлечь себе пользу, назидание, питание души, чтобы ни одна минута вашей жизни не утекала мимо вас без значения и содержания.

Москва. 1921.III.19-20. Ночь у В.И. Лисева. Суббота под воскресенье.

12. Милые мои детки, тоскует моё сердце по вас. Когда вы вырастаете, то узнаете, как тоскует отцовское и материнское сердце по детям. И тоскует оно по моей бедной маме, которая сидит одинокая и к которой нет сил приблизиться внутренно. Много-много хочется написать мне вам. Приходят вереницы мыслей и чувств, но нет ни времени, ни сил записывать. Вот одно, что особенно настойчиво просится к записи:

Привыкайте, приучайте себя всё, что бы ни делали вы, делать отчётливо, с изяществом, расчлененно; не смазывайте своей деятельности, не делайте ничего безвкусного, кое-как. Помните, в «кое-как» можно потерять всю жизнь, и, напротив, в отчетливом, ритмическом делании даже вещей и дел не первой важности можно открыть для себя многое, что послужит вам впоследствии самым глубоким, может быть, источником нового творчества. Почему-то в этом отношении я спокоен за Олечку и отчасти за Киру и более всего опасаясь, что мой первенчик Васенька оплошает и будет жить спустя рукава. Дай Господи, чтобы это было не так. Но опасаясь, что Вася выйдет в своего дядю Шуру.

И ещё.

Кто делает кое-как, тот и говорить научается кое-как, а неряшливое слово, смазанное, не прочеканенное, вовлекает в эту неотчётливость и мысль. **Детки мои милые, не позволяйте себе мыслить небрежно. Мысль – Божий дар и требует ухода за собою. Быть отчётливым и отчётным в своей мысли – это залог духовной свободы и радости мысли.**

1922.VIII.14.

Давно хочется мне записать: почаще смотрите на звезды. Когда будет на душе плохо, смотрите на звезды или на лазурь днем. Когда грустно, когда вас обижают, когда что не будет удаваться, когда придёт на вас душевная буря – выйдите на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успокоится.

1923. 19 марта ст. ст. Перед отъездом в Москву. Великий Понедельник.

Милое моё дитяtko Мик, ты всё болеешь, не выходя из болезней и страданий. Не вини свою маму, моё родное; она страдала и страдает больше твоего – время твоё мучит тебя. Да будет вовеки над тобою, мой ясный



ангел, Покров Матери Божией! Знай, что мы любим тебя всю душою и плачем над тобою, мой сыночек родной. Живи на радость себе и всем. Господь да хранит тебя, дитятко.

Печатается по изданию: Священник Павел Флоренский. ДЕТЯМ МОИМ. *Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из Соловецких писем. Завещание.*

М. Московский рабочий. 1992. Стр. 440–444.

(Из серии книг: ГОЛОСА ВРЕМЕН. Древнего пламени след).

* * *

О. Павел Флоренский

На мотив из Платона

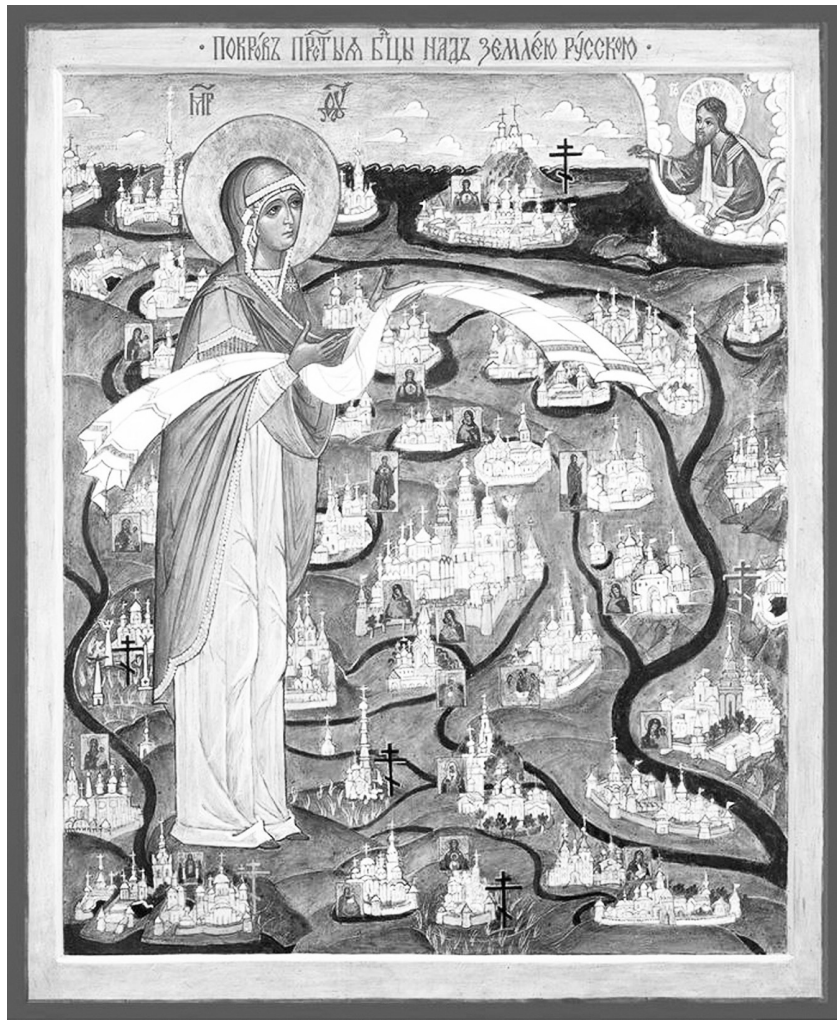
Душа себя найти желает,
Томится по себе самой,
Тоскливо по себе вздыхает
И плачет в горести немой.

Дрожащий в тусклых очертаньях
Пред ней витает мир идей,
И Эрос, – мощный чародей, –
Душой во сне или в мечтаньях

в какой-то миг овладевает.
Душа томится и рыдает.

И вот почудилось, что снова
Душа-близнец ей найдена.
Полет в Эфир свершать готова
на белых крыльях не одна.

Но сон проходит, и тоскливо
она взирает вокруг, стена,
И шепчет страстно-сиротливо:
«Найди меня, найди меня...»
1905



ФЕСТИВАЛЬ



Дорогие друзья, к сожалению, известные всем глобальные ковидогенные обстоятельства предельно ограничили возможности реального проведения наших традиционных ежегодных поэтических фестивалей, но поэту всегда есть что сказать и о чем подумать, свидетельством чего, надеемся, станет и эта наша рубрика.

Редактор



Эляна Суодене *Литва, Каунас*

Доктор гуманитарных наук. Инициатор и организатор ежегодных Фестивалей православной поэзии «Покрова» и Форума русской поэзии стран Балтийского региона «Поэтодень». Руководитель Каунасской литературной студии «Поэтоград». Создатель Центра культуры им. Л. П. Карсавина (г. Каунас). Автор 15 сборников стихов и многочисленных публикаций в периодических изданиях.



...Несознаваемое в нас...

Из стихов, пришедших недавно...

* * *

...Несознаваемое в нас
Ведёт работу непрестанно
И откликается подчас
Гораздо раньше мысли явной

На событийную канву,
Даруя искры озарений,
Как будто слышим вещий звук –
Предвестник правильных решений...

Незамутнённости наших чакр –
Залог тончайших восприятий,
Когда тончайший капилляр
Четко сканирует реальность...

07.07.21



* * *

...Что было в предсуществовании?
Какие сердцу снились сны?
Лазоревые, осиянные,
Святой исполнены мечты?

Когда впервые прозреваем,
Когда впервые видим свет,
Тогда – мы словно осязаем
Грядущей жизни вещей спектр...

Это мгновение – предтеча
Наших прозрений наяву –
Тех, что в обличье человеческом
преодолеть не в силах тьму...

В сиянии солнцестояния
Как в апогее временном
Порою прозреваем заново,
Ночной одолевая стон...

Словно впервые видим солнце,
Словно впервые ласки ждём,
И счастье ощущаем остро
Лишь оттого, что мы живём
Предощущеньем благодати –
Всем просветлённым естеством...

...и луч касается сетчатки,
духовным светом отражён...

11.06.21



* * *

...В часы сиятельных торжеств
Сгущается земное время,
Прикосновений горних свет
Пронизывает все мгновения,

И отворяется портал,
Где проясняются все смыслы,
И сердцевина бытия
Пulsирует мечтой лучистой,

И кажется – вот он, притин,
Предел желаний осиянный,
И сладостен слиянья миг
С душой блаженной мироздания...

Ты чувствуешь светопоток
Как импульс подлинного знания,
Входящий в оболочку форм,
Плоть наполняющий сиянием...

13.06.21

* * *

...Святого духа бытие
в июньском горнем полдне...
струится неботканый свет,
сердца блаженством полнит...

на головы учеников
снисходит божье пламя,
и звуки древних языков
припоминает память...

посыл божественной любви
войдёт в людские души,
и небо растворится в них,
преобразуя сущее...

20.06.21



* * *

...А что такое благодать?
это – когда сиянье лета
пронизывает плоть и стать,
потоки источая света...

вот что такое благодать –
это когда поток эфира,
как музыки световолну
преисполняет горний клирос,

когда дыханья полнота
в смирении пречистом
предощущает строгий лад
гармонии провидчества...

* * *

...струись в меня, сиятельный восторг,
струись в меня с высот лазурных,
я слышу солнечные струны,
лучей неизъяснимый ток...

струись в меня, господняя весна,
и наполняй мои движенья
высокой сладостью постиженья
земного мира естества...

струись в меня, божественный июнь,
даруй мне полноту блаженства,
чтоб в откровении чудесном
призванья прояснялась суть...

струись в меня, божественное лето,
одень меня в воздушные вуали,
чтоб счастьем очи возблистали,
весь спектр отражая света...



* * *

...мне нравится ходить по облакам,
я ощущаю их поверхность,
ступнёй касаясь чуть по-детски,
как было в самых ранних снах...

мне нравится выстраивать каркас
воздушных замков неботканых
из утренних воздушных масс,
июньским солнцем осиянных...

мне нравится придумывать фасон
из лёгкости воздушных нитей,
как будто солнечный восторг
вошёл в органику событий...

29.06.21

* * *

...взаимных много притяжений,
взаимопрорастаний в текстах,
взаимосвязей напряжения,
где страх и муза ходят вместе.

над жизнью торжествует красота,
и это их двоих спасало...
взаимных множество цитат,
ссылок, намёков непрестанных...

ах, ласточка, касатка и кассандра!
ах, этот лебедь, ввысь взметнувший!
как много тайного накала
и тем её в нём соприсутствия!

“что знает женщина одна о смертном часе”
от «смерного ль часа жду?»
ах, эта зоркость ахматовская,
всматриваясь в строку!



и так же она подключалась
к системе его корневой,
когда прозерпина ступала
по жизни – тропе луговой.

был их диалог непрерывный
эфиром запечатлён,
их перекликались палитры,
звучанья сканируя строй...

01.07.21

* * *

...блаженны те, кто смог соприкоснуться
с мелодией высоких чисел,
те, кто их сопрягал с искусством,
гармонии вверяя мысли...

блаженны те, кто, в поисках причины,
не потерял своё лицо,
не разменял на лоск личины,
блажен, кто не сломился, смог!

трёхмерный мир обогащён четвёртым,
и трансцендентная реальность есть,
и формы красота воскормит
поступок, слово, жест...

мы пребываем в вечных антитезах –
космос и логос, иль – материя и дух,
и музыка спасает сердце,
облагораживая слух.

07.07.21



* * *

...в нас бесконечность образа,
подобия безмерность...
так в мире мер и створок
неуместимо детство...

но как же филигранна
любая из деталей
в строении галактик,
хоть замысел глобален...

душе порой так трудно
даётся её вечность,
и красота поступков –
свидетельство Божественного...

безмерность и детали,
всеобщность в гранях формы –
всю жизнь мы постигаем
всебытия законы...

но нечто есть такое,
чего не разгадать –
превыше всех законов
Святая Благодать.



Лайма Дебесюнене

Литва, Каунас

*Поэт, прозаик, переводчик, журналист.
Печатается в литовских и зарубежных
литературных изданиях и на сайте stih.ru.*

Но вернусь опять

(Четыре хокку)

Прожитые дни –
Бисер мгновений моих –
Пусть блещут для вас

Как жемчужина
Или слеза на щеке
Сутью бытия.

Не прощаемся,
Лишь манят дали теперь,
Но вернусь опять...

И примчится весть –
Гимн бесконечной любви –
Память обо мне...



Разве в жизни такое бывает?

Не сумели любовь сохранить.
Здесь мы оба с тобой виноваты,
И не стоит друг друга бранить –
Мы на поле любви, как солдаты.

Здесь упрёки совсем не нужны.
Радость, горе делить не сумели,
Но неясно, что делать должны –
Разойтись бы пора... Неужели?..

Вот и думай, решай и гадай,
Как спасти, что спасти невозможно...
Обещание лучше мне дай –
Будем вместе, хоть это и сложно...

Постараться всё снова начать?
Разве в жизни такое бывает?
Надо слово одно лишь сказать –
И улыбка, как солнце, сияет...



Ольга Деньковская

Литва, Вильнюс

Бухгалтер, экономист. Училась в аспирантуре и на Высших курсах в Москве. Работала в Госбанке, на промышленных предприятиях и в Госкомтруда Литовской республики, читала лекции и публиковала статьи об экономике Литвы в республиканской и общесоюзной прессе. Создатель Литобъединения «ЛОГОС». Пишет стихи и исторические повести.

Тебе

*М. Н. Качанову**

О, мой далёкий нежный друг!
Мне с каждым днём дороже время –
Не то, что просто «на досуг»,
А то, что убивает время

Моих друзей, моих подруг,
Моих людей, таких наивных...
И постигаешь тайны вдруг,
Сей жизни суть и век твой длинный.

Тебе он нужен, чтоб успеть
Осмыслить всё и подытожить,
Не то, чтоб многого хотеть,
А преуспеть и преумножить

Во имя правды и добра,
И справедливости чтоб ради,
Чтоб память лучшего вчера
Не затереть в своей тетради.

А то, что горечью горит,
Не оправдать, а вскрыть наружу.



Душа без смысла не болит –
Ты очень в этой жизни нужен...

Я принимаю эту жизнь
Такой как есть... Пусть торжествует!..
Но ты попробуй, удержишься!..
Вот это больше всех волнует.

Не сколько дал и сколько взял,
А Млечный Путь и даль морская!
Пусть правит страшный криминал,
Но я пока ещё живая...

И этот нежный яркий свет
Я в миг почувствую едва ли...
Негодований больше нет –
Лишь ностальгия и печали...

Уйдём, оставив добрый след,
Вдохнём надежду полной грудью.
И как сказал один поэт:
«Я знаю – это время будет!».

** Стихотворение написано при жизни поэта в 2006 году, а в июне 2010 года он покинул этот мир на 91-ом году жизни.*



Олег Долгунов

Литва, Вильнюс

Инженер. Руководитель производственного предприятия. Стихами увлекается практически всю жизнь. Автор книги стихов «Той женщине» (1997). Неоднократно публиковался в периодических изданиях и сборниках стихов.

* * *

Над окнами сомкнутся облака,
День перегретый влагой остудить,
Сплетется воздух в дождевую ткань,
Такую хоть на выкройки клади.

Постель застелешь после стирки – знак,
О том, что будет вечер и ночлег.
Метнется солнца золотой пятак
На самый край лесов, морей и рек.

Про день расспросишь обо всем, решив,
Что некогда искать источник бед ...
И в маленьком хранилище души
Забьются робко мысли о тебе.



* * *

В те дни хотелось темноты
Самодостаточной, лояльной,
Пластинки, голоса рояля,
Окна на замерший пустырь,
Безлунной ночи. В облаках
Неторопливо отпирали,
И свет песком крошился с края
Изношенного пятака.
Катился поезд сам собой
То ли в Ростов, то ли на Каспий,
И мотылек сражался насмерть
С настольной лампой голубой.

...Шестнадцать двадцать пять...

Декабрь, зима, в назначенный им час,
Как сказано в писании – до знака,
Снежинки закружились, тенью на пол
Их двойники явились, но очаг
Не подпустил их ровно на два шага,
А от окна дорожка в коридор -
Бегущих точек молчаливый дождь
Догадки подтвердил – зима большая,
Считайся с ней и помни про февраль.

Тогда одна из женщин, нам известен
Ее и псевдоним, и адрес местный,
Мне говорила, что достигнут край,
Блестящей вилкой трогая посуду,
Что скоро мне изменит, вышел срок,
Устраиваться надо ... Между строк
Я все читал не так, но мы не судьи.
Я думал про нее, не торопясь,
О том, что был любим и стал не нужен,
И швондеры хотят ее на ужин ...

Зима была, шестнадцать двадцать пять.



Галина Иванова

Литва, Вильнюс

Окончила Вильнюсский инженерно-строительный институт. Член Российского СП, лит. студии «Родник», клуба «Светоч», лит. клуба им. Г.Р. Державина и Гильдии литераторов «Вингис». Автор книги стихов «Метаморфозы жизни» и книги стихов и прозы «Дум и странствий карусель».

Заблудшие души

Фальшивый нимб благопристойности,
Обман духовности и совершенства
Возникнут вдруг с избытком вольности,
Греховным ощущением блаженства.

Людские заблуждения ничтожны –
От правды жизни бы уйти скорей...
Бывают искренние в них, возможно –
Подобно легкомыслию детей.

Не ведаем мы о душевной муке,
Что заблуждение в себе несёт.
Взглянуть в глаза должны мы жизни скуке –
Жива душа, коль в ней Господь живёт!



Набат тишины

Обманна мысль, что пустота – ничто!
Она набатом гулко прокричит,
И крик немой вдруг из души – за что?!
Когда изранена, кровоточит.

Страшнее нет истерзанной души –
Любой ущерб в сравнение не идёт.
Как научиться боль не ворошить?!
Может, тогда страдание уйдёт.

Не допускать должны мы боль в себя –
Страх перед жизнью – дьявольский расчёт,
Когда победу злобную трубя,
Он на Голгофу душу призовет.

Измена и предательство любви –
Что может быть страшнее для души?!
А если так, то Бога позови,
С Благословеньем боль свою глуши.

Покой нам только снится

Стремление к душевному покою,
В реке житейской плыть без потрясений
Вдруг обернётся серою тоскою
Без видимых на то причин, явлений.

А жизни вкус – и терпкость, и усладу
Проявит тонкость ощущенья бытия.
Чувств остроте, эмоциям награду
Определит Господь – жизнь прожита не зря.

Обманчиво желание покоя –
Быть наблюдателем на жизненном пути.
Ты будешь выбит всё-таки из строя
Нежданно резким проявлением судьбы.



Спаси Господь от этих потрясений:
Сомнения и горестных утрат.
Принять должны мы множество решений –
Помолимся же Господу сто крат!

Пытка памятью

Прополоть бы мне памяти грядку,
Вырвать с корнем крапиву-траву,
Чтоб не жалила больше украдкой,
Не терзала бы душу мою.

Память нас не оставит в покое,
Как хотели б о многом забыть...
Мысли лезут назойливым роем –
Но ничто уже не изменить.

Тот, кого не терзают сомненья,
Кто находится в мире с собой,
Склонен петь сам себе песнопенья,
Оградив свою душу бронёй.

Этим людям – «Ура-оптимистам»,
Доверяла бы меньше всего.
Ведь, по сути, они все – артисты,
Им не стоит игра ничего!

Человек от рождения грешен.
С жизнью список грехов лишь растёт.
Важно помнить, что грех каждый взвешен,
И ответ перед Господом ждёт...



Елена Жолонко

Литва, Вильнюс

*Молодая современная вильнюсская поэтесса.
Участница международного фестиваля
духовной поэзии «Покрова». Стихи помещены
на сайте Союза русских литераторов и
художников Вильнюса «РАРОГ».*



* * *

Великий Боже,
Направь меня –
Идти так сложно
И нет огня.
В душе всё то же –
Лишь мрак да мрак.
Подай мне, Боже,
Хоть малый знак –
Идти ли прямо
Или свернуть?
Искать упрямо
Тот самый путь?
Или смириться
И не спешить,
Тебе с доверьем
Всю жизнь вручить?..
К чему стремиться,
Чего искать,
Лететь ли птицей,
А, может, – ждать?
Молю же, Боже,
Услышь меня –
Идти так сложно
И – нет огня...



* * *

Рыдай, моя душа, о тёмных днях,
поступках, мыслях и словах,
что сотворила ты по слабости своей –
из лени, гордости,
из зависти и глупости,
ослепнув в гневе,
забыв о Боге и спасенье...
Не будь самонадеянной, душа!
Ведь всё закончится, всё только тлен и ржа.
И что ты скажешь пред глазами Бога,
когда пора придёт пройти черту порога?

* * *

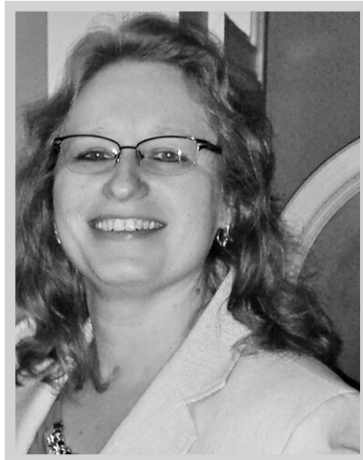
Я знаю, это не Ты
Меня оставляешь, Господи,
Это я Тебя оставляю,
Это я Тебя забываю
И сердцем своим предаю...
Устав идти узкой тропинкою,
Ищу другие пути,
Но чем шире дорога и легче,
Тем сложнее к Тебе прийти.
Непросто порою сквозь хлопоты,
Тревоги, сквозь лень свою
Увидеть край неба в золоте,
Почувствовать Волю Твою.
...Земля вся укрыта холодом,
Тоскует о новой весне,
Легли звёзды бледной россыпью,
Дрожит их неверный свет.
Горит огонёк в часовенке,
Молитва летит сквозь тьму.
А по небу – тихой поступью,
Ходят ангелы и поют...



Алена Кофман (Ellen Kofman)

США, Атланта

Родилась и выросла в Баку, Азербайджан. В 1992 г. эмигрировала в США. Окончила Университет штата Джорджия в Атланте, получила степени бакалавра и магистра по специальности математика и компьютерные информационные системы. Работает программистом. Основатель и руководитель литературной студии в Атланте.



Стихи из книги «Взрослая любовь» (Атланта, 2017)

Проходит время, пролетает жизнь

Проходит время, пролетает жизнь,
Взрослеют дети, нам уже за сорок,
Но, как и прежде, манят миражи,
Как виражи американских горок.

Нам, как и прежде, хочется любить,
И улыбаться солнечному свету,
Без зависти и без обид дружить,
А утром умывать росой планету.

Нам хочется дарить тепло души,
Как прежде, жить надеждами, мечтами...
Прошу, будь другом, время, не спеши,
Присядь за чашкой чая вместе с нами.

Поговорим и вспомним о былом,
Обсудим день сегодняшний негромко.
Пусть нам за сорок... Мы ещё споём.
А возраст? Возраст постоит в сторонке.



Мне не страшно

А мне совсем не страшно всё отдать,
И падать вниз, и снова подниматься.
Я только близких не хочу терять;
Господь, храни детей – моё богатство.

А мне совсем не страшно всех любить,
С наивностью ребенка верить в чудо.
А если кто обманет, так и быть...
Уйду без слов и зла держать не буду.

А мне совсем не страшно умирать,
Когда бы ни призвал меня Господь.
Прошу, по мне не надо горевать,
Ведь дух живёт, а тело – просто плоть.

Какое счастье...

Дарить любовь, дарить надежду,
И, может, воплощать мечты.
Какое счастье быть полезным,
И делать явью чьи-то сны.

Какое счастье просыпаться
С улыбкой, хоть проснуться лень.
И веря в чудо, постараться
Стать чьим-то солнцем в хмурый день.

Какое счастье видеть радость,
Даря заботу и цветы.
Ну, а порой нужна лишь малость:
Знать, чьё-то счастье – это ты.(сама)



О Музе

Муза, наверно, серьезная дама:
Чистая совесть и плоть непорочная.
Ходит к поэтам, на званые балы,
Чтоб те глаголом сердца жгли... и прочее.

Только ко мне вот она не приходит,
Я ведь поэт никому не известный.
Музе такие, как я, не подходят,
Время ей тратить свое бесполезно.

Я не в обиде. На что обижаться?
Хватит мне рифмы, чтоб выразить чувства.
Может быть, рок мой – всё время влюбляться?
Может, Любить – это тоже Искусство?!

День на закате. Ночь в доме хлопочет.
Светит луна. Спят уставшие дети.
Лишь озорной Купидон спать не хочет,
Мне заменяя все Музы на свете.

Случайные встречи

«Случайные встречи»... Наивные люди.
Случайностей не было, нет, и не будет!
Все встречи – от Бога, и мы это знаем,
Хоть смысл до конца не всегда понимаем.

Зачем на пути повстречали калеку, –
Не все же врачи, чтоб помочь человеку?
Зачем у метро старика увидали? –
Чтоб хлеба купить, продавал он медали...

Зачем незнакомка, что в парке гуляла,
О смерти ребенка в слезах рассказала?
Зачем раскрывает душевные тайны
В стучащем вагоне попутчик случайный?



Зачем встреча с тем, с кем душа породнилась,
Нежданно-негаданно ввысь устремилась?
И вечный вопрос в тишине ночью звёздной:
«Зачем мы с тобой повстречались так поздно?»

Нет ранней и поздней нет встречи на свете.
У Бога всё вовремя, в это поверьте.
При каждой из встреч, мы себя раскрываем,
И видим ту роль, что по жизни играем.

Кто с чистой душой и с большим добрым сердцем,
А кто только хочет на солнышке греться.
Один всё отдаст до последней рубахи.
Другой не подаст даже хлебушка крохи.

Один от несчастной любви вскрыет вены...
Другой же способен на ложь и измены.
Один богатеет, себя отдавая.
Другой нищ душой, хоть с деньгами в кармане.

Зачем нам все встречи, что посланы Богом?
Наверно, затем, чтоб нашли мы дорогу
Войти в свою душу, раскрыть своё сердце,
И просто позорче к себе присмотреться.

Нас каждая встреча чему-нибудь учит...
Случайна ли встреча? Случаен ли случай?
«Случайные встречи?»... Наивные люди.
Случайностей не было, нет, и – не будет!



Если двери закроются

Если двери закроются, будет темно.
И взлетит одиночество птицей.
Жизнь вдруг станет чужой.

Словно кадры кино
Замелькают события, лица.

И в жару будет дрожь, а холодной зимой
Сердце будет гореть, но навряд ли
Сможешь лёд растопить или нежной рукой
Приласкать, прошептав: «Всё в порядке...»

Если двери закроются...

Только зачем
Мы их сами порой закрываем?
...А любовь мы – как пламя горящей свечи –
Равнодушьем своим задуваем.

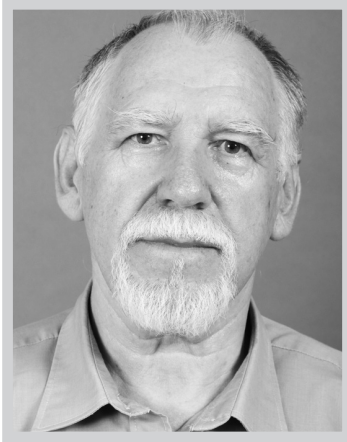
* * *

– Я тебе подарю звёзды!
– Но мне звёзд от тебя не надо.
– Я тебе подарю горы!
– Но какая от гор отрада?

– Я тебе подарю солнце.
– Но ведь солнце не взять рукою.
– Я тебе подарю небо!
– В небе тучи висят порою...

– Но, прости, я тогда не знаю,
Что дарить!

Всё – не то... не это...
– Подари лишь немного счастья,
Что любовью твоей согрето.



Иван Кунцевич

Латвия, Рига

Член СП Северо-Западного региона России, Российского СП, МАПП, Русской писательской организации Латвии – «Русло», Латвийско-Российской Ассоциации сотрудничества. В журнале ЛРАС «Корни» ведёт рубрику «Читательский перекрёсток». Автор девяти сборников стихов.

* * *

Часто жизнь проходит сложно,
Нет просвета для мечты,
Но дороги строить можно,
Эстакады и мосты.

Можно всё успеть по жизни
И грядущее любить,
Посвятить себя Отчизне,
Честь и Славу сохранить.

О друзьях подумать тоже,
Чувство радости беречь.
Память прошлого дороже
Золотого воска свеч.

И душой раскрыться можешь,
Пожелать любви тепла.
Поспеши, – и свет умножишь,
Чтоб к рассвету жизнь звала.

Пусть и дни проходят где-то
В бездне суетной глуши, –
Пожелай хоть каплю света
Вдохновению души!



* * *

Не всё бывает в жизни грустно,
Мои подруги и друзья,
Да, солнце светит безыскусно,
Но в том винить его нельзя.

В природе часто и туманы,
Снега с дождями пеленой,
Но и для них желанья странны,
Предаться радости одной.

А погрустить, душой поплакать,
Наверно, мне сам Бог велел.
Когда бы дождь ни начал капать,
Хочу, чтоб звонче он запел.

Пусть он идёт и льёт на землю,
Пусть он умоет всё и вся...
И в горький час стихии внемлю,
Молитву к небу вознеся!

* * *

Космос – единственность многого,
Тьма и безудержный свет
Яркого духа и строгого
В мире духовных планет.

В космосе звёзды в созвездия
Входят подобно волне.
Мир необъятный и прежде я
Видал земным по весне.

Вот и сегодня не малое
Вижу я в таинстве дня...
Новое время и старое
В космос уходят, звеня.



* * *

Сумерки над городом сгущаются.
Скоро ночь заполнит все дворы,
А Луна, гляжу, не собирается
Восходить на небо до поры.

Сумерки тяжёлые и тёмные, –
С краской чёрной слитые вполне.
И молчат закаты неподъёмные
На высокой облачной волне.

Говорит одна звезда невесело,
Что пройти решилась в стороне...
Не она ли жизни время взвесила
И теперь лишь светится во мне.

* * *

Не бывает слов искренних много.
Они стоят порыва души.
Не гляди в мою сторону строго, –
Все от Бога и все хороши.
Но слова остаются словами,
Если чувства в них нет ни на грош.
У меня же с земными правами
Ночью тёмной и дождик хорош.
Вместе с утренней песней весёлой –
Гомон птиц и залиvistый свист.
И нет боли по жизни суровой.
Небосвод по-весеннему чист.
Остальное, что в жизни встречаю,
Говорит всякий раз о тебе. –
Я души в тебе нежной не чаю.
Ты одна моё счастье в судьбе.



Сергей Лавров *Литва, Вильнюс*

*Автор нескольких поэтических сборников.
Редактор литобъединения «Логос» (Вильнюс).
Член МАПП и Союза журналистов Литвы.
Лауреат международных и республиканских
конкурсов русской поэзии. Награждён Почёт-
ной грамотой Департамента национальных
меньшинств Литвы «За активный вклад в
сближение литовской и русской культур».*



Осенние дожди

Осенние неспешные дожди,
Ваш тихий шум мне душу наполняет,
Под ним деревья кроны наклоняют
И, кажется мне, шепчут: «Подожди!
Что толку в суете извечной –
Ведь на бегу полжизни не прожить.
Задумайся о сроке быстротечном
И ты поймёшь, что некуда спешить».

Она права, осенняя неспешность,
Ведь суета – беспечности сестра.
Не торопись. Нетороплива нежность
И творчества упорного пора.
Неторопливо ввысь растут деревья,
Лесные реки тоже не спешат.
Нетороплива русская душа,
Исполненная ласки и доверья.
Она добра и очень терпелива,
Без дела не срывает повода.

Торопится всегда неправота
И клевета на редкость тороплива...



Томление юности

Я наклонился над ручьём
И встретился с собою взглядом.
Вода, рождённая ключом,
В лицо ударила прохладой.
Но, солнцем яростным палим,
Я не спешил к воде нагнуться.
Вот так же и к губам твоим
Когда-то медлил прикоснуться...

Страдивари и Платон

Я ощущаю мир, как изначальность –
Прямое предисловье к верстаку...

Немало прожил на своём веку
Вот этот ствол, распиленный на части.
Но, может, только в гибели его
Всей прежней жизни скрыто торжество.

То торжество великих перемен,
Поистине чудесных превращений
В законченную музыку строений
И в хрупкий музыкальный инструмент.

Об этом догадались не вчера
Служители пилы и топора...

Мир нескончаем. Этот тезис старый
Для них – извечно торжества закон.
И в этом смысле мастер Страдивари
Философ больше, нежели Платон.



Моё кредо

Приемлю всё живое на земле:
Крик петуха в предутреннем селе,
И плеск воды, и тихий шум жнивья,
И поездов ночную перекличку –
Всё, что имеет голос и обличье,
И потому достойно бытия.

Приемлю право дружбы и вражды,
Приемлю право достигать звезды,
Приемлю, как сокровище моё,
Всё, что зовётся словом бытия.

Но в час, когда покину эту землю,
Не плачь и близким плакать не веди.
Приемлю всё. И смерть свою приемлю:
Ведь и она – дарение земли.

Тишина

Впервые захотелось тишины –
Нет, не от мира каменной стены,
Не праздных прозябаний в скорлупе –
Другого: тишины в самом себе.

Чтобы пришла. Нагрянула. Спасла
От чуждого, пустого ремесла,
И отвела тот бесконечный миг,
Когда слова срываются на крик.

О, если есть такая тишина,
Что с голосом глубин сопряжена,
Я заплатил бы всем остатком дней
За собственное сопряжение с ней.

Впервые захотелось тишины...



Ночное желание

Ночь, как недвижимая вода,
В ней тихо плавает звезда,
Одна-единственная в мире,
Чтоб где-то на урочном миге
Мигнуть - и кануть без следа.

Ночь, как недвижимая вода,
В такую ночь на тихих вёслах
К нам сновидения плывут,
И мнится мне: они не лгут
О прежних и грядущих вёснах.

И ты, любовь моя. поверь:
Такая ночь не для разлуки,
Не для беды, не для разрухи
Всего, чем живы мы теперь.

А жить нам – век. За сменой суток
Не стоит ревностно следить,
Да будут вечно ночь и утро
На день единый походить.

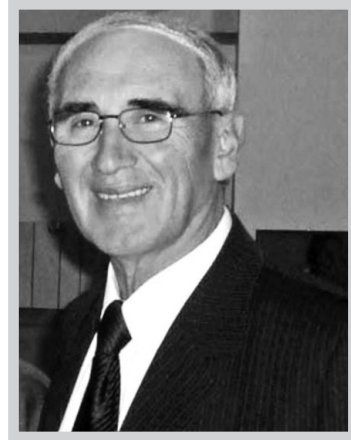
Ведь мы не звёзды – не погаснем,
Для нас означен день за днём
Лишь тем святым однообразьем,
Что мы гармонией зовём.



Самойлас Лорманас

Литва, Вильнюс

Окончил Ленинградскую лесотехническую академию. Автор сборника стихов «Остановитесь на минуту». Публиковался в литературных альманахах, журналах и коллективных сборниках. Член МАПП и поэтической студии «Вингис».



Вера...

* * *

Кресты на шпильях, ну и слава Богу,
Вера нужна, как воздух, кислород,
Находят к Богу разную дорогу,
И по тропинкам движется народ.
К нему мы, – в час и грусти и печали,
К нему и когда радость входит в дом,
Сейчас возможность людям эту дали,
А раньше было, – все тайком, тайком.
В душе, что Бог один, – мы это знаем,
И все бы ладно, только зря видать,
Мы лодку веры все сильнее качаем,
Это мешает людям созидать.
Пусть крест, иль серп или звезда Давида,
И кожи цвет, здесь не играет роль,
Построена нам веры пирамида,
И ты частичкой будь ее, – изволь.
В молитве к Богу руки простираем,
И просим, – усмири и успокой,
Рождаемся с молитвой, – умираем,
И только в вере мы найдем покой.
Завещано нам было свыше, сверху,
Что бы не домогался и не крал,
А люди, позабыв, не знают мерку,



За что всевышний нас не раз карал.
А с «не убий», – на свете того хуже,
Нет дня, чтоб не пролилась в мире кровь,
Страдают о погибшем сыне, муже,
Ведь нарушают заповеди вновь.
Походы в храм еще не значит вера,
Старайтесь божьи заповеди чтить,
Не будет лучше для детей примера,
Как, личный, – чтоб добру их научить.

08.09.2019

Память...

Не заставишь память кануть в лету,
Всюду, не прощённый холокост,
Рвов и ям, – разбросанных по свету,
Тысячи, ведь мир совсем непрост...
Зависть, снизошедшая до крови,
Только потому, что ты еврей,
Всё ещё подонков беспокоит,
Что бы дать команду, – ату... – бей...
Места нет, где нет захоронений,
Ещё больше, – без вести пропал,
Да вся жизнь, – история гонений,
И табу, что миру народ дал...
Здесь весы Вам правду не покажут,
Бог иное нам определил,
Если кто виновен, – нас накажут,
Небо в клетку, свет станет не мил.
Сколько нас сожгли и истребили,
Сколько кораблей ушло на дно
А ведь мирно, с пользой людям жили,
Нет покоя в мире всё равно.
И сейчас, когда пошла лавина,
Беженцев, – Европу накрывать,
Бог рисует истины картину,
Что, – «тех, что ушли», – могли бы дать.
«Яд вашшем», в стране обетованной,
Ты хранишь беду и боль потерь,



Память избирательна, не странно...
Слишком шевелится мир теперь.
Господи, неужто всё взорвётся,
Атом с водородом обручив,
Мир ведь катастрофой обернётся,
Так, – всех ни чему, не научив.
17.10.2019

Маюсь и каюсь...

Прости Всевышний наши прегрешенья,
Умом понятно, с верой все сильней,
Согласны мы с любым твоим решением,
Мира в душе нет, – думая о ней.
На сердце тяжесть, от грехов разброда,
Блага, – гипноз, слаб человек в быту,
В реке соблазна не находим брода,
А хочется дорогу выбрать ту..
Напомни, укажи нам, – сделай милость,
Ведь заповеди писаны для всех,
И предки шли дорогой, что не снилась,
Стремясь их выполнить, – надеясь на успех.
Каюсь, – погрязли по колено в грехе..
Не от того ли, в душах мира нет,
Пирующими, стали мы в утехе,
А предстоит за все держать ответ.
Дорога к храму, знаем, – лишь пол дела,
Нам верную тропинку бы найти,
Где в унисон поют душа и тело,
Чтоб жизнь нужной дорогою дойти...
Молюсь и каюсь, думая об этом,
Осмысливая свой прошедший путь,
Чтоб описать, не надо быть поэтом,
Найти бы перекресток, где свернуть..
2019



Пути господни неисповедимы...

О Боже, произносим каждый раз,
Когда беда, с нуждой приходят в дом,
И жизнь, как в трос, закручивает нас,
Мы, вспоминая, думаем о нем.
Признаться трудно, что в душе разброд,
Храм мы обходим, нет бы, – тормознуть,
Возможно, в той реке проложен брод,
Чтоб нам на переправе не тонуть.
Ему мы жалуемся, просим нам помочь,
Не стелется соломка на пути,
Без веры, в голове сплошная ночь,
А страх в душе, мешает нам идти.
На склоне лет становишься мудрее,
Упущенное, – трудно наверстать,
Но если бы понять это скорее,
То меньше нам придётся причитать...

5.10.2019

ОН есть...

Ведутся споры не по делу,
Кто говорит, – Бог есть, кто – нет,
Всем утверждать могу я смело,
Что я давно нашёл ответ.
Бог есть, мы часто вспоминаем,
О нём, когда давит беда,
Хоть, как молиться и не знаем,
Даже ругаем иногда.
Но чаще просим исполнения,
Иль помощи в своих делах,
И в обнажённом откровении,
Коль нас обуревают страх.
О Боже, – часто восклицаем,
В нас он с рожденья, исподволь, –
мы быть безгрешными мечтаем,
Признаться в этом ты изволь.



Не дай Бог, – мы неоднократно,
Шепчем, коль мысли нас гнетут,
И это, в общем-то понятно,
Несчастье там, проблемы тут.
Как и душа, он в нашем теле,
Присутствует весь жизни путь,
Осмыслите, на самом деле,
Его действительную суть...

24.08.2019

Прости нас Господи, прости...

Грусть и тоска меня съедает,
И душу ест, как короед,
Когда печаль границ не знает,
В цепочке непрерывных бед.
Ну почему ужиться могут,
зверье в лесу, рыба в реке,
Пусть там порядок жизни строгий,
Знать наш, – в туманном далеке...
Рассеянная пыль природы,
Грешим и тем наносим вред,
Несём себе и всем народам,
Лишь, вместо пользы, – кучу бед.
Видать короткой память стала,
И войны, – нам не есть урок,
Ведь сколько жизней та забрала,
А жертвы не идут нам впрок.
Людская кровь, словно водица,
Видать Всевышний взял отгул,
И безобразие творится,
И канонады слышен гул...
Иль храмы проходными стали,
Проходят грешники толпой,
Знать им возможность, свыше дали,
Идти этой кривой тропой...
Молю тебя, глянь вниз всевышний,
Пора порядок наводить,
Ты вожжи отпустил излишне,



А, должен, – за порядком бдить.
Соверши милость, – дай нам надежду,
На то, что может лучше быть,
Чтоб верили тебе, как прежде,
И мирно стали вместе жить...
21.08.2019



Валентина Скарджювене

Литва, Вильнюс

*Автор нескольких книг стихов для детей.
Лауреат Республиканского конкурса современной
русской поэзии «Люблю Отчизну я...»*



По-над судьбой...

Иосифу Бродскому

О, как дерзнуть приблизиться к горе,
Коль и подножия её не одолеть...
Цена высокая назначена в игре,
А у меня лишь медь.

А у него запасы на века.
И тайники шифрованы под статью.
И, что его подъямляла рука,
И не поднять.

По закромам несломленной души
Отважно черпались и мысли, и слова.
И в этом таинстве он так непостижим...
Иль – постижим едва...

Соприкасаемые временем, чутьём,
Да словом русским под разливы лир,
Мы о Васильевском (пусть каждый – о своём)
Шепнули в мир.

И – всё. И – даль. От глубины до высот.
И р а с п р о щ а н и я мучительный момент...
А где-то новый (Нобелевский!) ждёт
Дивертисмент.



Отпрянул черед мерзостных опал.
Открылся мир, где жить бы да вершить.
Но чёрный конь... Он всадника догнал
Среди вершин.

Иная высь... А он и в ней солист.
Неудержимо дух его сновал,
Чтоб утверждались вдавленные в лист,
Его слова.

... Судьбу из молоха теперь уж не изъять.
А ленинградская январская метель
Благословили славу отбывать
На Сан-Микель.

* * *

Столько нового вписалось,
Прописалось в техно-век...
Но томит людей усталость,
Подсыхает человек.

Телефон пленяет руку,
Глаз на цифрах подзавис.
Все спешат, бегут по кругу.
Позабыты синь и высь.

Ветры суетные взвыли...
Оказалось, так нужна
Та, которую забыли,
Терпелива и нежна.

Неразгаданна. Прекрасна.
(Знать, создатель – ювелир).
Осязанью неподвластна,
А вмещает целый мир.

Так мала. Так беззащитна.
При рожденьи хороша.
От самой себя сокрыта,
Б о г о т в о р н а я душа.



* * *

А что?.. Везучая, однако...
Ведь побывала же в Монако.
И ублажали сердца струны
Мой дух у статуи Фортуны.

Она мне что-то там вещала.
А, сдуру, я наобещала,
Когда лились монетки в горсти,
Мол, приезжай, Фортуна, в гости.

Зевнув, она сказала мило:
«Я стольким вашим подфартила,
Но в зной теперь и в непогоду
Они сидят спиной к народу.

Приехать к вам? Нет, это слишком.
Уж лучше ты ко мне, малышка».
Добавив евро, в позу встала:
«До новой встречи в Монте-Карло!»

... Как пыль затею эту сдуну.
Не заманить в страну Фортуны.



СОДЕРЖАНИЕ

ВЕЧНОЕ

<i>Саша Черный. Русская книжная полка</i>	4
<i>Арсений Гулыга. Религия в нашей жизни</i>	5
<i>Игорь Шафаревич. О некоторых тенденциях развития математики</i>	9
<i>Вячеслав Улитин. Сны о Рублёве</i>	15
<i>Мария Теплякова. Интервью с Вячеславом Улитиным, удивительным Владимирским поэтом</i>	32

МОЛИТВА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

<i>Даниил Андреев</i>	41
<i>Владимир Набоков</i>	47
<i>Дмитрий Ознобишин</i>	49
<i>Константин Случевский</i>	52

СУДЬБЫ

<i>Фёдор Коровин. Письмо сыну</i>	53
<i>Зоя Коровина. О Ф. Коровине</i>	82

ПРОЗА

<i>Нина Гейдэ. Новогодняя ёлка</i>	88
<i>Николай Профферансов. Сказание о рыцаре Гюго де Лонкле</i>	108

ПОЭЗИЯ

<i>Эдит Штайн. Стихи</i>	119
<i>Елена Талызина. Эдит Штайн</i>	122
<i>Михаил Бердников. Семантика графоманства</i>	130
<i>Вера Виногорова. Второй разговор с Богом</i>	147
<i>Николай Романенко. От Елеона до Голгофы</i>	149
<i>Сергей Пичугин. Ода царевне Анне</i>	154
<i>Виктория Матисоне. Стихи</i>	157



МЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

<i>Лариса Чухина. Человек в религиозной философии</i>	169
<i>Светлана Ковальчук. О Ларисе Алексеевне Чухиной... ..</i>	217

ШТУДИИ

<i>Андрей Бронников. Сакральность искусства</i>	222
---	-----

ЭМИГРАНТИКА

<i>Светлана Передереева. Фрагменты истории русской православной церкви за рубежом по переписке И. С. Шмелёва с Раисой и Людмилой Земмеринг.....</i>	243
---	-----

ЗАВЕТНОЕ

<i>Павел Флоренский. Завещание... ..</i>	256
--	-----

ФЕСТИВАЛЬ

<i>Эяна Суодене. ...Несознаваемое в нас... ..</i>	263
<i>Лайма Дебесюнене. Стихи</i>	270
<i>Ольга Деньковская. Стихи</i>	272
<i>Олег Долгунов. Стихи.....</i>	274
<i>Галина Иванова. Стихи.....</i>	276
<i>Елена Жолонко. Стихи</i>	279
<i>Алена Кофман. Стихи из книги «Взрослая любовь».....</i>	281
<i>Иван Кунцевич. Стихи.....</i>	286
<i>Сергей Лавров. Стихи</i>	289
<i>Самойлас Лорманас. Стихи</i>	293
<i>Валентина Скарджювене. Стихи</i>	299

